

НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

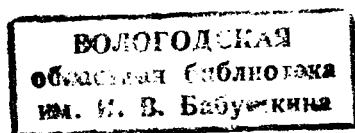
ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

Июль — Август

1980



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва

Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,
А. П. Окладников, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,
Д. Д. Тумаркин (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Адрес редакции: 117036 Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19
телефон 126-94-91

Зав. редакцией **Е. А. Эшлиман**

В. Е. Гусев

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЗАДАЧИ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Тридцатипятилетие со дня окончания второй мировой войны побуждает заново осмыслить некоторые результаты исследований духовной культуры народных масс в условиях их героической борьбы против фашизма, а также поставить проблему, актуальность которой, думается, недостаточно осознана: какое место занимают духовные ценности, созданные в те годы народом, в современной духовной культуре?

Не претендуя на библиографическую полноту, поскольку в нашу задачу не входит обзор литературы, лишь напомним несколько важных фактов. Народное творчество военных лет стало предметом старательного, а подчас и самоотверженного собирания фольклористами-фронтовиками и участниками партизанского движения, политработниками, журналистами, писателями. Первые публикации антифашистского фольклора в подпольной, фронтовой и партизанской печати датируются годами начала массового сопротивления на оккупированных землях. В 1942—1944 гг. появляется особенно много песенных сборников — как в Советском Союзе, так и в странах Европы, где развернулась народно-освободительная борьба. Первые научные экспедиции в освобожденные районы РСФСР и БССР были направлены Всесоюзным Домом народного творчества в 1942—1944 гг. и Институтом театра и музыки (Ленинград) в 1943—1945 гг. Первый научный сборник в СССР был подготовлен к печати В. Ю. Крупянской¹.

Интенсивная собирательская и исследовательская деятельность развернулась в первые послевоенные годы. Достаточно назвать Брянскую экспедицию Института этнографии АН СССР и МГУ (1945) под руководством П. Г. Богатырева и В. Ю. Крупянской, экспедиции сектора этнографии и фольклора Минского института истории (1945—1946) под руководством М. Я. Гринблата, экспедиции в Псковскую, Великолукскую и Новгородскую области сектора народного творчества Института русской литературы АН СССР (1947—1949), экспедиции Института искусствознания, фольклора и этнографии АН УССР, материалы которых вошли в антологию, составленную М. Родиной и М. Стельмахом². Итогом многолетних исследований явилась академическая антология В. Ю. Крупянской и С. И. Минц³.

¹ «Фронтовой фольклор». Запись, вступит. статья и комментарии В. Ю. Крупянской. Под ред. и с предисловием М. К. Азадовского. М., 1944.

² См.: «Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну». Відповідальний ред. М. Т. Рильський. Київ, 1953; «Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны». Пад ред. П. Ф. Глебкі, І. В. Гутарава, С. К. Майхровіча. Мінск, 1961.

³ В. Ю. Крупянская, С. И. Минц. Материалы по истории песни Великой Отечественной войны. — «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XIX. М., 1953.

Собирание и изучение фольклора Великой Отечественной войны велось во всех республиках Советского Союза. Одно за другим появлялись издания на языках народов СССР, статьи на русском языке публиковали фольклористы Кавказа (Е. Вирсаладзе, П. Эффендиев), Средней Азии (О. Абдалов, Х. Зарифов, Г. Самарин), Молдавии (И. Чобан), Бурятии (С. Балдаев), Татарии (И. Надилов), Якутии (Г. Эргис). Большой размах этой работы и стремление к созданию программы исследований и к координации усилий вызвали необходимость в специальном всесоюзном совещании, которое было созвано Институтом этнографии АН СССР в 1947 г. в Москве. Вторая Всесоюзная конференция, посвященная изучению народного творчества Великой Отечественной войны, состоялась в Киеве в Институте искусствознания, фольклора и этнографии АН УССР (1961). Материалы этих конференций публиковались в журналах «Советская этнография» и «Народна творчість та етнографія», стали достоянием широкой научной общественности и стимулировали дальнейшую исследовательскую работу этнографов и фольклористов. Накопленные материалы и целостная научная концепция позволили сектору народного творчества Института русской литературы АН СССР создать фундаментальную коллективную монографию, обобщившую опыт всех советских фольклористов⁴.

Изучению духовной культуры борцов-антифашистов стран Восточной Европы посвящены ценные работы болгарских ученых Ц. Вранской-Романской и Ст. Георгиевой-Стойковой, Е. Стоин, Г. Керемидчиева, Н. Кауфмана, Т. Ив. Живкова; прекрасные антологии польских фольклористов Г. Свирко и Я. Собеской «С песней и карабином» и Т. Шеверы «Пусть ветер несет ее...»; капитальный комплексный труд «Словацкое народное восстание в народном творчестве», созданный сотрудниками Института этнографии в Братиславе С. Бурлясовой, Б. Филовой, С. Ковачевичевой, Я. Михалеком, Я. Шольцем, многочисленные сборники и комплексные исследования фольклористов Югославии М. Бошкович-Стулли, Д. Недельковича, Б. Конеского, К. Пенушлиского, Р. Хроватина, Н. Мартиновича, В. Милошевича, О. Младеновича, М. Илиин и др.⁵; антологии Н. Герцигони, Дж. Караклаича, Т. Чубелича, М. Златановича и др.⁶

Проблема изучения духовной культуры народных масс в годы второй мировой войны неоднократно была предметом обсуждения на международных научных форумах: на V и VIII Международных съездах славистов (София, 1963; Загреб, 1978), на VII Международном конгрессе

⁴ «Русский фольклор Великой Отечественной войны». Отв. ред. В. Е. Гусев. М.—Л., 1964 (авторский коллектив: А. М. Астахова, З. И. Власова, О. Н. Гречина, В. Е. Гусев, Б. М. Добровольский, Л. В. Домановский, Б. П. Кирдан, С. И. Минц, Н. В. Новиков, А. Д. Соймонов). Там же см. библиографию, составленную М. Я. Мелья, воспоминания, дневники и материалы собирателей, описание архивных материалов.

⁵ Цв. Вранска и Ст. Георгиева-Стойкова. Партизански бит и фолклор. София, 1954; «Народни партизански песни 1923—1944». Съставила Е. Стоин. София, 1955; Г. Керемидчиев. Съвременната българска народна песен (Проучване и образци). София, 1958; «Песни на българското работническо движение. 1891—1944». Съставител Н. Кауфман. София, 1959; Т. Ив. Живков. Български антифашистки песенен фолклор. София, 1970; «Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe [...].» Zostavovateľ B. Filová. Bratislava, 1974; «Z pieśni i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939—1945». Warszawa, 1971; T. Szewera. Niech wiatr ją poniesie... Łódź, 1970 (изд. 2-е, 1975; сборник назван по строке из популярной песни). Исследования югославских ученых см. в кн.: «Српска Академија наука. Зборник радова», кн. XVIII, «Етнографски институт», кн. 3. Београд, 1960; «Рад VIII Конгресса Савеза фолклориста Југославије у Титовом Ужицу 1961 године». Главни уредник Д. Недельковић. Београд, 1961, и в Трудях последующих конгрессов. См. также: В. Е. Гусев. Изучение антифашистского фольклора в Югославии.— «Сов. этнография», 1962, № 5.

⁶ «Zbornik partizanskih napeva». Urednici N. Hercigonja, Đ. Karaklajić. Beograd, 1962; T. Cubelić. Ustanak i revolucija u riječi narodnog pjesnika. Zagreb, 1966; «Sija zvezda. Narodne pesme Oslobođilačke borbe i socijalističke izgradnje». Priredio M. Zlatanović. Gradina, 1974.

антропологических и этнографических наук (Москва, 1964), на VI, VIII, XIII, XIV, XIX, XXVI конгрессах фольклористов Югославии (с участием зарубежных специалистов), на семинаре фольклористов Чехословакии (также с участием зарубежных специалистов, 1971 г.) и др.

Коллективными усилиями советских фольклористов и фольклористов социалистических стран собраны и сохранены для будущих поколений десятки тысяч текстов и музыкальных записей устного народного творчества; архивы пополнились многочисленными документами, дневниками, письмами, воспоминаниями, рукописными и печатными сборниками, листовками, репертуарными программами фронтовых и партизанских хоровых ансамблей и агитбригад; в музеях хранятся произведения народного прикладного искусства, плакаты, рисунки, созданные непрофессиональными художниками — солдатами, партизанами, узниками концентрационных лагерей, тружениками тыла. Все это предоставляет возможность воссоздать со значительной полнотой духовный мир народных масс в годы второй мировой войны, выявить идейное содержание и художественное своеобразие различных видов народного творчества того исторического периода. Теперь, обозревая весь этот огромный материал, можно объективно и по достоинству оценить его поистине непреходящую научную ценность и обществено-политическое значение. Хотя многие из названных источников внедрены в научный обиход, однако большая часть полевых, архивных и музейных материалов ждет еще исследователей и может существенно обогатить и уточнить наблюдения и выводы, содержащиеся в научных трудах предшествующих лет.

Проблематика опубликованных трудов достаточно разнообразна, однако круг ее может быть расширен. Исследователи, вооруженные марксистско-ленинской методологией, правомерно рассматривают духовную культуру народных масс военных лет в связи с конкретными историческими обстоятельствами антифашистской народно-освободительной борьбы как непосредственное выражение охвативших массы социальных и национальных устремлений, патриотических идей и настроений, чаяний и ожиданий народных.

Поскольку фашизм посягнул на само существование целых народов, их национальные традиции, обычаи, их культуру, борьба против фашизма способствовала усилению и углублению этнического самосознания масс, глубокому осознанию ими ценностей национальной духовной культуры и народных традиций, активизировала творческие силы масс. Вместе с тем освободительная борьба народов против фашизма вдохновлялась прогрессивными, революционными идеалами, программой социальных преобразований, сопровождалась распространением в массах марксистско-ленинской идеологии. Совместная освободительная борьба, скреплявшая кровью братство разных народов, способствовала усвоению массами идей интернационализма и укреплению их международной солидарности. Поэтому естественно, что в исследованиях духовной культуры народных масс в годы второй мировой войны большое внимание уделяется проблеме взаимодействия национальных традиций и интернациональных идеалов, взаимообогащению различных этнических культурных традиций, а также роли в этом процессе культуры русского народа⁷. Думается, что сравнительно-историческое изучение процессов взаимодействия народных культур в условиях антифашистской борьбы может быть расширено, причем желательно не ограничиваться при этом связя-

⁷ См., например: S. Burslová. Ruská partizánska pieseň «Po doeinam i po vzgoriam» a jej slovanské verzije. — «Slovenský národopis», 1974, № 4, з. 543—570; В. Е. Гусев. Этническое, национальное и интернациональное в антифашистских песнях. — «Сборник од XIX Конгрес на Союзот на фолклористите на Југославија». Скопје, 1977, с. 119—124; Б. П. Кирдан. Общее и особенное в песенном фольклоре восточных и западных славян периода второй мировой войны. — «История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VII Международныи съезд славистов». Доклады советской делегации. М., 1978, с. 360—384.

ми этнически родственных народов. Этническое родство, естественно, создает благоприятные возможности для культурных взаимодействий, однако для появления интернациональных элементов в народной культуре рассматриваемого периода решающим фактором были конкретные исторические и социальные условия совместной освободительной борьбы. Плодотворные результаты могут дать новые сравнительные исследования как на материале духовной культуры народов СССР, так и на еще недостаточно учтенных материалах, относящихся к движению Сопротивления в странах Западной Европы, к антифашистскому движению в Греции, Венгрии, Румынии, Австрии, Германии и в скандинавских странах. Нуждаются в исследовании также факты, характеризующие «микропроцессы» в духовной культуре интернациональных воинских единиц и партизанских отрядов, объединявших представителей разных национальностей. Истоки этих процессов прослеживаются в деятельности интернациональных бригад, участвовавших в антифашистской гражданской войне в Испании; в годы второй мировой войны эти процессы значительно активизировались; тем не менее они не стали еще предметом специального анализа. Как частный случай предметом исследования может стать духовная культура этнически компактной боевой группы, оказавшейся в иноэтнической среде (например, русские партизанские отряды, действовавшие на территории Словении, польские отряды в Италии, чешский батальон, формировавшийся на территории СССР, и т. п.). Научный и общественный интерес представляет судьба народных культурных традиций в среде интернированных, в концентрационных лагерях.

Изучение различных элементов духовной культуры рассматриваемого периода велось неравномерно и несколько оторвано от непосредственных бытовых условий их функционирования в специфических условиях. К сожалению, специальных работ, раскрывающих связи духовной культуры с фронтовым бытом и бытом партизанских отрядов, с бытом населения оккупированных территорий и с бытом населения тыла, очень немного. Собственно этнографических исследований быта народных масс той поры еще меньше⁸. В своем роде уникальным остается упомянутый выше опыт болгарских исследователей Ц. Романской-Вранской и Ст. Стойковой-Георгиевой «Партизанский быт и фольклор». Между тем архивные источники и мемуарная литература, а также очерки и некоторые беллетристические произведения писателей, воспроизводящих жизнь и борьбу народов в годы войны, содержат богатейший материал, который позволил бы этнографам и фольклористам воссоздать связи духовной культуры с бытом народных масс. Неравномерность освещения комплекса духовной культуры проявляется в недостаточном внимании исследователей к судьбе некоторых народных традиций в годы войны. Авторы лишь немногих опубликованных трудов стремились к разносторонней характеристике духовной культуры — как ее традиционных форм, так и новых, родившихся в условиях антифашистской борьбы. Наиболее полную картину в этом отношении дают исследования югославских этнографов и фольклористов (в них читатель найдет характеристику обрядов, коллективных партизанских танцев, инструментальной музыки, творчества мастеров эпической традиции, похоронных и поминальных «тужбалиц», лирики, устной прозы, сатиры, деятельности агитационных «культурных групп», партизанских ансамблей и театров и др.). Удачным опытом является также названная выше коллективная монография этнографов и фольклористов Братиславы «Словацкое народное восстание в народном творчестве»: здесь на широком историческом фоне исследуются различные жанры устной прозы, словесно-музыкальный фольклор, народное прикладное и изобразительное

⁸ См., например: А. Залескі. Быт беларускіх сялян у партызанскім краі. Мінск, 1960.

искусство. Думается, пришло время для подлинно комплексного изучения духовной культуры народных масс в условиях антифашистской борьбы как целостной системы во всей ее сложности — изучения, возможного лишь объединенными силами этнографов, историков искусства и фольклористов.

Особенно результативными до сих пор были исследования словесно-музыкального творчества. Выяснилось, что оно не укладывается в рамки фольклора в традиционном значении этого слова. Фольклор составляет лишь часть многообразного самодетельного искусства народных масс, причем сам фольклор претерпевал в новых исторических условиях заметные изменения — некоторые его виды оказались неспособными отразить действительность того периода, другие продуктивно развивались. Наряду с произведениями традиционного фольклора — песнями, частушками, сказками, пословицами и поговорками, отчасти историко-героическим эпосом (сохранившимся как форма творчества мастеров фольклора — русских сказителей, украинских кобзарей, гусяров у южных славян) — получали массовое распространение по законам устной традиции в солдатской, партизанской, рабочей и крестьянской среде созданные отчасти на основе традиционных форм фольклора, отчасти под влиянием образцов профессиональной поэзии и музыки новые произведения различных жанров: песенная лирика, героические баллады, походные марши, сатирические куплеты, устные рассказы, поговорки, речения... Одновременно и параллельно с фольклором и фольклоризовавшимися произведениями значительное место в духовной культуре народных масс заняла организованная художественная самодетельность с присущими ей видами творчества и исполнительства, как индивидуального (самодетельные поэты и композиторы, авторы популярных песен), так и ансамблевого (хоровые, инструментальные, драматические коллективы, агитбригады, «живые газеты» и т. п.)⁹.

Многообразие и взаимодействие различных видов массового художественного творчества, постоянные переходы из одной его сферы в другую (из фольклорной — в самодетельную и наоборот) явились причиной образования сложной динамической жанровой системы, которая до сих пор не получила адекватного научного описания и определения. Этим объясняется обилие в научной литературе значительно расходящихся между собою жанровых классификаций видов духовной культуры масс в годы войны. Перед современным исследователем стоит задача критического анализа существующих опытов классификации и решения этой проблемы с помощью системного метода.

Исследования фольклора второй мировой войны приводят к выводу, что его нельзя рассматривать как спонтанно развивающийся вид народной культуры, лишь в его связях с традиционными жанрами. Генетически он восходит к разным источникам, как фольклорным, так и нефольклорным: к традиционной народной лирике, к народной балладе, к сказочному эпосу, к несказочной прозе, к городскому романсу, к солдатским песням, к песням литературного происхождения, к революционной рабочей поэзии, а если говорить о советском фольклоре Великой Отечественной войны, то наряду с этими источниками, общими для всех народов, боровшихся против фашизма, следует учитывать и преемственную связь с фольклором Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, с фольклором периода социалистического строительства, а также огромное воздействие попу-

⁹ Соотношение и взаимодействие традиционных и новых элементов в народном творчестве, коллективных и индивидуальных его форм хорошо раскрыто в кн.: *Л. С. Мухаринская*. Белорусская народная партизанская песня 1941—1945. Минск, 1968; *Т. В. Попова*. О песнях наших дней. М., 1969 (раздел, посвященный песням Великой Отечественной войны).

лярных произведений советских поэтов и композиторов, в особенности массовых песен 1930-х годов.

Другой особенностью фольклора второй мировой войны является то, что в его создании участвовали не только фронтовики и партизаны, но и население оккупированных территорий, и узники лагерей, и угнанные в фашистское рабство люди, а в Советском Союзе — и труженики тыла. Созданный в различных условиях и отражавший особенности каждой названной среды, фольклорный репертуар военных лет изучался далеко не равномерно (наиболее широко он представлен в названных выше антологиях польского фольклора). Предстоит еще исследовать различные идейно-художественные тенденции в процессе их взаимодействия и формирования общенародного фольклора с учетом специфических социальных и исторических условий антифашистской борьбы разных народов.

Первостепенное значение в современных исследованиях приобретает изучение воздействия на фольклор второй мировой войны революционных песен прошлых эпох, особенно международных рабочих песен, гимнов и маршей. Поэтому большой интерес представляют антологии и исследования последних лет, посвященные революционным традициям, изданные в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, а также новые работы в этой области советских фольклористов. Необходимо глубоко освоить этот богатейший фонд, обобщить результаты его исследований и заново, с учетом всего этого материала, изучить народное песенное творчество второй мировой войны ¹⁰.

Актуальной для советской науки задачей остается изучение закономерностей и конкретных форм взаимодействия между песенным фольклором Великой Отечественной войны и творчеством советских поэтов и композиторов. Успешные результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь при условии сотрудничества фольклористов с литературоведами и музыковедами. При этом следует избегать бытующих упрощенных представлений «о дефольклоризации» песенного народного творчества. Сближаясь с профессиональным искусством, заимствуя зачастую у него средства художественной изобразительности (строфику, рифму, ритмику, мелодику), фольклор Великой Отечественной войны существенно отличался от профессионального искусства по форме творческого процесса, т. е. оставался по своей природе коллективным творчеством, сохраняя присущие массам особенности художественного мышления и некоторые характерные способы выражения: предельно обобщенную идеализированную типизацию фактов и характеров, концентрацию внимания не на индивидуальных свойствах человека, а на общенародных, создание коллективных образов и представлений, выражение коллективного сознания, коллективных настроений и чувств. Поэтому особенно перспективны такие исследования, которые не ограничиваются учетом внешнего, формального сходства новых народных песен с профессиональным искусством, установлением близости отдельных элементов поэтики и мелодики, а проникают в глубинные пласты народного художественного мышления, по-своему претворяющего заимствованные элементы, создающего из них новую художественную ценность. В этом отношении фольклор второй мировой войны предоставляет исследователю богатейший, далеко еще не освоенный материал для изучения коллективного творческого процесса на новом историческом этапе развития народного искусства.

В связи с этим возникает заманчивая задача изучения художественных стилей фольклора второй мировой войны. В стилевом отношении он представляется весьма разнообразным и на первый взгляд эклек-

¹⁰ Развитие такого направления в фольклористике активно содействовал созданный в 1961 г. в Праге и затем перенесенный в Будапешт Международный центр изучения рабочих песен, деятельность которого следовало бы возобновить.

тичным. В нем переплетены различные музыкально-поэтические элементы, восходящие к разным стадияльным пластам фольклора и к различным художественным традициям. Вообще, как известно, неоднородность, многослойность стилистики — одна из особенностей фольклора, где сложившиеся в определенные эпохи стилевые системы не просто уступают место другим, а наследуются и сохраняются новыми поколениями, создающими в свою очередь новые стили. Это стилевое разнообразие усложняется и тем, что происходит постоянное взаимодействие различных социальных групп в общенародном творчестве, а на позднейших этапах — и отмеченное взаимодействие собственно фольклорных стилей со стилевыми системами, выработанными профессиональным искусством. Предстоит на конкретном материале исследовать взаимоотношения и взаимодействие архаических, но жизнеспособных стилей крестьянской песенной культуры (обрядового фольклора, старейшей лирики), подвижных, модифицирующих стилей, характерных для монострофических импровизаций, весьма популярного стиля городского романа, «навязчивых» стилей поздней солдатской песни и даже «тюремной» лирики, стилей рабочей поэзии и музыки революционных песен. Действительно ли все эти и другие элементы составляют некую эклектическую смесь или в процессе «сосуществования» и интенсивного взаимодействия они образовали новую стилевую систему? Какие тенденции в художественном развитии масс выражают эти различные стили, какие из них способствовали созданию эстетических ценностей? Явилось ли народное художественное творчество периода второй мировой войны «разрушением» фольклорной эстетики или ее преобразованием, созданием новой народной эстетики? Эти вопросы ждут еще научно обоснованных ответов.

В заключение коснемся заявленной в начале статьи проблемы судеб созданных народом в годы второй мировой войны культурных ценностей. Их огромное историко-познавательное значение не подлежит сомнению. Как непосредственное выражение творческой энергии масс, как процесс активного самоутверждения и самосохранения, непрерывающейся духовной деятельности, народное творчество тех лет противостоит бесплодной, разрушительной, извращенной антикультуре фашизма. Являясь правдивым и эмоционально-действенным отражением значительного исторического периода в жизни народов, их подвигов и жертв, искренним изъяснением их стремлений, настроений и чувств, народное творчество тех лет навсегда останется великим, ни с чем несравнимым памятником духовной культуры, и как каждый памятник оно подлежит охране. СобираТЕЛЬСКОЮ и публикаторскую работу фольклористов, этнографов и искусствоведов следует рассматривать и оценивать как деятельность, имеющую большое общественное значение. Все, что сделано в этом направлении — созданные антологии и сборники, архивные и музейные собрания, — есть одна из форм увековечения всенародного подвига. Однако преждевременно было бы считать, что все уже собрано, должным образом систематизировано и сохранено, стало достоянием общественности. Следовало бы, на мой взгляд, иметь обязательную для всех научных учреждений, архивов, музеев, библиотек научно-методическую инструкцию, предусматривающую выделение специальных фондов хранения и постоянную экспозицию материалов, издание описаний этих фондов.

Решением фольклорной комиссии при Международном комитете славистов в дни работы VIII съезда славистов (Загреб, 1978) начата подготовка к изданию двух антологий фольклора второй мировой войны на материалах, собранных во всех социалистических странах, — томов песенного фольклора и устной прозы. Возглавить эту работу поручено польской фольклористке Д. Симонидес и советскому фольклористу Б. П. Кирдану. Успех этой работы и дальнейшая издательская реали-

зация антологий во многом будут зависеть от активности советских фольклористов. Думается, что настало время создать академическую антологию советского фольклора Великой Отечественной войны. Со времени выхода в свет названных в начале статьи изданий прошло много лет. За прошедшее с тех пор время накоплено много новых фактов, установились более объективные критерии их отбора, усовершенствовалась текстологическая методика. Новая антология способствовала бы более полному и точному воспроизведению состояния народного творчества периода второй мировой войны. Особенно актуальной, на мой взгляд, задачей современной науки является создание обобщающего комплексного фольклорно-этнографического труда о быте народных масс и их духовной культуре в годы войны.

Антифашистское художественное народное творчество — не только значительный исторический памятник, но и часть живого художественного наследия, в определенной мере функционирующий элемент современной духовной культуры социалистического общества. Это проявляется в самых различных формах, но не стало еще предметом специальных исследований. Произошла определенная эволюция в бытовании фольклора второй мировой войны. По содержащимся в материалах экспедиций и в научной литературе наблюдениям собирателей в первые послевоенные годы произведения всех жанров исполнялись устно, заносились в многочисленные рукописные песенники — «альбомы», сопровождали уличные гуляния молодежи и праздничные застолья. Причем это было не только там, где в недавнем прошлом передвигались линии фронтов и разгоралась партизанская борьба, а повсеместно, как показали, например, экспедиции 1940-х — первой половины 1950-х годов в Сибири и на Урале и комплексная экспедиция Института этнографии АН СССР и Института русской литературы АН СССР 1960—1961 гг. в Среднее Поволжье. Впоследствии, особенно во второй половине 1960-х — в 1970-е годы, произошли изменения в соотношении видов бытующего фольклора — значительно сократился песенный репертуар, однако возрос удельный вес устной прозы, особенно мемуаров, а исполнение локализовалось во времени и стало приурочиваться к памятным датам (годовщинам сражений и освобождения городов и сел, к революционным праздникам, особенно к Дню Победы), а также стало сопровождать встречи ветеранов-однополчан и участников боев на местах сражений¹¹. В этих случаях исполнение песен стало традиционным (например, по сообщению В. Помяновской на VIII съезде славистов, пение вокруг костров во время традиционных «партизанских ночей» в Польше). По наблюдениям С. Бурлясовой, в Словакии в народной памяти сохраняются лучшие песни, для которых характерна «вышая степень обобщения»¹². Аналогичный отбор произведений фольклора сам народ производит и в других странах. К сожалению, наука располагает лишь отдельными разрозненными фактами, а сколько-нибудь систематическое социально-этнографическое исследование бытования и функционирования фольклора второй мировой войны не проводилось.

Одновременно с процессом устной передачи происходит и характерное для социалистического общества включение лучших произведений народного творчества второй мировой войны в различные виды культурно-просветительской деятельности и в систему художественной самодеятельности — создаются хоры ветеранов войны, проводятся выступления мастеров устного рассказа, организуются конкурсы и фестивали песен народно-освободительной борьбы, осуществляется пропаганда этих песен средствами массовой информации (тематические

¹¹ См., например: З. Я. Можейко. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж. Минск, 1971, с. 101—103.

¹² S. Burslová. Partyzánske a odbojové piesni.— «Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe». Bratislava, 1974, s. 178.

радио- и телепередачи), издаются массовыми тиражами записи от народных исполнителей песен и устных рассказов. Во всех таких случаях фольклористы оказываются не только наблюдателями, но и организаторами и научными консультантами, однако этот опыт не получает должного отражения в научной периодике и обобщения в научно-методической литературе.

Наконец, нельзя обойти молчанием и такой важный процесс освоения современной культурой духовных ценностей, созданных народом во время войны, как творческую адаптацию их в профессиональном искусстве — в поэзии и литературе, в драматургии и театре, в музыке и кинематографии. Не приходится сомневаться, что этот процесс и его плодотворные результаты еще привлекут внимание искусствоведов.

Из всего сказанного следует вывод, что изучение духовной культуры народных масс периода второй мировой войны остается актуальным направлением советской фольклористики и этнографии и открывает перед современными исследователями новые перспективы.

FOLK CREATIVE ART IN THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR AND THE PROBLEMS OF STUDYING IT

The author reviews the results achieved by studies of anti-fascist folklore and formulates certain topical problems arising in the course of studying the intellectual culture of the people's masses in the Second World War period. The author makes a number of suggestions: the processes of mutual influences between different peoples' cultures in their joint war of liberation against fascism should be more widely studied; the functioning of the creative art works of those years under present-day social conditions should undergo systematic research; the place and role in socialist culture of the spiritual values created by the masses in those years should be determined.

Among specifically folkloristic problems the author is particularly interested in: the sources and the regularities of the development of folk creative art in the Second World War years; its classification by genre; the artistic styles of anti-fascist folklore; the problems related to gathering, preserving and publishing folklore-ethnographic materials.

М. Г. Рабинович

ГОРОД И ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА *

В наше время в индустриально развитых странах всего мира городское население решительно преобладает над сельским, и в частности в СССР каждая последующая перепись населения показывает рост этого преобладания горожан. Проблема урбанизации встала уже давно, и сейчас никому не приходит в голову отрицать огромное влияние города, городской культуры на все решительно области народной жизни. Это делает очевидной необходимость этнографического изучения городов, без которого невозможно составить представление о культуре народа в целом.

Но изучение современного города должно опираться на изучение города древнего и средневекового — ведь почти все явления городской жизни уходят своими корнями в далекое прошлое, в предшествующие исторические формации. Это в особенности необходимо, когда речь идет об изучении традиционной культуры народа. Если не представлять себе традиции как нечто раз навсегда установленное, как нечто застывшее, если рассматривать традиционную народную культуру в ее развитии, то станет очевидным, что в этом процессе город и деревня не всегда противостояли друг другу, что во многих случаях они участвовали в нем, дополняя друг друга, содействуя созданию и развитию этнокультурных традиций.

Последнее положение в прошлом серьезно оспаривалось. Городская культура Западной Европы еще как-то признавалась, но этого уже нельзя сказать о городах Востока, а русские города еще в прошлом и даже в начале нынешнего века рассматривались даже как «правительственная фантазия», «насильственная случайность»¹ в народной жизни.

Основу народной культуры определял, по мнению исследователей, огромный массив сельского населения, в котором терялись маленькие городки, не признававшиеся многими «настоящими», «истинно экономическими», «городами в научном смысле слова»². Бесспорной считалась ведущая роль города и горожан в политической жизни страны, в области науки и профессиональной культуры. Традиционная же народная культура развивалась, как думали многие, без участия горожан. Более

* Статья написана на основе доклада, сделанного в школе-семинаре (Звенигород, 29 октября — 3 ноября 1979 г.) (см. «Сов. этнография», 1980, № 2).

¹ См., например, *Н. П. Огарев*. Письма к одному из многих. — Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., 1952, с. 677.

² См. *В. П. Семенов-Тяньшанский*. Город и деревня в Европейской России. СПб., 1910; *Н. А. Рожков*. Город и деревня в русской истории (краткий очерк экономической жизни России). Пг., 1918; *А. А. Зимин*. Состав русских городов XVI в. — «Историч. записки», т. 52, 1955; *Н. Н. Воронин*. К итогам и задачам археологического изучения древнерусского города. — «Кр. сообщения Ин-та истории материальной культуры», № 41, 1951; *В. В. Карлов*. О факторах экономического и политического развития русского города в эпоху средневековья (к постановке вопроса). — «Русский город. Историко-методологический сборник». М., 1976.

того, город рассматривался почти исключительно как нивелирующий, разрушающий традиционную культуру фактор.

Но дальнейшее рассмотрение этой проблемы, привлечение новых материалов позволяет поставить вопрос: так ли в действительности мала (чтобы не сказать — отрицательна) роль города в создании и развитии традиционной народной культуры? Вопрос, разумеется, общий, касающийся едва ли не всех городов мира. В рамках данной статьи мы будем все же пользоваться фактическим материалом, характеризующим преимущественно города русские, привлекая для сравнения имеющиеся данные о зарубежных городах, а также о городах Прибалтики, Поволжья, Кавказа и Средней Азии, представляющие общий интерес.

Прежде чем перейти к выявлению роли города в развитии традиционной народной культуры, уточним само понятие «город» в отношении к нашей теме. Задача эта, несложная для современности, представляет значительные трудности, когда мы обращаемся к прошлому. И если сейчас в большинстве стран имеются твердые критерии (исходящие, как правило, из числа жителей и из характера их занятий), на основании которых те или иные поселения относятся к категории городов и промышленных поселков, то в прошлом эти критерии либо были совершенно иными, либо не существовали вовсе. Работая над письменными источниками, мы вынуждены чаще всего попросту принимать те дефиниции, которые давались современниками, а определение в этом смысле археологических памятников еще сложнее, поскольку далеко не каждый из них может быть сопоставлен с упоминаемым в письменных источниках городом. Для русских городов проблема осложняется еще и неоднозначностью самого термина «город» в древнерусском языке. Словом «город», «град», «грод» обозначались, как известно, и поселение в целом, и укрепления, и территория внутри укреплений, и, наконец, даже определенная область, зависевшая от города.

Не удивительно поэтому, что в нашей науке до настоящего времени нет еще единого мнения о том, какие поселения следует считать городами. Пожалуй, самое старое мнение: городами являются те поселения, которые признавали городами современники, что получило, как сказано, отражение и в письменных источниках. Это мнение, идущее еще от историко-юридической школы, не устарело, по нашему мнению, и сейчас³. Но уже в конце прошлого и начале нынешнего столетия были предложены иные, не менее обоснованные критерии. Одни авторы исходили из людности поселения, предлагая считать городами населенные пункты с числом жителей больше определенной (как правило, ими самими заданной) цифры; другие придавали большое значение занятиям населения, считая городами поселения, жители которых были заняты преимущественно в промышленности (первой формой которой является ремесло) и торговле; критерием при этом служил обычно довольно высокий уровень развития торговли и промышленности, свойственный развитым городам эпохи капитализма⁴. Наконец, существует третья точка зрения, исходящая из того, что понятие «город» не совпадает ни с понятием «большое поселение», ни с понятием «поселение промышленников и торговцев», что городскому поселению обязательно должны быть присущи черты городского образа жизни, городского быта (понимаемого весьма широко — как внешнее выражение общественных отношений)⁵.

³ См. Д. Я. Резун. К характеристике документов приказного делопроизводства, как источника по историографии сибирского города в XVII в. — «История городов Сибири досоветского периода (XVII — нач. XX в.)». Новосибирск, 1977; М. Г. Рабинович. Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978.

⁴ L. Mumford. The city in history. London, 1961; В. П. Семенов-Тяньшанский. Указ. раб.

⁵ П. Г. Рындзюнский. Основные факторы горообразования в России второй половины XVIII в. — «Русский город».

Из этих главных определений понятия «город» исходят несколько других, пользующихся в качестве критериев признаками, на первый взгляд чисто внешними (общей площадью и площадью центрального укрепления, наличием по крайней мере двух линий укреплений, наличием сооружений городского хозяйства и т. п.), но являющимися важными показателями развития городского быта⁶.

Нетрудно заметить, что каждое из приведенных определений имеет как важные достоинства, так и существенные недостатки. Официальное признание какого-либо поселения городом далеко не всегда соответствовало действительности, так как, с одной стороны, иногда город попадал в число «штатных» намного позже своего возникновения (достаточно привести пример Иваново-Вознесенска), с другой стороны, городами продолжали числиться некоторые поселения, давно утратившие значение городов (в Англии в определенный момент они получили название «гнилых местечек»). Пересмотр статуса городов бывал чрезвычайно редко. Исходя из критерия населенности, исследователи приводят иногда соображения, в достаточной мере парадоксальные⁷.

Численность населения и точный социально-профессиональный его состав, как и торгово-промышленный потенциал города для древних периодов, как правило, не поддается точному определению, общие критерии в этом отношении выработать пока не представляется возможным (особенно, если учесть локальные варианты). Отсюда — нередко вынужденная произвольность в отнесении поселения к той или иной категории. Иногда такие попытки приводят, например, к почти полному отрицанию наличия городов в эпоху феодализма в целых обширных областях, а то и странах. Примерно те же результаты дает и введение формальных критериев вроде наличия второй линии укреплений. Что же касается площади, то этот важный критерий может быть использован только в некоторых определенных случаях (в частности, здесь обязательны узкие территориальные и хронологические рамки), поскольку известно, что при высокой плотности населения (причины, обуславливающие ее, различны) крупный промышленный центр может занимать меньшую площадь, чем иное село. Для этнографов, пожалуй, важнее всего тезис П. Г. Рындзюнского об определяющем значении быта, уклада жизни. Но городской образ жизни — это не причина, а следствие образования городов. То же можно сказать и о людности, и об упомянутых только что формальных признаках, а с некоторыми оговорками — и о самом статусе города. Таким образом, как бы ни были существенны все приведенные выше критерии определения города, они исходят из следствия, а не из причины образования городов. Исследователи сходятся на том, что первопричиной этого сложного процесса является общественное разделение труда. «Основой всякого развитого и товаром опосредствованного разделения труда, — писал К. Маркс, — является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности»⁸. Возникший в результате этого новый для данной общественно-экономической формации тип поселения — город — имеет множество разнообразных функций. Города являются центрами промышленными и торговыми, военными и административными, культурными и религиозными. Едва ли не главным для нашей темы представляется значение города как местного центра. Это понятие не исчерпывается определением го-

⁶ В. В. Седов. Городища Смоленской земли. — «Древняя Русь и славяне». М., 1978; E. Ennen. Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn, 1953; Г. В. Штыхов. Города Полоцкой земли. Минск, 1978.

⁷ Л. Мэмфорд, например, замечает, что, строго говоря, города есть не только у людей, но и у некоторых животных (например, у муравьев, у пчел) (см. L. Mumford. Указ. раб., с. 6).

⁸ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 365.

рода как центра местного рынка; оно шире, хотя экономические функции преобладают над военно-административными и культурно-конфессиональными.

Как нам случалось уже показывать⁹, для сложения городского образа жизни не обязательно наличие всего многообразия функций поселения, о которых только что говорилось. Достаточно одной функции, чтобы поселение приобрело (сразу или постепенно) черты города: относительно большие людность и размеры, сооружения городского хозяйства, по большей части и укрепления, городской образ жизни. Но устойчивость города как поселения, его долговечность в значительной степени зависит от того, насколько он выполняет функции местного центра, насколько он необходим окружающему местному населению. Если необходимо, тогда ни изменения мировой торгово-промышленной, ни военно-политической, ни религиозной конъюнктуры, ни даже полное разорение неприятелем не прекратят жизни города. В противном же случае любое из этих изменений может повести к превращению города в сельское поселение (причем постепенно исчезнут черты городского быта), а то и к полному запустению города. Вчерашние столицы, крупный центр международной торговли, знаменитейшее место паломничества, важнейший военный опорный пункт могут с изменением конъюнктуры в короткий срок утратить свое значение, и самое существование их как городов зависит от того, насколько они являются также и местными центрами. «Не дальняя торговля, но рынок, базар делают город центральным пунктом хозяйственной жизни», — пишет известный урбанист Э. Эннен¹⁰.

Археологи давно уже обратили внимание на то, что многие древние поселения, обладающие важными признаками города, существовали недолго (одно-два столетия) и запустели, в то время как другие развились и являются городами и в наши дни. В частности, сопоставляя развитие Смоленска и Гнездова, В. Я. Петрухин и Т. А. Пушкина пришли к выводу, что Гнездово, возникшее на рубеже IX и X в., переживало наиболее интенсивное развитие в середине X в. как княжеский и дружинный центр — погост, в котором собиралась дань, связанный торговлей с Востоком, Византией, Средней Европой, но не отражавший в достаточной мере интересов своей округи. В XI в. этот городок заглох, тогда как его ближайший сосед — местный племенной центр Смоленск стал интенсивно развиваться¹¹. Это наблюдение представляется нам весьма ценным. Подобные явления не были редкостью и в более поздние времена. Так, в XIV—XVI вв. княжеский город Радонеж, не создав вокруг себя прочного рынка, вынужден был уступить значение местного центра основанному поблизости Троицкому монастырю. Монастырь превратился в город, а Радонеж — в село, несмотря на то что московское правительство пыталось искусственно поддержать Радонеж, издавая, например, указы о возвращении туда ярмарки¹². Много случаев изменения статуса малых городов связано с административными мероприятиями при установлении областного деления России в XVIII в. Успех их зависел от того, насколько правильно оценивались при этом перспективы данного города, прежде всего в сохранении или приобретении значения местного центра. Можно думать, что подобным же образом обстояло дело и при аналогичных реформах в других странах.

⁹ М. Г. Рабинович. Указ. раб., с. 20—21; *его же*. К типологии восточнославянских городов. — «Проблемы типологии в этнографии». М., 1979, с. 230—231.

¹⁰ Хотя при этом центры международной торговли обычно крупнее, чем рядовые местные центры. *E. Ennen. Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen, 1975, S. 84, 202.*

¹¹ В. Я. Петрухин, Т. А. Пушкина. К предыстории древнерусского города. — «История СССР», 1979, № 4, с. 102—106. Название «Гнездово» здесь употреблено условно, так как древнее имя городка неизвестно.

¹² М. Г. Рабинович. К типологии восточнославянских городов, с. 238.

С разнообразными функциями города связаны не только его внешние признаки, о которых мы упоминали, но и большая, чем в селах, сложность социального и этнического состава его населения.

Исходя из изложенного, мы предлагаем в качестве рабочей гипотезы для освещения поставленной нами проблемы определение города как относительно крупного поселения, укрепленного или без укреплений, являющегося местным экономическим и культурным центром, имеющего сложный в этническом и социальном отношении состав жителей, большинство которых занято в товарном производстве и ведет городской образ жизни.

Функция города как местного центра строжайше обусловлена его тесными связями с сельским населением.

Было бы удивительно при этом, если бы город оказался чуждым традиционной народной культуре, если бы роль его ограничивалась только передачей сельскому населению иноземных новшеств. Народная культура была во всех отношениях его основой и питательной средой. Другое дело, что горожане активно участвовали в переработке старых и создании новых культурных ценностей, в развитии материальной и духовной культуры народа в целом.

Признание крестьянства не только основным, но и единственным, исключительным носителем традиционной культуры народа, а с ним и известная идеализация сельской жизни и самой культуры появились лишь в XVII—XIX вв. и были связаны с романтизмом, который в середине прошлого столетия в России стал важным элементом народнической идеологии. Вопрос этот сам по себе весьма сложен и не может быть разрешен в одной краткой статье. Для нас важно, что одной из сторон народнической идеологии, против которой боролись впоследствии марксисты¹³, было как раз это романтическое понимание роли крестьянства как единственного носителя традиций народной культуры и города как исключительно нивелирующего фактора, этой культуре угрожающего.

С другой стороны, идеализация сельской жизни была еще с XVII—XVIII в. в высокой степени свойственна реакционной дворянско-помещичьей идеологии, что отразилось и в различных пасторальных сюжетах литературы того времени.

Что же касается собственно народного творчества, в частности устной поэзии, то в ней город издавна занял прочное положение и даже несколько идеализировался. Достаточно вспомнить художественные образы древнерусской народной поэзии: былинный Киев — резиденцию ласкового князя Владимира — или Великий Новгород с его мировым торгом, который не в состоянии выкупить сам богатый гость Садко. Вместе с тем русские былины содержат и убедительные бытовые подробности городской жизни вроде драк на Новгородском мосту или хвастовства заезжего галицкого боярина, что в Галиче мостовые много лучше киевских.

В народных представлениях городская жизнь с древнейших времен рисовалась как образец и даже предмет зависти для приезжего сельского жителя. Кроме того, в создании по крайней мере некоторых циклов былин, вошедших в золотой фонд русского фольклора, по-видимому, принимали участие и горожане. Им может принадлежать, в частности, такой сочный образ народной поэзии, как образ Василия Буслаева¹⁴.

Мы подошли сейчас к важнейшему вопросу рассматриваемой нами проблемы. Город возникал, как мы уже говорили, в сельской среде и на первых порах решительно во всех областях городской жизни чувствовалось влияние этой среды. Но не было, пожалуй, такого явления духов-

¹³ См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 223—224.

¹⁴ Былины о Дюке Степановиче. См. «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.», т. III. М.—Л., 1951, с. 102; о Василии Буслаеве.— «Новгородские былины», М., 1978, с. 5—147.

ной или материальной культуры народа, которое, будучи воспринято горожанами, не подвергалось бы решительной переработке в соответствии с их жизненными и культурными запросами. А потом, иногда через десятки или даже сотни лет, сильно измененными, многие из этих явлений возвращались в деревню уже как культурное влияние города. Таким образом, с тех давних пор, как появились города и горожане, культурные влияния городского и сельского населения были взаимными. Город отнюдь не был чем-то посторонним, чуждым традиционной народной культуре. Он был активным ее творцом, как и деревня.

Поясним это положение на некоторых примерах. Мы будем брать эти примеры преимущественно из области материальной культуры, так как важнейшая роль города в создании духовной культуры народа никем не подвергается сомнению.

Начнем с занятий — с области, которая, как кажется, больше всего отличает город от деревни. В самом деле, город представляется прежде всего как центр промышленности и торговли, в отличие от деревни, где решительно преобладают хлебопашество, скотоводство, пчеловодство и т. п., недаром эти занятия в совокупности называются сельским хозяйством. В этом суть важнейшего общественного разделения труда — отделения города от деревни.

Но если в деревне также имеются ремесла, то горожанам (в особенности на первых этапах развития городов) отнюдь не чуждо земледелие (даже в форме хлебопашества), скотоводство — словом, все те сельскохозяйственные занятия, которые мы только что назвали. Они составляли важное подспорье в жизни рядовых горожан, обеспечивая им уверенность в завтрашнем дне. Здесь не составят исключения и города Западной Европы¹⁵. Но дело не только в этом подсобном для горожан значении сельскохозяйственных занятий. Некоторые из таких занятий, в частности огородничество, садоводство и бахчеводство, приобретают в городах высокотоварный характер, и прав П. Г. Рындзюнский, когда рассматривает их не как подсобные занятия, а как важнейшие промыслы наряду с ремеслами и торговлей, либо тут имеет место производство для обмена¹⁶. Небольшие русские города вроде Ростова, Дмитрова или Можайска поставляли овощи во всю центральную Россию¹⁷, как в города, так и в окрестные села. При этом в городах выводились такие новые виды овощей и фруктов, которые приобретали важное значение в сельском хозяйстве всей страны и даже за ее пределами. Достаточно назвать владимирскую вишню, нежинские огурцы, павловские арбузы и огурцы¹⁸. Очень важным занятием горожан было скотоводство, дававшее мясную и молочную пищу, шерсть, кожу и сырье для костерезной промышленности. Городскому пастбищу-выгону придавалось очень большое значение. По всей вероятности, именно город был пионером в организации стадного выпаса скота под надзором специалиста — пастуха, пришедшего позже и в деревню, где первоначально господствовал вольный (безнадзорный) выпас скота на прилегающей к селению поскотине. С коллективной пастбой была связана довольно сложная проблема общественного содержания пастухов и подпасков, а также некоторые древние обычаи, направленные на оберег и повышение продуктивности скота, общие для города и деревни.

Жилище рядового горожанина первоначально почти не отличалось от крестьянского жилища данной местности. Важнейшую роль здесь

¹⁵ См., например, В. В. Стоклицкая-Терешкович. Основные проблемы истории средневекового города X—XV вв. М., 1960, с. 55—56; Я. А. Левицкий. Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв. М.—Л., 1960, с. 62—63.

¹⁶ П. Г. Рындзюнский. Указ. раб., с. 107, 120—121.

¹⁷ Л. О. Милов. О так называемых аграрных городах России XVIII в.—«Вопросы истории», 1968, № 6.

¹⁸ М. Г. Рабинович. Очерки этнографии русского феодального города, с. 59—61.

играли природные условия — климат, наличие нужных пород строительного леса. Это ясно видно на примере жилища русских, расселившихся, как известно, по обширной территории. Там, где были более или менее значительные хвойные леса, уже в глубокой древности преобладали срубные сосновые или еловые дома, хозяйственные постройки из дуба, заборы и ворота из разных пород дерева. Где леса не было, рядовые крестьяне и горожане строили глинобитные беленые дома на деревянном каркасе, а то и углубленные в землю полуземлянки. Таковы же были хозяйственные постройки, а заборы — плетневые. Срубные дома строили в этих местах только богатые.

На усадьбах горожан были не только разного рода амбары и сараи, но даже постройки для обработки урожая — овины, гумна, характерные больше для крестьянской усадьбы. Но уже с самого начала почти каждый городской дом был одновременно и мастерской ремесленника (во дворе мог быть металлургический или гончарный горн, зольник кожевника и другие производственные сооружения). И, что особенно важно, дом горожанина начал развиваться и усложняться намного раньше, чем дом крестьянина. Археологические раскопки показали, что уже в XII—XIII вв. в крупных городах (например, в Новгороде) были дома усложненного плана, имевшие три помещения — избу, сени и клеть или две избы, соединенные сенями. Были и избы-пятистенки, как их теперь называют, — с пятой внутренней стеной, разделявшей избу на два помещения¹⁹. Лишь на несколько столетий позднее трехкамерная изба и изба-пятистенок распространились и в деревне, а в XVIII—XIX вв. они стали традиционным жилищем крестьян. В городе к тому времени преобладали уже многокомнатные дома.

В старых русских деревнях и сейчас еще радуют глаз резные наличники окон и убранство фронтонов. Но надо ясно представить себе, что это деревянное узорочье — одно из наиболее ярких сторон русского народного искусства — тоже происходит из города, где впервые дома стали выходить фасадами на улицу и распространился обычай украшать окна затейливыми наличниками, обычай, охотно воспринятый и деревней. Недаром деревенские избы имеют подчас наличники «классических» архитектурных стилей — барокко, ампир, иногда даже модерн. Наряду с этим в убранстве русского дома нередко сохраняются очень древние черты, связанные с представлениями о необходимости оберега от злых сил: конек крыши, стилизованное изображение конской головы на лавке у входа (и сама эта лавка называется «коник»), резной орнамент дверей и окон. Эти черты уходят своими корнями в глубокую древность, когда и городов-то еще не было. Мы видим, что и в строительном материале, и в конструкции, и в планировке, и в украшении традиционного русского народного жилища тесно переплелись черты, возникшие как в крестьянской, так и в городской среде.

Народное строительное искусство проявлялось не только в собственном жилищном строительстве, но и в различных сооружениях городского хозяйства — мостовых, колодцах, водостоках, мостах, набережных. Русские плотники еще в глубокой древности возводили городские стены и башни, дома и хозяйственные постройки; они же строили и все те сооружения, о которых мы только что говорили, находя остроумные конструктивные и художественные решения. Такие сооружения появились сначала в городах, но многие из них распространились и в сельской местности²⁰. Например, срубные колодцы, иногда с красивыми навеса-

¹⁹ П. И. Засурцев. Усадьбы и постройки древнего Новгорода. — «Труды Новгородской археологической экспедиции», т. II. М., 1959; М. Г. Рабинович. Русское жилище XIII—XVII вв. — «Древнее жилище народов Восточной Европы». М., 1975, с. 189; Г. Г. Громов. Жилище. — «Очерки русской культуры XVI в.», ч. I, М., 1978.

²⁰ М. Г. Рабинович. Деревянные сооружения городского хозяйства в Древней Руси. — «Средневековая Русь». М., 1976.

ми — «сеньями», разнообразны мосты, подчас оригинальной конструкции, набережные.

С помощью одного только топора плотник мог сделать целый водосток из деревянных труб, а деревянные мостовые были едва ли не в каждом русском городе. В Западной Европе основным материалом для строительства служил чаще камень, на Востоке — глина и сырцовый кирпич.

В застройке поселений можно проследить давние взаимные влияния города и деревни. Древнейший центр города (у русских — детинец) обычно имел кучевую или беспорядочную застройку, как и сельские поселения, а уличная застройка городских посадов, по-видимому, повлияла на сложение сплошной или уличной застройки многих деревень и сел.

Народный костюм тоже испытывал влияния как деревни, так и города. Это можно заметить и в очень давние времена, когда существовали еще особенности древнего племенного наряда. В частности, у восточных славян металлические украшения праздничного женского убора — привески (так называемые височные кольца), бусы, браслеты, перстни и т. п., имевшие свои особенности у каждого племени, делались как деревенскими, так и городскими мастерами. Последние нередко вносили в старинные формы этих украшений новые черты, в свою очередь становившиеся традиционными. Недавно было высказано мнение, что и финно-угорские племена Новгородской земли пользовались украшениями, отвечавшими их традиции, но сделанными в Новгороде. Через города попадали в сельские местности и религиозные символы (разного рода кресты, иконки), использовавшиеся местным, еще не христианизированным населением просто как украшения²¹.

В прошлом столетии, да и в начале нынешнего у русских «городской» женский костюм — «парочка» (кофта с юбкой из одинаковой покупной материи) противопоставлялся традиционному более нарядному костюму с поневой или с сарафаном²². Но ведь и сам сарафан, если разобраться, — элемент костюма тоже городской, только более древний. Еще 600 лет назад в русских летописях впервые появилось новое для того времени слово восточного происхождения — «сарафан», «сарафанец». Оно обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую²³. Однако уже в XV—XVI столетиях сарафан стал излюбленной одеждой городских женщин. Он приобрел несколько иной покрой — лишился, например, рукавов; шили сарафаны из лучших материй, украшали кружевом, дорогими пуговицами. Исследователи думают, что была какая-то более древняя женская одежда, на которую распространилось новое название «сарафан»²⁴. Но несомненно, что в полном своем виде комплекс женской одежды с сарафаном сложился в городах, а затем распространился в сельской местности, преимущественно у северных русских. Процесс этот был длительным. Начавшись в XVI—XVII вв., он продолжался и в XVIII—XIX вв. Комплекс одежды с сарафаном понемногу распространялся в деревнях с севера на юг, постепенно оттесняя более древний комплекс русского женского костюма с красиво вытканной набедренной одеждой — поневой. А в городах

²¹ А. В. Арциховский. Курганы вятичей. М., 1930; *его же*. Царицынские курганы. — «Материалы и исследования по археологии Москвы», т. I. М., 1947, с. 80—81; Г. П. Латышева. Раскопки курганов у ст. Матвеевская в 1953 г. (материалы к изучению подмосковного села XIII—XIV вв.). — «Памятники археологии Москвы и Подмосковья». М., 1954, с. 48—54; Н. Г. Недошивина. О датировке Белевского клада. — «Славяне и Русь». М., 1968, с. 118—121; Е. А. Рябинин. Новгород и северо-западная область Новгородской земли. — «Культура средневековой Руси», Л., 1974, с. 60.

²² «Русские. Историко-этнографический атлас». М., 1967, карты № 38—40.

²³ «Полное собрание русских летописей», т. XII. М., 1965, с. 27. 1377 г.

²⁴ Б. А. Куфтин. Материальная культура русской мешеры, ч. I. М., 1926, с. 110—120; Г. С. Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов. — «Востоочнославянский этнографический сборник» («Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXX). М., 1957, с. 642—643.

уже в XVI—XVII вв. понева исчезла совсем. Горожанки и на юге носили только сарафаны, когда окрестные крестьянки одевались еще в поневу. На рубеже XIX и XX вв. можно было наблюдать, как в сельской местности сарафан «наступал» на поневу, проникая в южнорусские деревни сначала отдельными островками, а потом целыми обширными зонами. А между тем из городов шла уже следующая волна — распространялся новый городской костюм «парочка». Наглядность участия горожан в создании традиционной народной одежды (в частности, так называемого севернорусского костюма с сарафаном) выявляется здесь очень ясно. В небольших русских северных городах еще лет 100 назад не только простые горожанки, но и купчихи носили традиционные сарафан и кокошник²⁵. Но были уже и такие, что одевались в новомодные платья, бурнусы и шляпки.

Пожалуй, наиболее существенным отличием городского костюма была кожаная обувь. Еще в прошлом столетии повсюду в Западной Европе сельские жители носили жесткие деревянные башмаки. На востоке Европы носили более гибкие лапти. Крестьян на Руси называли «лапотниками» по крайней мере тысячу лет. Одна из первых русских летописей — «Повесть временных лет» приводит, между прочим, разговор князя Владимира с воеводой, который сказал князю, что от захваченных пленников мало толку, так как они все в сапогах: с них дани не получить, поищем себе лапотников — советовал воевода²⁶. Эта летописная притча не могла бы все же считаться достоверным указанием на различие обуви горожан и крестьян, уж очень ярко выражен в ней элемент назидательности. Но вот уже много лет во многих русских городах ведутся археологические раскопки. Среди находок «массового материала», как называют археологи наиболее часто встречающиеся предметы, в каждом городе обычно тысячи, сотни тысяч обрезков кожи, десятки, сотни частей обуви и целых поршней (кожаных туфель), чобот (ботинок) и, конечно, сапог. И за все годы во всех городах — всего лишь несколько штук лаптей, да и те иногда оказываются сплетенными не из древесной коры, как обычно деревенские лапти, а из кожаных ремешков. Да, в древности лапти носили только крестьяне, хоть былина и упоминает какие-то особенно нарядные «лапотки семи шелков» с драгоценными камнями у горожанина Дюка²⁷. Это скорее всего просто мечта крестьянина — сказителя быliny, похожая на другую известную поговорку: «царь ест сало с салом». А вот анализ найденных при раскопках сапог показал, что они были подчас очень нарядными — из цветной кожи (не только черные, но желтые, зеленые, красные), украшались тиснением, вышивкой и т. п.²⁸ Но уже в прошлом столетии нарядные сапоги (в соответствии с модой то «бутылками», то «гармошкой») были и атрибутом деревенского щеголя, да и вообще зажиточные крестьяне носили тогда кожаные сапоги и коты, а беднота по-прежнему ходила в лаптях. Итак, кожаная обувь тоже вошла в традиционный народный костюм под влиянием города.

А теперь, когда мы видим, например, народный хор в традиционных русских костюмах — мужчин в косоворотках и высоких сапогах, женщин в сарафанах, кокошниках и цветных сапожках, мы не подозреваем, что перед нами, собственно, городской костюм, но эта мода проникла в деревню уже давно, став, таким образом, общерусской. Нужно сказать,

²⁵ См. А. Шеляков. Типы города Галича. Научный архив Географического о-ва СССР, разр. XVIII, оп. 1, № 23 (воспроизведено в кн.: М. Г. Рабинович. Очерки этнографии русского феодального города, вклейка, с. 192—193).

²⁶ «Повесть временных лет», ч. I. М.—Л., 1950, с. 59.

²⁷ «Онежские быliny», т. III, с. 196.

²⁸ С. А. Изюмова. Из истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого. — «Труды Новгородской археологической экспедиции»; М. Г. Рабинович. О древней Москве. М., 1964, с. 288; Н. С. Шеляпина. Археологические наблюдения в Московском Кремле в 1963—65 гг. — «Древности Московского Кремля». М., 1971, с. 152—153.

что сарафан вообще стал как бы символом традиционного женского русского костюма в целом. Например, изображая женщин (все равно — горожанок или крестьянок) в традиционной русской одежде, теперь всегда рисуют сарафан, а не поневу. Подобная же судьба у мужской верхней одежды — чохи, в просторечье часто называемой «черкеской» и символизирующей в нашем представлении традиционный мужской костюм едва ли не всех народов Кавказа. Исследования Е. Н. Студенецкой показали, что чоха была первоначально одеждой горожан²⁹. Интересно, что эта одежда проникла, по-видимому, в XVI в. и на Русь, в несколько измененном виде под названием «чуга». Возможно, это произошло в тот период, когда Иван Грозный женился на Марии Темрюковне и с молодой царницей приехало немало кавказских щеголей.

Пожалуй, наиболее сильной была сельская традиция в пище. Ведь основные пищевые продукты и блюда — то, что называют национальной кухней, зависят прежде всего от особенностей хозяйства. У земледельцев, как правило, преобладают мучные, крупяные, овощные и молочные блюда, у скотоводов — молочные и мясные. Бедный человек с трудом добывал для своей семьи ежедневные щи и кашу, перебивался, как говорили, с хлеба на квас. За столом богатого человека подавали десятки изысканных блюд, в том числе мясных и рыбных. Это касалось и горожан, и сельских жителей.

Но режим питания народа в целом складывался под значительным влиянием города. Общеизвестно что этот режим отразил и требования господствовавшей христианской религии (в разных странах православной или католической), которая проникала в сельские местности Европы через города. Сам процесс христианизации в различных странах Европы шел неодинаково. Этой важной проблеме посвящено много работ, и в данной статье мы ее не рассматриваем. Для нас важно, что повсюду христианизация влекла за собой строительство церквей, создание сильной клерикальной организации, введение ряда религиозных запретов. Все это происходило прежде всего в городах. Большую роль в режиме питания сыграли, в частности, введенные церковью посты. Например, у русских — длинные весенний («великий»), летний («петровский») и некоторые другие, однодневные посты каждую среду и пятницу. Всего у православных было до 200 постных дней в году. В постные дни не употребляли мясо и молоко, но можно было есть рыбу. Отсюда — большое разнообразие рыбных блюд, отличающее русскую кухню. В частности, монастырские уставы рекомендовали братии не менее четырех разных рыбных кушаний каждый день.

Ежедневные трапезы, за которыми собиралась вся семья, сложились постепенно. У русских крестьян в древности таких трапез было всего две — обед и ужин. В городах еще в XVI в. простой народ питался так же, но у более зажиточных появились еще две трапезы — завтрак и полдник. Постепенно у горожан стало, таким образом, четыре ежедневных трапезы — завтрак, обед, полдник и ужин, и этот обычай стал проникать в деревню. Другой городской модой, распространившейся в XIX—XX в. и среди русских крестьян, стало чаепитие или, как его называли в ту пору некоторые, — «самоварная роскошь»³⁰.

Под влиянием города в деревнях увеличивался ассортимент домашней утвари, в частности кухонной и столовой посуды. Крестьянское хозяйство знало в древности всего лишь несколько форм сосудов. В частности, в Древней Руси распространен был глиняный горшок (сосуд специфически славянский, связанный с так называемой русской печью,

²⁹ Е. Н. Студенецкая. Общие черты в мужской одежде народов Северного Кавказа и их отражение в терминологии. — «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии». Л., 1974, с. 263.

³⁰ М. Г. Рабинович. Ответы на программу Русского географического общества как источник для изучения этнографии города. — «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», V. М., 1971, с. 59.

в которой топливо и сосуды с приготовляемой едой находились на одном уровне)³¹, изредка еще кувшин, деревянные миски, ложки, ковши. За обедом или ужином вся семья ела из большой общей миски, строго соблюдая очередь: сначала черпали старшие, потом — младшие. Эту посуду и эти обычаи получили из деревни горожане. Но городской быт требовал более разнообразной посуды. Появилось множество форм печных горшков, глиняные сковороды (их называли латки), различные сосуды типа позднейших кастрюль, кумганы — сосуды с носиком, напоминающим современный кофейник, множество блюд и мисок³². В городе же развился и обычай раскладывать еду из общей посуды каждому на тарелку и соответственно появились черпаки и разнообразные маленькие миски, плоские тарелки из глины, дерева, у богатых — из металла, «кубышки» — глиняные бутылки. Парадная столовая посуда богато украшалась. Постепенно эта посуда и эти обычаи проникали и в деревню. В XVIII в. в бедной крестьянской избе Радищев видел деревянные кружки, называемые тарелками³³. Красивая посуда стала одним из важнейших видов продукции народного русского искусства в городе и в деревне.

Тесные связи с сельским населением и важность сельскохозяйственных занятий для горожан обусловили развитие и сохранение в городах в течение почти тысячелетия разнообразных аграрных обычаев и обрядов. В городах они приобретали свойственные городскому быту более широкий размах и красочность. Вместе с тем господствующая церковь повсюду стремилась не только распространить из городов в сельские местности свою догматику и обрядность, но и овладеть древними традиционными народными обрядами. Это приводило зачастую к довольно странному на первый взгляд смешению различных деталей обрядов и обычаев. В частности, у русских древние земледельческие обычаи и обряды существовали в малых городах еще в середине прошлого столетия, но главными действующими лицами были, конечно, не языческие жрецы, а православные попы и дьяконы. В некоторых городах еще 130 лет тому назад по определенным праздникам служили молебны, после которого из церкви направлялся крестный ход «на рожь», т. е. на принадлежащие городу земли. Здесь уже были накрыты столы, но прежде, чем сесть за них, служили еще один молебен, после которого женщины катали по полю попу или дьякона, чтобы урожай был таким же обильным, а каравай так же «упитан», как «батюшка» или «отец дьякон». Известна относящаяся к этому обрядовому действию поговорка: «Уродись сноп толстый, как поп».

Церковь стремилась занять ведущее место и в семейных обрядах. Но еще в прошлом столетии можно было ясно различить, например, в русской свадьбе как бы два самостоятельно существующих и плохо связанных друг с другом обряда — древний народный («веселье») и церковный («венчанье»). И во многих областях древнему обряду придавалось большее значение, чем церковному венчанию. Еще раньше, в середине XVI в., была предпринята попытка ввести и в народный обряд священника, как «свадебный чин». Ведь жених и невеста в день свадьбы нарекались молодыми князем и княгиней, им полагались «придворные чины» — у каждого были сваха, дружки, бояре и боярыни, у молодого князя — еще тысяцкий, который и был главным распорядителем свадьбы. Известное руководство по ведению дома XVI в. — «Домострой» рекомендовало иметь также и двух священников — по одному от рода жениха и рода невесты. Таким образом, священник должен был войти в

³¹ С. А. Токарев. О культурной общности восточнославянских народов. — «Сов. этнография», 1954, № 2, с. 26.

³² Р. Л. Розенфельдт. Московское керамическое производство XII—XVII вв. — «Свод археологических источников», в. Е 1—39. М., 1968, табл. 1—19.

³³ А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. М.—Л., 1950, с. 186.

число «княжеской свиты», но это, по-видимому, осталось только на страницах «Домостроя», а в народный обряд не попало³⁴.

Кажется, ни один праздник, общественный или семейный, в деревне или в городе не обходился в древности без скоморохов. Церковь боролась с ними, проклинала «бесовские действия», как называла представления с их играми «скаканием, плясанием и плесканием», но ничего сделать не могла. Скоморохи, жившие отдельными слободами (с которых брали большие налоги), бродили по русским городам и деревням, проносили на торжества богатых и на сборища рядовых горожан и крестьян, зачастую давали свои представления прямо на улице. Они были хранителями древних традиций — песен, плясок, игр, некогда носивших магический характер. Скоморохи создавали народный театр кукол с его своеобразными глиняными и деревянными «артистами», знакомыми всем фигурами грозного боярина или местного богатея, простоватого крестьянина, военного, не в меру бойкого народного героя Петрушки; эти фигурки находят при раскопках в городах. В играх скоморохов тесно переплетались элементы крестьянской и городской культуры, сливаясь в подлинно народное зрелище³⁵.

Красочны и увлекательны были сборища и игры молодежи, которые горожане восприняли первоначально от сельского населения, — посиделки зимой, хороводы летом, катанья с гор и пр. И даже в новой столице — Петербурге еще в прошлом столетии на центральных площадях устраивались нарядные искусственные ледяные горы, привлекавшие множество катающихся и зрителей.

* * *

Мы ознакомились лишь с некоторыми сторонами народной жизни, в которых тесно слиты элементы городской и деревенской культуры. Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить. Подведем некоторые итоги.

Город как поселение возникает в целом позже деревни и на первых порах питается традициями, созданными сельским населением. Но в дальнейшем он активно перерабатывает, обогащает эти традиции, и через больший или меньший срок деревня получает их из города уже развитыми, иногда едва узнаваемыми, — и в свою очередь активно воспринимает и перерабатывает эти традиции. Такой постоянный обмен культурными ценностями и ведет к созданию единой народной культуры. Кроме того, нужно помнить, что ни один народ не изолирован полностью от других народов мира как в экономическом, так и в политическом и в культурном отношениях. И в этих взаимовлияниях, без которых не складывается народная культура, как бы самобытна она ни была, город играет важную роль.

Город отнюдь нельзя рассматривать как явление, для народной культуры внешнее, постороннее. Городская культура является неотъемлемой частью традиционной народной культуры, активным элементом ее развития. Отсюда вытекает необходимость этнографического изучения как современного города, так и городов предшествующих эпох — капитализма, феодализма и рабовладельческой эпохи. Здесь этнографы работают в тесном контакте с археологами и историками, пользуясь теми же источниками, но имея свою специфическую задачу — изучение городского населения, городского быта, городского образа жизни в его многообразных связях с жизнью сельского населения, в процессе создания традиционной народной культуры.

³⁴ М. Г. Рабинович. Свадьба в русском городе в XVI в. — «Русский народный свадебный обряд». Л., 1978, с. 27—28.

³⁵ А. Фаминцын. Скоморохи на Руси. СПб., 1889; А. А. Белкин. Русские скоморохи. М., 1975; М. Г. Рабинович. К истории скоморошьях игр на Руси. — «Культура средневековой Руси».

THE CITY AND TRADITIONAL CULTURE

The definite predominance of urban population in industrially developed countries and the universal urbanization of everyday life necessitate urban ethnographic studies. However, urban settlements of the past were also not something external with regard to traditional folk culture: they actually participated in its rise and development. Many phenomena of material and intellectual culture were absorbed by the urban dwellers from the countryside; but there they underwent considerable transformations and returned to the rural area in a new and enriched guise.

The author offers his own definition of the concept of «city» and illustrates the rise of people's traditional culture in the course of rural-urban mutual connexions and influences by examples culled from the field of occupations (agricultural pursuits by urban dwellers as a contribution to the development of agriculture as a whole), material culture (dwellings, clothing, food and utensils) and intellectual culture (rituals, social and family life).

Д. М. Исхаков

**РАССЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ТАТАР
В ПОВОЛЖСКО-ПРИУРАЛЬСКОЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ В XVIII—XIX ВВ.**

Численность и особенности территориального размещения этносов оказывают весьма существенное влияние на этнические процессы¹. Однако для правильного понимания этнической ситуации изучения лишь сложившегося расселения народов и современной их численности явно недостаточно: к этим процессам необходимо подходить исторически.

Настоящая статья представляет собой опыт этностатистического исследования изменений, происходивших в XVIII—XIX вв. в территориальном размещении и численности наиболее крупной части татарского этноса — татар Среднего Поволжья и Приуралья. При этом мы стремились учесть и этнические процессы, так или иначе повлиявшие на численность и расселение средневожско-приуральских татар.

Средневожско-приуральские татары окончательно сформировались в две близкородственные этнические группы — казанские татары и татары-мишари, как нам представляется, не ранее XVI — первой половины XVII в. в результате длительного взаимодействия булгарского и родственного ему буртасского этносов со значительными группами золотоордыно-тюркского происхождения. В дальнейшем (с конца XVII — по конец XIX в.) в результате крупных миграций и вследствие чересполосного расселения представители обеих этих групп сложились в крупнейшую по численности локально-территориальную группу татарского этноса. Средневожско-приуральские татары, сохранившие основные черты культуры булгар, благодаря своему центральному положению и относительной многочисленности стали ядром сформировавшейся в конце XIX в. татарской буржуазной нации, которая после победы Великой Октябрьской социалистической революции превратилась в одну из наиболее крупных социалистических наций СССР.

Обращение к специальному этностатистическому изучению татар Поволжско-Приуральской историко-этнографической области (ИЭО) вызвано тем, что, несмотря на обилие историко-этнографической литературы, посвященной исследованию данной группы населения², в том числе и крупных обобщающих трудов³, до сих пор не выявлены динами-

¹ В. И. Козлов. Динамика численности народов. Методология исследования и основные факторы. М., 1969.

² Библиографию см.: «Татары Среднего Поволжья и Приуралья». М., 1967, с. 21—37, 514—531; «История Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней)». Казань, 1968, с. 681 и др.; М. К. Мухарьмов, З. И. Гильманов. Основные итоги изучения на современном этапе истории татарского народа. — «Исследования по историографии Татарии». Казань, 1978, с. 37—47.

³ Н. А. Спасский. Очерки по родоноведению. Казанская губерния. Казань, 1912; Н. И. Воробьев. Казанские татары (этнографическое исследование материальной куль-

ка изменения численности и особенности расселения татар в Среднем Поволжье и Приуралье за сколько-нибудь значительный отрезок времени. Предпринятая академиком П. Кеппеном в первой половине XIX в.⁴ попытка собрать исчерпывающие сведения обо всех татарах ограничилась материалами VIII ревизии (1834 г.).

Между тем отсутствие этностатистических исследований сказывается отрицательно. В некоторых работах⁵ появилось стремление оперировать статистическими данными на какую-либо одну дату, притом без учета этнических процессов, хотя они в период формирования татарской буржуазной нации стали весьма значительными. В итоге при определении истинной численности татарского населения региона в зависимости от величин охватываемых административно-территориальных единиц были допущены ошибки от нескольких десятков, до нескольких сот тыс. чел.

В хронологическом плане данное исследование охватывает период с 1719 по 1897 г. Для татарского этноса это было время сложения в буржуазную нацию. В XVIII—XIX вв. этнические процессы в среде поволжско-приуральских татар развивались наиболее интенсивно. Наконец, этот отрезок времени достаточно хорошо обеспечен этностатистическими материалами, преимущественно архивными.

В своей работе мы ограничиваемся пределами Среднего Поволжья и Приуралья. Однако выявилась существенная трудность при определении точных границ этого региона. Дело в том, что исследователи, разработавшие принципы выделения историко-этнографических областей, намекая общий круг проблем, связанных с подобного рода районированием, не могли, да и не ставили своей задачей проводить анализ всего комплекса явлений, чтобы точно определить пределы каждой ИЭО⁶. Поэтому в ряде работ до сих пор отмечается нечеткость границ Поволжско-Приуральской ИЭО⁷. Предложенный в литературе критерий определения территории «средневожского историко-этнографического района» исходя из «границ коренных русских земель, сложившихся к началу XVI в.»⁸, не выдерживает критики, так как принцип районирования по ИЭО всегда опирается на учет исторической подвижности этих границ⁹. Словом, ясно, что точное определение пределов изучаемого региона возможно лишь на основе комплексного изучения и составления подробного историко-этнографического атласа всего Поволжско-Приуральского региона. Однако работа в этом направлении только начинается. Поэтому в настоящее время при определении границ региона приходится исходить из того, что территория Поволжско-Приуральской ИЭО находится в пределах расселения коренного населения края (татар, чувашей, башкир, мордвы, марийцев и удмуртов) и чересполосно с ними расселившихся

туры дооктябрьского периода). Казань, 1953; *B. Ischboldin. Essays on Tatar history. New Delhi, 1963*; «Татары Среднего Поволжья и Приуралья»; «История Татарской АССР»; *Х. Х. Хасанов. Формирование татарской буржуазной нации. Казань, 1977*; *А. Х. Халиков. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978*.

⁴ «Список инородцам Европейской России с показанием губерний, в которых они находятся». Б. м., 1834; *П. Кеппен. Об этнографической карте Европейской России по уездам губерний и областей. СПб., 1850*.

⁵ См., например, *Х. Х. Хасанов. Указ. раб., с. 182*; *Н. С. Хамитбаева. Народонаселение Среднего Поволжья в 60—90-х годах XIX в.— «Исследования по историографии Татарии», с. 78—98*.

⁶ См. *М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области.— «Сов. этнография», 1955, № 4*.

⁷ *Р. Г. Кузеев. Этнографическая наука в Поволжье и Приуралье и перспективы ее развития.— «Историко-этнографический атлас Урала и Поволжья (препринты докладов и сообщений). Уфа, 1976*; *В. В. Пименов. Урало-Поволжская историко-этнографическая область (к проблеме изучения).— «Проблемы типологии в этнографии». М., 1979, с. 40*.

⁸ *Е. П. Бусыгин. Русское население Среднего Поволжья. Казань, 1966, с. 5*.

⁹ *Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров. Историко-этнографические области (Проблемы этнографического районирования).— «Сов. этнография», 1975, № 3, с. 18*.

ся представителей русского народа¹⁰. При этом все же следует помнить о некоторой условности установленных таким образом границ региона: сам факт подобного расселения еще не является доказательством наличия у рассматриваемых этносов определенных, сближающих их характеристик.

В конце XIX в. описываемая территория охватывала 12 губерний (в ряде случаев только их части).

Работа написана на основе материалов «ревизий» и первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Нами были изучены материалы (в основном сводного характера) I—V, VIII и X ревизий¹¹, в которых вполне удовлетворительно отражена динамика изменения сельской и значительно слабее городской групп средневоложско-приуральских татар в 1719—1857 гг. Сводные данные переписи населения Российской империи 1897 г. явились для нас также весьма важным, но требующим к себе критического отношения источником¹². В ряде случаев для корректировки данных переписи 1897 г. нам приходилось обращаться к материалам переписей 1920 и 1926 гг.¹³ Вспомогательным, но все же весьма существенным (особенно при определении численности горожан в середине XIX в.) источником явились «материалы учета мусульманского населения»¹⁴. Привлекался и ряд литературных источников, содержащих данные «ревизий», и другие статистические сведения¹⁵.

¹⁰ В. В. Пименов. Указ. раб., с. 40.

¹¹ Центральный государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА), ф. 248, д.д. 23, 406, 803, 805, 1159, 1163, 3325, 4339—4342; ф. 350, оп. 2, д.д. 2572, 2631, 2920, 2933, 2984, 2985, 2988, 2991, 3005, 3119, 3127, 3561; там же, оп. 3, д.д. 1148, 1664; ф. 199, д. 481, ч. 6, ф. 16, оп. 1, д.д. 720, 816, 931, 993; ф. 439, оп. 1, д. 748; ф. 10, оп. 3, д. 47; ф. 1355, оп. 1, д.д. 449, 789, 926—929, 931—933, 935, 936, 939, 940, 1022, 1204, 1218, 1414—1431, 1433, 1586, 1587, 1646, 1652, 1659, 1675, 1871, 1873, 1881, 1884—1887; Гос. публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей, Эрмитажное собрание, д.д. 242, 244, 246, 264; ф. 550, оп. F-IV, д. 68; Отдел собраний редких книг, оп. Q-IV, д. 299; Архив Ленинградского отделения Ин-та истории АН СССР, ф. 36, оп. 1, д.д. 468, 487, 488, 494, 507, 516, 525, 538, 540. Архив ВГО СССР (АВГО), ф. 2, Разряд 14, д.д. 4, 8, 17; Разряд 10, д. 6; Разряд 26, д. 19; Центральный гос. исторический архив СССР (ЦГИА), ф. 558, оп. 2, д.д. 38, 39, 160, 169, 172, 173; ф. 571, оп. 9, д.д. 1, 8, 31, 33, 36, 1860, 1863; там же, оп. 6, д.д. 1023, 1024; ф. 1350, оп. 312, д.д. 205, 220, 222, 246, 247; ф. 1281, оп. 11, д. 49, ф. 1409, оп. 2, д. 6039; Центральный гос. архив Кировской области, ф. 583, оп. 600, д. 47. См. также Д. М. Исхаков. Тетяри. Опыт этностатистического изучения. — «Сов. этнография», 1979, № 4.

¹² «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», т. 1—91. СПб., 1899—1905; «Первая всеобщая перепись населения Российской империи», в. 7 («Наличное население обоего пола по уездам»), СПб., 1905.

¹³ В. П. Шibaев. Этнический состав населения Европейской части СССР. Л., 1930.

¹⁴ «Ведомость о числе мечетей, медресе, духовенства и прихожан обоего пола магометанского закона за 1836 г. — «Журнал Министерства внутренних дел», ч. 25, 1837, табл. № 15; П. Kennen. Ведомость о народонаселении России по уездам, составленная из всеподданнейших отчетов губернаторов, при статистическом отделении Совета МВД. СПб., 1850; «О числе магометан в России». — АВГО, ф. 2, оп. 1, д. 51 («Татары»), с. 21; «Статистические таблицы, составленные в статистическом отделении Совета МВД, по сведениям 1849 г.». СПб., 1852; ЦГИА, ф. 821, оп. 1, д.д. 1093, 1096, 1097, 1100, 1106, 1110, 1115, 1118, 1119, 1122, 1132, 1141; «Статистический временник», серия II, в. 1. СПб., 1871; то же, в. 10. СПб., 1875; «Памятная книжка Вятской губернии». Вятка, 1857; «Памятная книжка Рязанской губернии». Рязань, 1860; «Памятная книжка Казанской губернии». Казань, 1862; «Памятная книжка Самарской губернии». Самара, 1864; «Памятная книжка Тамбовской губернии». Тамбов, 1864; «Памятная книжка Нижегородской губернии». Н. Новгород, 1864.

¹⁵ «Изв. Тамбовской ученой архивной комиссии», в. 40. Тамбов, 1895; «Изв. Казанского Общества археологии, истории и этнографии», т. 18, в. 4—6. Казань, 1908; «Материалы по истории Башкирской АССР», т. 4, ч. 2. М., 1956, т. 5, 1960; «Зап. путешествия академика Фалька». — «Полное собрание ученых путешествий», т. 6. СПб., 1824; «Действия Нижегородской Ученой архивной комиссии», т. 1, в. 1—8. Н. Новгород, 1890; «Древняя Российская виллюфикация», ч. 18. М., 1791; «История Татарии в материалах и документах». М., 1937; К. Фукс. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении. Казань, 1844; А. Можаровский. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцов с 1552 по 1567 г. Казань, 1880; Е. А. Малов. Статистические сведения о крещеных татарах Казанской и некоторых других епархий в Волжском бассейне. Казань, 1866; Л. Ф. Риттих. Материалы для этнографии России, т. XIV,

Изучение численности населения возможно только в границах определенных административно-территориальных единиц. В данном случае мы опирались на погубернские и поуездные деления, существовавшие в Поволжско-Приуральском регионе в XVIII—XIX вв. Несмотря на то, что в течение этого времени границы губерний и уездов неоднократно менялись, нам удалось найти оптимальные, по нашему мнению, варианты группировки статистического материала. В целом изучаемое нами население учитывается в общерегиональном, погубернском и поуездном разрезах. Однако из-за крупных административно-территориальных преобразований в 70-х годах XVIII в. в настоящее время практически невозможно сделать сопоставимыми в погубернском и поуездном планах материалы I—II ревизий с данными последующего периода (материалы III ревизии, полученные до губернских реформ, в основном были пересчитаны на новые границы еще в XVIII в.). Поэтому статистические сведения были отдельно рассчитаны для первой половины XVIII в. (в том числе и для III ревизии) и для 1762—1897 гг. (материалы III ревизии имеются в двух вариантах, причем сведения в новых границах более точны). Но и между 1719—1745 гг. были определенные изменения границ губерний и уездов. Для того чтобы сделать статистические данные I—III ревизий сопоставимыми, мы взяли административные деления, существовавшие к 1745 г., за основу и пересчитали статистические материалы I ревизии на эти границы. Такой подход позволил обнаружить малейшие изменения численности татарского населения в уездах и губерниях, связанные с их миграцией в пределах региона. Но в одном случае такой пересчет не удалось осуществить: между I и II ревизиями в Пензенский уезд была передана часть Темниковского уезда. Обнаруживаемая между указанными ревизиями убыль татарского населения Темниковского уезда поэтому не отражает истинного положения дел.

В период с 1762 по 1897 г. кроме административных реформ 70-х годов XVIII в. были проведены и другие территориальные преобразования. Поэтому мы взяли за основу поуездные и погубернские деления, существовавшие в 60-х и 90-х годах XIX в., и весь статистический материал пересчитали в указанных границах. Пересчет в поуездном разрезе в полной мере не удалось осуществить лишь для татарского населения Пензенской губернии (за 1762—1795 гг.) и для части татар (тептярей) Красноуфимского уезда Пермской губернии (за 1762—1782 гг.). Таким образом, поуездные данные для Пензенской губернии на вторую половину XVIII в. не могут быть полностью сопоставлены с материалами XIX в. Так же обстоит дело и с Пермской губернией (правда, в последнем случае речь идет о весьма немногочисленном населении.) Надо отметить и то, что между 1782—1795 гг. был ликвидирован Кадомский уезд Тамбовской губернии, татарское население которого отошло в Елатомский и Темниковский уезды той же губернии.

Но, несмотря на отмеченные особенности, в целом численность татарского населения Среднего Поволжья и Приуралья между 1762—1897 гг. можно сопоставить за разные даты не только в погубернском, но и поуездном масштабах.

Известно, что на численность населения существенное влияние оказывают этнические процессы. Нам удалось установить, что в XVIII—XIX вв. в Среднем Поволжье и Приуралье интенсивно развивались этнические процессы, в которые были вовлечены татары, башкиры, чуваша, а также бесермяне, что повлияло как на динамику изменения чис-

ч. 2. Казань, 1870; «Списки населенных мест Российской империи по сведениям 1859 г.»: т. 10, СПб., 1876, т. 14, СПб., 1866, т. 25, СПб., 1863, т. 28, СПб., 1871, т. 30, СПб., 1869, т. 31, СПб., 1875, т. 35, СПб., 1862, т. 36, СПб., 1863, т. 38, СПб., 1862, т. 39, СПб., 1863, т. 42, СПб., 1862; Б. Ляковский. Материалы для статистического описания Самарской губернии. СПб. 1860

ленности, так и на особенности расселения средневолжско-приуральских татар (главным образом во второй половине XIX в.).

Наиболее интенсивное взаимодействие между татарами и башкирами в Приуралье происходило в XVIII—XIX вв. Проблему взаимоотношений между татарами и башкирами мы рассматривали в специальной статье, где было отмечено, что тептяри, в значительной своей массе учтенные в 1897 г. в составе башкир (по языку), были на самом деле этнографической группой татар¹⁶. Подтвердилось также высказанное в литературе мнение о том, что в 1897 г. в составе башкир (по языку) была учтена и часть татар-мишарей, проживавших в Приуралье¹⁷. Во всех наших подсчетах указанные группы населения в конце XIX в. были причислены к татарам. Но у проблемы татаро-башкирских этнических взаимоотношений есть и другая сторона: правильно ли причислять к башкирам население самых западных районов Приуралья (территории Бугульминского уезда Самарской губ., Сарапульского и Елабужского уездов Вятской губ., Мензелинского уезда Уфимской губ.), которое по переписи 1897 г. было зафиксировано как «башкиры»? У Р. Г. Кузеева по этому вопросу нет четкой позиции: с одной стороны, он совершенно справедливо отмечает, что по переписи 1897 г. «в составе башкир было учтено около 300—350 тыс. тептярей и мишарей»¹⁸. С другой стороны, вопреки собственному указанию на то, что «нельзя, конечно, не учитывать и близость башкирского и татарского языков и вообще отсутствие существенных различий в разговорной речи тептярей и башкир в северо-западных районах»¹⁹, он тем не менее все башкироязычное население упомянутых выше уездов считает полностью башкирским²⁰.

Мы считаем нужным предложить более четкое решение этого вопроса. По переписи 1926 г., когда учитывалась не только языковая, но и этническая принадлежность, в пределах Татарской АССР, куда вошли все перечисленные выше уезды, было отмечено всего 1,5 тыс. башкир²¹. И это там, где по переписи 1897 г. было зафиксировано 166 209 башкир (по языку)²². Спрашивается, куда же они исчезли? Ответ довольно прост: они слились с татарами. Однако, кроме констатации факта, в данном случае необходимо ответить и на вопрос о причинах, приведших к столь быстрым этнотрансформационным процессам. Сразу же следует оговориться, что далеко не все из этих 166,2 тыс. чел. были башкирами в узком, этническом смысле. Сопоставление материалов переписи 1897 г. с материалами X ревизии позволяет сделать следующий вывод: из указанного выше населения не менее 42 тыс. чел. приходилось на тептярей с башкирским языком. Получается, что остальные 124 тыс. собственно башкир за 29 лет между переписями 1897 и 1926 гг. полностью сменили свою этническую принадлежность. А вот это-то и кажется нам невероятным. Если исходить из того, что указанная группа башкирского населения в конце XIX в. еще продолжала сохранять свое этническое самосознание, смену его за столь короткое время придется объяснять ошибками переписи 1926 г. Однако сомнений в правильности этой переписи никто не высказывал.

На самом же деле представители выделенной нами группы «башкир» к концу XIX в. попросту не могли уже иметь башкирского этнического самосознания. И вот почему. Изученные нами материалы по совместной расселенности (в пределах одного населенного пункта) татар и башкир в конце XVIII — первой трети XIX в. в упомянутых уездах показывают, что к этому времени в Бугульминском уезде 88%, в Мензелинском уез-

¹⁶ Д. М. Исхаков. Указ. раб., с. 42.

¹⁷ Р. Г. Кузеев. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978, с. 238.

¹⁸ Там же, с. 241.

¹⁹ Там же, с. 245.

²⁰ Там же, с. 250.

²¹ В. П. Шибанов. Указ. раб., с. 261.

²² Там же, с. 37, 89, 107.

де 58%, в Елабужском и Сарапульском уездах 45% башкир проживали совместно с татарами. Причем в Бугульминском уезде в татаро-башкирских населенных пунктах численность татар была в 2 раза, а в Елабужском и Сарапульском уездах в 1,5 раза выше численности башкир. В Мензелинском уезде соотношение было 1:1. Следует добавить, что в Мензелинском уезде к концу XVIII в. 43% всех браков были смешанными, тейптаро-башкирскими. У нас нет оснований считать, что к концу XVIII — началу XIX в. в остальных уездах дело обстояло иначе. К тому же в этих уездах численность татар уже в конце XVIII в. в 5,6 раза превышала численность башкирского населения. Могла ли в такой ситуации эта самая северо-западная группа башкир сохранить свою этническую специфику? Очевидно, что нет. Недаром все попытки земских статистиков в 60—70-х годах XIX в. разделить башкир и татар самой северо-западной окраины Приуралья, неизменно заканчивались неудачей. Учитывая все это, а также и то, что между родным языком и этническим самосознанием прямой связи нет, можно, как нам думается, для конца XIX в. считать «башкир» четырех северо-западных уездов принадлежащими к татарскому этносу. При этом башкирская этническая принадлежность представителей данной группы в более ранний период тоже весьма сомнительна. Скорее эту группу населения можно было бы определить как переходную между татарским и башкирским этносами.

И, наконец, по переписи 1897 г. мы находим довольно значительное количество башкир (по языку) в городах Приуралья. Знание этноязыковой ситуации в крае, а также сопоставление данных 1897 г. с материалами последующих переписей убедило нас в том, что среди горожан истинное число башкир к концу XIX в. было значительно меньшим. Исходя из этого, мы подвергли корректировке материалы переписи 1897 г. по городам Приуралья и получили новые, на наш взгляд, более достоверные данные о численности татар-горожан.

Несколько слов об этнических процессах, имевших место в татаро-чувашской среде. В литературе уже высказывалась мысль о том, что существовавшие ранее представления об интенсивных этнических контактах между татарами и чувашами были основаны на неверных статистических материалах²³. Мы присоединяемся к этому мнению. Однако следует указать два района, где этнические процессы привели к ассимиляции значительного числа чувашей. Прежде всего это относится к Симбирской губернии (особенно к Буинскому и Симбирскому уездам) и примыкавшей к ней территории Самарской губернии (в частности, к Самарскому и Ставропольскому уездам), где еще в середине XVIII в. около 4 тыс. чувашей проживали совместно с татарами в одних и тех же деревнях²⁴. Впоследствии большинство из них было ассимилировано татарами (процесс завершился к концу XIX в.). Вторым районом интенсивных этнических контактов между татарами и чувашами была территория Цивильского и Тетюшского уездов Казанской губернии, где проживала группа «молькеевских крышен». В дореволюционной литературе их считали чувашами²⁵. Судя по материалам первой половины XVIII в., они на 60% состояли из крещеных чувашей²⁶, которые вплоть до 30-х годов XIX в. сохраняли свой этноним. К татарам мы их причислили лишь с конца 50-х годов XIX в. (к тому времени их насчитывалось 2,6 тыс. чел.), когда появились первые четкие указания о завер-

²³ В. Д. Димитриев. О динамике численности татарского и чувашского населения Казанской губернии в конце XVIII — начале XIX в. — «Уч. зап. Чувашского НИИ», в. 4. Чебоксары, 1969.

²⁴ ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 931.

²⁵ Комиссаров. К этнографической карте Козьмодемьянского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов. Казань, 1912, с. 6.

²⁶ ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2977, 2988, 3005.

**Динамика изменения общей численности татарского населения
Поволжско-Приуральской ИЗО в XVIII—XIX вв.**

Городское и сельское население	Годы и численность			
	1719	1744	1762	1782
Всего по региону	261 117	327 066	396 770	509 346
В том числе:				
городское население,	1 849	5 170	6 660	8 695
%	0,7	1,6	1,7	1,7
сельское население,	259 268	321 896	390 110	500 651
%	99,3	98,4	98,3	98,3

Городское и сельское население	Годы и численность			
	1795	1833	1857	1897
Всего по региону	617 297	1 019 514	1 416 051	2 249 539
В том числе:				
городское население,	10 851	23 471	29 733	110 914
%	1,8	2,3	2,0	4,9
сельское население,	606 446	996 043	1 386 318	2 138 625
%	98,2	97,7	98,0	95,1

шении их ассимиляции татарами²⁷. К концу XIX в. численность всех молькеевских крышен составила 5,3 тыс. чел.

С первой половины XVIII в. к татарам Глазовского и Слободского уездов Вятской губернии причисляли ту часть бесермян (весьма близких к татарам), которая уже к 1744 г. исповедовала ислам²⁸. В указанных уездах не менее $\frac{1}{3}$ татар — бывшие бесермяне, ассимиляция которых была завершена в конце XIX — начале XX в. Тогда их численность достигала 4,3 тыс. чел.

Таковы в общих чертах предварительные замечания, без которых было бы невозможно изучение расселения и численности средневожско-приуральских татар в XVIII—XIX вв. Динамика изменения общей численности татар Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII—XIX вв. раскрывается нами в табл. 1. Как видно из таблицы численность татарского населения региона с 1719 по 1897 г. выросла с 261 117 до 2 249 539 чел., т. е. в 8,6 раза. Такой прирост почти полностью совпадает с общероссийскими показателями²⁹. При этом среднегодовые темпы прироста за XVIII—XIX вв. составили 1,4%. Учитывая, что мы охватываем почти всю группу татар Среднего Поволжья и Приуралья, среднегодовой прирост этого населения можно считать близким к естественному. Уже в XVIII в. мы наблюдаем постепенное ускорение среднегодовых темпов прироста рассматриваемого нами населения (от 0,98% между 1719—1745 гг. до 1,63% между 1782—1795 гг.), так что в целом за XVIII в. данный показатель составил 1,3%, что на 0,5% выше общероссийского³⁰. С конца XVIII до середины XIX в. среднегодовые темпы прироста татарского населения края составили 1,6%. В пореформенный период этот показатель был таким же высоким (1,5%). Если высокие темпы прироста татар Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII—первой половине XIX в. объяснялись главным образом общим воздействием

²⁷ Л. Ф. Риттих. Указ. раб., с. 140.

²⁸ ЦГАДА, ф. 248, д. 803, л. 181.

²⁹ См. Я. Е. Водарский. Население России за 400 лет (XVI — начало XX в.). М., 1973, с. 151.

³⁰ Там же, с. 55. По данному вопросу см. также: В. М. Кабузан. Изменения в размещении населения России в XVIII — первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М., 1971, с. 5, 52—57 и др.; А. Г. Рашин. Население России за 100 лет (1811—1913 гг.). Статистические очерки. М., 1956.

начавшегося развития капиталистических отношений в крае, то в пореформенный период кроме того следует учитывать и влияние ассимиляционных процессов, протекавших одновременно с консолидацией средневожско-приуральских татар в ядро татарской буржуазной нации.

Собранные статистические материалы показывают и динамику изменения численности городской группы татар в XVIII—XIX вв. (см. табл. 1). Численность татар-горожан с 1849 чел. в 1719 г. (в пределах городов региона) выросла почти до 111 тыс. чел. в 1897 г. В целом численность горожан-татар за период между 1719—1897 гг. увеличилась почти в 60 раз. К концу XIX в. из 240 тыс. татар-горожан (8,8% от общей численности татар России), проживавших в городах России, около 160 тыс. чел. (т. е. 60%), составляли средневожско-приуральские татары. Большая часть их проживала в городах Среднего Поволжья и Приуралья. Наиболее значительные группы татар были сосредоточены в Казани, Оренбурге и Уфе. Выходцы из Среднего Поволжья и Приуралья проживали также в городах Центра и Юга России (до 14 тыс. чел.), в Казахстане и Средней Азии (около 31 тыс. чел.) и в Сибири (5 тыс. чел.).

По степени урбанизированности средневожско-приуральские татары уступали (доля горожан в регионе составляла 4,9% от их общего числа) другим крупным группам (кроме сибирских татар) татарского этноса. Но благодаря своей многочисленности даже при более замедленных темпах урбанизации татары рассматриваемого региона дали основную часть татарского населения городов. Причем пореформенный период оказался решающим в формировании городского слоя средневожско-приуральских татар. Именно в этот период, очевидно, окончательно сложилась татарская буржуазная нация. При этом нас не должен смущать незначительный процент горожан-татар — такая же картина в конце XIX в. была характерна и для многих других этносов России, сложившихся в нации до революции.

Статистические материалы позволяют также проследить изменения в расселении татар в XVIII—XIX вв. в пределах региона. Все известные к настоящему времени исторические источники указывают, что первоначальной территорией, где сложилась группа средневожско-приуральских татар, были районы Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. Это подтверждается особенностями распределения татарского населения по административно-территориальным образованиям (уездам и губерниям) в первых десятилетиях XVIII в. (см. табл. 2). Ко времени проведения первой ревизии (1719 г.). 91,3% татар проживали в пределах Среднего Поволжья. Причем основная их масса была сосредоточена в Казанском и Свияжском уездах, территории которых некогда составляли центральную часть Казанского ханства. Тут сформировалась группа казанских татар.

Другое существенное «сгущение» татарского населения отмечено в Темниковском, Алаторском и Симбирском уездах. Наличие крупного массива татар по среднему и нижнему течению р. Суры (территории Алаторского и Симбирского уездов) уже в начале XVIII в. требует подходить с большой осторожностью к утверждениям, что татары переселились туда лишь в XVII в.³¹ Основная масса татар-мишарей к началу XVIII в. была сосредоточена в губерниях Нижегородской, Воронежской (за исключением Касимовского уезда, где проживали касимовские татары) и Казанской (юго-западная часть).

Районы Среднего Поволжья являлись древними этническими территориями казанских татар и татар-мишарей, иначе обстояло дело в районах Приуралья. Известно, что северо-западные окраины Приуралья

³¹ Р. Г. Мухамедова. Татары-мишари. М., 1972, с. 18, 20; Л. Т. Махмутова. Опыт исследования тюркских диалектов. Мишарский диалект татарского языка. М., 1978, с. 5, 7.

Таблица 2

**Размещение татар в пределах Поволжско-Приуральской ИЭО
по административно-территориальному делению первой половины XVIII в.***

Губернии и уезды	Годы и численность		
	1719	1744	1762
Воронежская губ.	24 787	22 524	23 695
Темниковский	10 536	8 306	9 134
Касимовский	5 797	4 880	4 265
Керенский	2 352	2 406	2 326
Верхне-Ломовский	2 240	3 310	3 818
Кадомский	2 006	1 726	1 938
Шацкий	966	994	1 160
Инсарский	890	902	1 074
Нижегородская губ.	13 020	17 168	20 182
Алаторский	11 384	12 982	15 282
Курмышский	1 636	4 186	4 900
Казанская губ.	203 232	213 520	248 86
Симбирский	20 870	24 632	25 356
Пензенский	8 066	11 894	14 296
Саранский	6 324	6 214	6 948
Петровский	—	356	366
Казанский	122 290	117 038	154 989
Свияжский	40 184	47 044	38 442
Уржумский	206	308	312
Слободской	1 768	1 620	2 184
Кунгурский	3 524	4 484	5 968
Оренбургская губ.	19 978	73 849	87 884
Уфимский	17 260	59 238	71 004
Ставропольский	838	3 054**	3 559**
Оренбургский	—	8 776	11 614
Исетский	1 880	2 781	1 702***

* Деления на провинции опущены.

** Тетяри учтены в составе Уфимского уезда.

*** Мишари учтены в составе Уфимского уезда.

последовательно входили в состав сначала Волжской Булгарии, а потом — Казанского ханства. Но, по-видимому, собственно булгарское, а позднее и татарское население если и проживало там, то в очень незначительном количестве. После присоединения Казанского ханства к Русскому государству произошло первое крупное передвижение татар из Среднего Поволжья на восток. В итоге вольной колонизации и правительственных переселений XVI—XVII вв. к началу XVIII в. в Приуралье проживало более 22 тыс. татар (8,7% от общего числа). Как показывает изучение статистических материалов, вторая волна переселений на восток пришлась на первую половину XVIII в. Миграция в Приуралье шла из Среднего Поволжья. Так, между 1719 и 1745 гг. численность татар Среднего Поволжья выросла всего на 8,2%, тогда как общий прирост по всему региону составил 20,4%. Замедленный прирост, а в некоторых случаях и прямая убыль татарского населения между 1719—1745 гг. в Среднем Поволжье нашли отражение и в ревизских материалах (см. табл. 2). В результате бурной миграции численность татар в Приуралье за период между 1719—1745 гг. почти утроилась и достигла 64 тыс. чел. (20% от общего числа). Между 1745 и 1762 гг. прирост татарского населения в Приуралье был почти в 2 раза выше, чем в среднем по региону, что говорит о продолжающемся их притоке в восточные районы. Следует отметить, что наиболее массовые передвижения татар на восток приходятся на период между 1719 и 1745 гг. Массовый отток татар из районов Среднего Поволжья в Приуралье в первой половине XVIII в. был вызван резким усилением в крае экономического и нацио-

нального (особенно в форме религиозных притеснений) гнета со стороны царского правительства³².

Во второй половине XVIII в. темпы прироста татарского населения в Приуралье постепенно сокращаются и к концу столетия почти уравниваются со средними показателями по региону (см. табл. 3).

К концу XVIII в. в Приуралье проживала уже третья часть татар региона (около 200 тыс. чел.). Большинство их было сосредоточено на северо-западе Приуралья, что оказало значительное влияние на интенсивность и конечные результаты этнических процессов, в которые были вовлечены татары и башкиры.

Таким образом, в результате ранних (XVI—XVII вв.) и более поздних миграций средневожских татар сложилась приуральская группа (к концу XIX в. в Приуралье проживало около 1 млн. татар, что составляло чуть менее половины всех татар Среднего Поволжья и Приуралья).

В литературе высказывалось мнение о том, что привести «скольконибудь точные цифры о численности... казанских татар и татар-мишарей... не говоря уже о более мелких подгруппах... не представляется возможным»³³. Мы не можем согласиться с этим утверждением. Имеющиеся в нашем распоряжении этностатистические материалы и дополняющая их этнографическая литература, на наш взгляд, позволяют весьма точно определить численность не только казанских татар и мишарей, но и других более или менее значительных этнографических групп татар региона. Ниже предлагается опыт определения численности казанских татар, мишарей, касимовских татар и татар-кряшен в XVIII—XIX вв.

Наибольший интерес представляет вопрос о соотношении казанских татар и татар-мишарей. Среди лингвистов уже сложилось твердое мнение, что «в формировании татарского литературного языка немало-важную роль играл мишарский диалект»³⁴. Однако этнографами вопрос о вкладе мишарей в традиционную культуру татар Среднего Поволжья и Приуралья решен далеко не полностью. Одну из причин такого положения мы видим в отсутствии достаточно обоснованных выводов об удельном весе каждой из двух основных этнографических групп средневожско-приуральских татар — казанских татар и татар-мишарей.

Попытки решения этой проблемы предпринимались и ранее. Еще в 20-х годах нашего века Дж. Валиди определил численность мишарей в 1 млн. чел. Численность казанских татар, по его мнению, была такой же. Около 2,5 млн. чел., которых сейчас причисляют к казанским татарам, были отнесены им к «урало-уфимским» татарам³⁵. Указанные подсчеты были проведены на основе материалов переписей 1920 и 1926 гг. Однако эти материалы не позволяют отделить мишарей от казанских татар в районах их чересполосного расселения. То же самое относится и к основной массе татар-горожан. Поэтому подсчеты Дж. Валиди имеют относительно небольшую научную ценность. Аналогичные вышеприведенным исчисления, только по материалам переписи 1959 г., были проведены Н. И. Воробьевым. Согласно полученным им результатам, «в числе сельского населения казанских татар было 1,2 млн. чел., а мишарей — 900 тыс.»³⁶. Но если учесть, что принадлежность татар-горожан к разным этнографическим группам осталась невыясненной, то станет ясно, что подобный подход не решает поставленного вопроса.

³² «История Татарской АССР», с. 134—136.

³³ «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», с. 53.

³⁴ Л. Т. Махмутова. О татарских говорах северо-западных районов БАССР. — «Материалы по татарской диалектологии», т. 2, Казань, 1962, с. 74.

³⁵ Дж. Валиди. О диалектах казанского татарского языка. — «Вестник научного общества татароведения», Казань, 1927, № 6, с. 52—53.

³⁶ «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», с. 53.

Размещение татар в пределах Поволжско-Приуральской ИЗО
по административно-территориальному делению второй половины XVIII—XIX вв.

Губернии и уезды	Годы и численность					
	1762	1782	1795	1833	1857	1897
Нижегородская губ.	10 783	14 577	15 884	20 411	33 711	41 339
Сергачский	7 928	10 655	11 583	16 320	22 849	27 196
Васильсурский	2 252	2 867	3 385	5 188	8 982	10 889
Княгининский	603	1 055	790	1 280	1 707	1 992
Прочие уезды	—	—	118	183	207	1 260
Тамбовская губ.	5 616	6 393	7 484	10 740	13 152	16 976
Темниковский	3 930	4 612	3 278	4 394	5 753	5 901
Елатомский	351	404	2 557	4 034	4 157	5 919
Спасский	816	858	875	1 053	1 355	2 201
Тамбовский	260	(234)**	395	681	806	1 176
Шацкий	259	285	379	578	867	1 026
Прочие уезды	—	—	—	—	214	720
Рязанская губ.	4 265	4 807	5 999	5 591	5 656	5 033
Касимовский	4 265	4 807	5 999	5 591	5 647	4 764
Прочие уезды	—	—	—	—	12	146
Пензенская губ.	20 336	25 389	24 986*	34 912	45 321	58 530
Краснослободской	6 116	6 867	5 969	8 304	11 127	14 321
Инсарский	4 086	6 333	5 716	8 532	11 368	13 075
Саранский	3 650	4 037	4 454	5 525	7 442	11 269
Чембарский	3 500	4 395	5 329	7 510	8 553	8 345
Керенский	1 576	2 080	2 168	2 731	3 292	4 915
Городищенский	322	406	448	1 028	1 641	2 843
Мокшанский	354	385	422	761	1 069	1 731
Нижне-Ломовский	732	826	480	519	829	1 077
Прочие уезды	—	—	—	—	—	37
Симбирская губ.	34 400	39 053	46 419	67 654	90 069	133 977
Буинский	16 272	20 435	22 867	33 050	43 741	63 046
Симбирский	6 738	5 736	5 778	8 339	12 239	22 133
Курмышский	6 848	8 246	11 699	15 608	19 001	24 260
Корсуньский	1 760	1 749	2 353	3 941	5 009	8 387
Сенгилейский	1 072	941	1 596	2 935	5 000	6 894
Сызраньский	988	1 363	1 396	2 817	4 032	7 491
Ардатовский	722	582	730	964	1 000	1 659
Алатырский	—	1	—	—	47	107
Саратовская губ.	18 538	25 798	31 218	47 040	57 628	94 693
Кузнецкий	9 644	11 682	13 491	18 478	20 315	35 344
Хвалынский	6 536	9 468	11 301	20 368	26 382	39 536
Петровский	1 752	3 598	4 630	6 564	8 840	12 394
Вольский	422	652	948	1 511	1 926	3 173
Саратовский	184	398	554	(119)**	274	1 925
Прочие уезды	—	—	294	—	—	2 321
Казанская губ.	155 444	191 854	214 671	363 094	455 278	675 419
Казанский	46 220	56 046	61 340	87 160	99 946	146 730
Мамадышский	26 350	31 416	36 010	65 464	92 581	131 732
Ланшевский	13 118	15 776	19 774	43 527	49 367	73 045
Царевококшайский	4 956	6 962	8 114	18 661	20 924	23 789
Тетюшский	23 480	29 230	30 554	50 956	56 130	91 214
Свияжский	9 998	11 916	12 100	19 423	23 635	37 802
Цивильский	2 808	3 792	4 870	6 306	10 808	16 368
Чебоксарский	844	986	1 102	1 636	2 085	3 397
Чистопольский	15 848	20 998	25 253	46 498	61 468	98 304
Спасский	11 822	14 682	15 554	25 928	35 316	52 952
Прочие уезды	—	—	—	35	18	72
Вятская губ.	21 772	27 959	32 561	60 102	89 630	147 200
Малмыжский	12 628	15 349	17 724	27 166	41 897	52 228
Уржумский	937	1 223	1 002	4 258	6 471	13 934

Таблица 3 (Окончание)

Губернии и уезды	Годы и численность					
	1762	1782	1795	1833	1857	1897
Слободской	1 434	1 771	1 998	2 676	3 267	4 277
Глазовский	924	1 343	1 698	3 805	4 621	7 884
Елабужский	5 345	7 437	9 132	19 144	28 411	52 239
Сарапульский	504	836	1 017	3 053	4 963	15 884
Прочие уезды	—	—	—	—	—	754
Самарская губ.	21 717	30 314	47 245	85 444	131 554	259 820
Бугульминский	13 082	18 738	27 193	40 938	61 674	137 885
Бугурусланский	3 971	5 409	8 405	14 246	25 093	41 580
Ставропольский	4 062	5 125	7 066	18 249	24 204	38 396
Самарский	602	1 042	2 765	4 748	5 536	14 000
Бузулукский	—	—	1 806	2 902	6 239	11 404
Ново-Узенский	—	—	—	2 636	6 632	13 008
Николаевский	—	—	—	1 400	2 176	3 515
Уфимская губ.	82 686	112 721	140 211	254 620	373 219	609 091
Мензелинский	32 320	40 268	43 121	74 348	98 348	154 503
Бирский	15 278	18 699	25 520	42 515	76 142	127 512
Белебеевский	16 625	27 232	34 288	70 269	84 337	173 507
Уфимский	11 881	16 965	24 599	41 708	57 811	85 835
Стерлитамакский	6 542	9 557	12 683	25 780	47 581	68 187
Оренбургская губ.	12 229	18 491	23 995	42 632	79 388	126 225
Оренбургский	8 694	13 822	14 603	25 727	46 927	71 158
Верхнеуральский	1 757	2 376	3 583	7 959	16 724	23 865
Челябинский	1 132	1 461	3 478	5 789	9 910	13 910
Троицкий	646	832	2 331	3 163	7 844	17 286
Пермская губ.	8 984	11 987	17 624	27 274	41 442	81 236
Осинский	2 599	3 345	4 213	6 896	7 801	16 364
Красноуфимский	1 999	3 317	5 233	9 715	16 400	26 046
Кунгурский	1 280	1 640	2 182	1 506	1 956	2 722
Пермский	305	313	418	1 274	2 360	7 054
Екатеринбургский	209	269	448	883	2 220	4 277
Шадринский	2 592	3 103	5 130	7 000	10 685	17 739
Прочие уезды	—	—	—	—	—	6 978

* Сведения неполные.

** Не вполне надежные сведения.

Как показывает опыт, определить численность двух крупнейших этнографических групп татар региона на основе современных данных не представляется возможным.

Предлагаемый нами вариант решения этой проблемы (см. табл. 4) в отличие от вышеприведенных опирается на статистический материал XVIII—XIX вв., в интерпретации которого учтены и литературные источники. Как видно из таблицы, в XVIII — середине XIX в. казанские татары составляли около 67—68%, а мишари — 31—32% от общей численности татар региона. Наблюдаемое в конце XIX в. некоторое уменьшение доли мишарей объясняется прежде всего включением в состав казанских татар значительного числа башкир. Выявление соотношения казанских татар и татар-мишарей в общей численности татар региона позволяет заключить, что группа татар Среднего Поволжья и Приуралья сформировалась на основе казанских татар, но при значительном участии мишарского компонента.

Небольшую этнографическую группу касимовских татар обычно относят к казанским татарам³⁷, хотя лингвисты обнаруживают в их говоре

³⁷ «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», с. 45.

Динамика изменения численности казанских, касимовских татар
и татар-мишарей в XVIII—XIX вв.

Этнографические группы татар	Годы, численность (тыс. чел. и %)							
	1719	1744	1762	1782	1795	1833	1857	1897
Казанские	175,5 67,3	217,4 66,5	267,4 67,8	345,6 68	417,8 68	712,7 70,5	994,7 70,6	1621,3 72,8
Касимовские	5,8 2,2	4,9 1,5	4,5 1,2	5,2 1,0	6,5 1,0	6,4 0,5	6,4 0,4	5,7 0,2
Мишари	79,5 30,5	104,8 32	124,8 31	158,5 31	193 31	300,4 29	414,8 29	622,5 27

Таблица 5

Динамика изменения численности крещеных татар в XVIII—XIX вв.

Годы	1719	1744	1762	1782	1795	1833	1857	1897
Тыс. чел.	17	23	30,3	35,1	40	68,7	86,3	110
%	6,5	7	7,6	7	6,5	6,7	6	4,9

следы значительного влияния мишарского диалекта³⁸. Этнографы в свою очередь находят ряд параллелей между культурой касимовских татар и татар-мишарей³⁹. В архивных источниках XVIII в. зафиксировано довольно много браков касимовских татар с мишарями⁴⁰. Вообще есть основания полагать, что между темниковской группой мишарей и касимовскими татарами имеется этническая близость. Поэтому мы сочли возможным выделить касимовских татар в особую группу, занимающую промежуточное (переходное) положение между казанскими татарами и мишарями. В течение XVIII—XIX вв. численность касимовских татар почти не изменилась (см. табл. 3). Объясняется это тем, что татары Касимовского уезда постепенно выселялись в другие районы, где наши источники их уже не фиксируют как отдельную группу.

Крещеные татары («кряшены»), образующие особую конфессиональную группу татар региона, являются «сквозной» группой, в той или иной пропорции входившей в состав всех трех вышеуказанных этнографических групп татар Среднего Поволжья и Приуралья. Именно поэтому их численность рассматривается отдельно (см. табл. 5).

В составе трех основных этнографических групп татар региона доля крещен была различной. Среди касимовских татар и мишарей процент православных был незначительным. Так, в начале XVIII в., когда источники зафиксировали наибольшее количество крещеных из касимовских татар, кряшены составили не более 2% от их общего числа. Доля крещеных мишарей в годы наиболее массовой их христианизации (первая половина XVIII в.) также не превышала 2% от их общей численности. Подавляющее большинство крещен были из казанских татар (доля православных у них в начале XVIII в. равнялась 9,4%, а в 60-е годы XVIII в. — 11,3%).

Причину столь неравномерного распределения крещеных татар между тремя этнографическими группами татар Среднего Поволжья и При-

³⁸ Л. Т. Махмутова. Некоторые наблюдения над лексикой касимовского говора татарского языка. — «Материалы по татарской диалектологии», т. 2, с. 235. Автор предполагает этническое смешение касимовских татар с мишарями (см. с. 231).

³⁹ В. А. Гордлевский. Элементы культуры у касимовских татар (из поездки в Касимовский уезд). Рязань, 1927, с. 31; Ф. Л. Шарифуллина. Традиционная одежда касимовских татар середины XIX — начала XX в. — «Из истории культуры и быта татарского народа и его предков». Казань, 1976, с. 145—146; *её же*. Поселения и жилища касимовских татар середины XIX — начала XX в. — «Новое в этнографических исследованиях татарского народа». Казань, 1978, с. 118.

⁴⁰ ЦГАДА, ф. 350, он. 2, д. 1301.

уралья надо искать прежде всего в том, что по отношению к мишарям и касимовским татарам, являвшимся служилым населением, царское правительство проводило достаточно гибкую политику. К тому же надо учесть и то обстоятельство, что ряд представителей татарской аристократии, приняв христианство в более западных районах, довольно рано обрусели.

Подавляющее большинство крещеных татар в XVIII—XIX вв. принадлежало к группе «старокрещеных» (т. е. принявших христианство в XVI—начале XVIII в.). В начале XVIII в. численность старокрещеных татар достигала почти 17 тыс. чел. Политика массовой христианизации народов Среднего Поволжья, в первой половине XVIII в. увенчавшаяся успехом по отношению к языческим народам края, не привела к особым сдвигам в области обращения в православие татар. В общей сложности в первой половине XVIII в. в православие был обращен всего 3451 татарин⁴¹. Правда, к середине XVIII в. удельный вес крещеных татар достиг максимальной величины — 7,6% от общей численности татар региона. В дальнейшем, однако, по мере усиления консолидационных процессов среди татар Среднего Поволжья и Приуралья, иная, нежели у основной массы населения, конфессиональная принадлежность вызвала у кряшен сильное стремление к переходу в мусульманство, что привело к постоянному сокращению процента православных татар, которых к концу XIX в. было около 110 тыс. чел. (т. е. не более 4,9% от общей массы татар региона).

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы:

1. Полученные данные позволяют не только определить численность средневожско-приуральских татар в XVIII—XIX вв., но и внести поправки к имеющейся в литературе реконструкции численности представителей данной группы населения в более раннее время⁴².

2. Наряду с экономическими предпосылками, процессу формирования татар Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII—XIX вв. в ядро буржуазной нации способствовал и неуклонный рост их численности в регионе. Группа средневожско-приуральских татар, насчитывавшая в первых десятилетиях XVIII в. немногим более 261 тыс. чел. к концу XIX в. в пределах региона достигла почти 2 млн. 250 тыс. чел. За тот же период численность татарского населения в городах края увеличилась с 1,85 тыс. до 111 тыс. чел. Удельный вес горожан-татар также существенно вырос (в начале XVIII в. — 0,7%, к концу XIX в. — 4,9%).

3. На динамику изменения численности татар Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII—XIX вв. весьма значительное влияние оказали этнические процессы. В итоге продолжительных и глубоких взаимодействий к концу XIX в. в состав татар региона вошли до 124 тыс. башкир, 4,3 тыс. бесермян и несколько тысяч чувашей.

4. В течение XVIII—XIX вв. происходило постепенное расселение татар из Среднего Поволжья — территории, где сформировались две основные группы татар региона — казанские татары и татары-мишари, — в районы Приуралья. Хотя освоение восточных районов татарским населением началось еще в XVI—XVII вв. (а возможно, и раньше), главный поток их миграций в Приуралье по целому ряду исторических причин пришелся на XVIII в., особенно на первую половину столетия. В освоении восточных территорий участвовали представители практически всех этнографических групп татар Среднего Поволжья. Несмотря на то, что переселения в Приуралье сопровождались этническими контактами, приводившими к образованию новых, весьма крупных этнографических групп в составе татар, миграционное движение XVIII—XIX вв. в конечном итоге создало такие условия, которые способствовали силь-

⁴¹ ЦГАДА, ф. 248, д. 803, л. 597.

⁴² См. А. Х. Халиков. Указ. раб., с. 121—122.

ному смешению представителей различных этнографических групп татарского населения. В результате произошла существенная языковая и культурно-бытовая нивелировка, содействовавшая консолидации изучаемого населения в одну локально-территориальную группу татарского этноса, называемую обычно татарами Среднего Поволжья и Приуралья.

5. Статистические материалы показывают, что локально-территориальная группа татар Среднего Поволжья и Приуралья сложилась при заметном участии мишарского компонента, и ведущей роли казанских татар. В составе общей массы татарского населения региона доля касимовских татар, занимающих переходное положение между двумя указанными выше основными группами татар Среднего Поволжья и Приуралья, была небольшой. Крещенные татары входили в состав всех трех отмеченных выше групп татар региона. Однако процент православных среди мишарей и касимовских татар был невысок. Основная масса крещен состояла из христианизированных (причем главным образом в XVI — начале XVIII в.) казанских татар. Хотя общая численность крещеных татар в XVIII—XIX вв. продолжала расти, их удельный вес в составе татарского населения Среднего Поволжья и Приуралья постепенно сокращался, что было одним из проявлений консолидационных процессов среди татар региона.

THE DISTRIBUTION AND NUMERICAL STRENGTH OF THE TATARS IN THE VOLGA-URALS HISTORIC-ETHNOGRAPHICAL REGION IN THE 18th AND 19th CENTURIES

The paper is based upon ethnostatistical sources; it examines the numerical trends in the Tatar population (together with its main ethnic groups) as well as the changes in its geographical distribution within the region in the 18th and 19th centuries. Particular attention is devoted to the ethnic processes that have influenced the numerical trends in the Volga-Urals historic-ethnographical region.

It is established that, besides economic factors, the formation of the nucleus of the Tatar bourgeois nation was forwarded by the steady numerical increase of the Tatars in the region (in the course of the 18th and 19th centuries their number grew 8.6 times, from 261 thousand in 1719 to 2250 thousand in 1897).

As a result of large-scale migrations of Tatars from the Middle Volga area in the 18th and 19th centuries, quite a large group of them was formed in the cis-Urals area; this group played an important role in the consolidation of the Tatars of the Middle Volga and the cis-Urals areas into a single local-territorial group. Statistics show that the Mishari component took a considerable part in forming this Tatar group; the decisive role, however, belonged to the Kazan' Tatars. The numbers of the Kassimov Tatars were not great. The proportion of baptized Tatars among the region's Tatars gradually declined during the 18th and 19th centuries (in spite of the increase of their absolute numbers) owing to ethnic consolidation processes.

В. И. Козлов

ЭТНОРАСОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В течение долгого времени, по существу вплоть до середины XX в., Великобритания обычно рассматривалась как классическая страна эмиграции. Раннее интенсивное по сравнению с большинством других европейских стран развитие в ней капитализма привело к обезземеливанию крестьян и возникновению явлений относительного аграрного перенаселения, к переезду крестьян в города и росту жилищных трудностей, к разорению ремесленников, которые вместе с прибывшими крестьянами увеличивали резервную армию труда, пополняли ряды безработных. Все это наряду с другими причинами, например религиозными распрями, обусловило появление в Великобритании значительных групп людей, которые мечтали о том, чтобы улучшить свою жизнь где-то на новом месте, а развернувшаяся колониальная экспансия создавала им для этого реальные возможности. Основной поток переселенцев направлялся в Северную Америку, первая английская колония на территории которой появилась еще в начале XVII в.; немалое число их устремлялось также в Австралию, Новую Зеландию и в Южную Африку. Закрепившись на новых местах и постепенно увеличиваясь в численности благодаря естественному приросту и продолжавшейся иммиграции, группы переселенцев из Великобритании составили основу формирования североамериканской, англоканадской, англоавстралийской и англоновозеландской наций. Только в течение XIX столетия, главным образом второй его половины, из Великобритании и Ирландии (разделить их трудно, так как многие ирландцы выезжали через английские порты) в заокеанские страны выбыло около 12 млн. человек; в первой половине XX в. — еще свыше 7 млн. человек¹. Даже если учесть, что среди этих мигрантов было немало уроженцев других стран Европы, для которых Великобритания служила лишь перевалочным пунктом, и что часть выехавших уроженцев Великобритании возвращалась обратно, то и тогда общие миграционные потери Великобритании в XIX—XX вв. составили, вероятно, около 10 млн. человек. На 1881 г. в США, Канаде и Австралии насчитывалось свыше 1650 тыс. уроженцев Англии и Уэльса, 480 тыс. — Шотландии и 2300 тыс. — Ирландии; в 1911 г., когда приток из Ирландии уменьшился, а число переселенцев середины XIX в. сократилось в странах их оседания за счет естественной убыли, — соответственно 2000 тыс., 570 тыс. и 1240 тыс.²

Значительно реже Великобритания рассматривалась как страна оседания переселенцев, хотя в ее развитии иммиграция также играла немаловажную роль. Ранняя этническая история Британских островов во

¹ Подсчитано по: «International migrations», v. 1—2, N. Y., 1929; «International migrations 1945—1947». Geneva, 1959.

² N. H. Carrier, J. R. Jeffry. External migration. London, 1953, tab. 3.

многом определялась прибытием туда кельтов (X—III вв. до н. э.), римлян (I в. до н. э.—III в. н. э.), англосаксов (V—VI вв. н. э.) и, наконец, норманнов (XI в. н. э.), не считая других, более мелких этнических групп. Все эти группы переселенцев на Британские острова явились в той или иной степени компонентами формировавшегося там английского, шотландского и других этносов. Группы переселенцев, прибывшие в последующие столетия, могут рассматриваться уже как собственно «иммигранты», попадавшие в среду более или менее сформировавшихся народов Британских островов. Из числа таких групп следует назвать евреев-сефардов, переселившихся из Испании (XVI в.), фламандцев (конец XVI в.), французов-гугенотов (вторая половина XVII в.), французов-роялистов (конец XVIII в.); численность каждой из названных групп измерялась десятками тысяч человек. Все они, за исключением евреев, постепенно ассимилировались окружающим населением и в настоящее время почти не прослеживаются.

Останавливаясь несколько подробнее на иммигрантах XIX—XX вв., отметим, что основную массу их вплоть до середины XX в. составляли ирландцы, приток которых в Англию усилился после голода, поразившего Ирландию в середине XIX в. Общее число ирландских переселенцев, оседавших главным образом в портовых и промышленных городах, достигало многих сотен тысяч человек, причем ассимиляционные процессы среди них развивались довольно медленно. Этому препятствовали религиозные отличия ирландцев-католиков от окружающего, в подавляющем большинстве протестантского, английского населения и довольно сильно развитые у них национальные чувства, которые питались развернувшимся национально-освободительным движением в Ирландии. Приток в Великобританию, главным образом в Англию, ирландцев — преимущественно разорившихся крестьян и малоквалифицированных рабочих, не имеющих средств для дальних миграций, продолжался, как уже говорилось, и в XX в. На 1951 г. в Великобритании насчитывалось около 470 тыс. уроженцев Ирландии; с 1951 по 1971 г. прибыло еще около 540 тыс. ирландцев³. В настоящее время общее число их достигает 1 млн. человек.

Среди других групп иммигрантов из европейских стран выделяются евреи и поляки. Основная масса евреев — около 100 тыс. — переселилась в Великобританию в конце XIX — начале XX в. из юго-западных и западных (польских) губерний царской России, после того как там при покровительстве властей был организован ряд еврейских погромов. Евреи осели главным образом в Лондоне, Манчестере и других крупных городах страны. Отдельные группы евреев прибыли в 1930-х годах из нацистской Германии и захваченных ею стран Центральной Европы, и, кроме того, евреи были в составе так называемых военных беженцев и перемещенных лиц, поселившихся в Великобритании после войны; общее число их измеряется несколькими десятками тысяч человек⁴. В результате всех этих миграций, а также естественного прироста еврейского населения, численность его в Великобритании на 1970 г. составила около 450 тыс. человек. Таким образом, Великобритания, как и Франция, имеет крупнейшие в Западной Европе еврейские общины.

Что касается поляков, то численность их в Великобритании до второй мировой войны не превышала 10 тыс. человек. Примерно столько же прибыло во время войны. Большие группы поляков обосновались здесь сразу после войны, причем основную массу их составили солдаты и офицеры бывшего польского корпуса генерала Андерса, сформированного в 1941 г. на территории СССР и участвовавшего в боях на Ближнем Востоке, в Южной и Западной Европе. В Англии было демобилизовано

³ W. M. Brendon. Expectation, information and human migration: specifying an econometric model of Irish migration to Britain.— «Journal of Regional Sciences», 1974, № 1.

⁴ J. Vernant. The refugee in the post-war world. London, 1953, p. 331, 337.

свыше 90 тыс. польских военнослужащих, к которым вскоре приехало свыше 30 тыс. членов их семей; кроме того, в Великобританию прибыло около 30 тыс. поляков из числа беженцев и перемещенных лиц⁵. Отдельные группы поляков впоследствии покинули Великобританию. Поэтому общая численность их в середине 1950-х годов оценивается в 120 тыс. человек, из них 30 тыс. — в Лондоне. Подавляющее большинство поляков к 1971 г. получило британское гражданство и постепенно ассимилируется окружающим населением.

Людские потери Великобритании во второй мировой войне (около 390 тыс. человек, в том числе военнослужащих около 330 тыс.), а главное — определившийся еще в предвоенные годы процесс снижения рождаемости и естественного прироста, которые после временного компенсационного повышения 1945—1950 гг. вновь стали сокращаться, привели к нехватке трудовых резервов. Между тем послевоенное оживление экономики, перестройка промышленности, развитие жилищного строительства и т. п. требовали все новых рабочих рук, особенно в трудоемких, малоквалифицированных занятиях. Этими обстоятельствами и было обусловлено новое и необычное для Великобритании явление — приток в нее больших групп так называемых цветных иммигрантов — негров и мулатов из стран Карибского бассейна, африканских негров (главным образом из стран Западной Африки), индийцев, пакистанцев, бангладешцев, а также китайцев (в основном из Гонконга) и других групп. Общее число таких переселенцев измеряется сотнями тысяч человек, а суммарная численность «цветного» населения Великобритании вместе с детьми, родившимися уже в этой стране, превысила в настоящее время 2 млн. человек. Рассмотрению процесса формирования именно этого, нового в истории Великобритании этнорасового компонента населения, вызвавшего к жизни серьезные социальные проблемы, и посвящена данная статья.

Предварительно отметим, что хотя литература по «цветной» иммиграции и этнорасовым проблемам в Великобритании в настоящее время насчитывает уже многие десятки книг и статей, некоторые вопросы освещены недостаточно. Это относится прежде всего к определению точной численности отдельных этнорасовых групп.

В переписях всего населения Великобритании, регулярно проводимых через каждые 10 лет (и в выборочных, проводимых между основными переписями), нет, как известно, прямого вопроса об этнической (или этнорасовой) принадлежности. В программе переписей имеется вопрос о подданстве, но его трудно использовать в этнической статистике из-за постепенной натурализации иммигрантов; что же касается «цветных» иммигрантов, то такой вопрос вообще бесполезен, ибо почти все они прибыли из стран так называемого Содружества, жители которых традиционно считаются подданными Британской короны. Несколько более ценным в этом отношении оказывается вопрос о стране происхождения опрашиваемого, однако в полученных по этому вопросу данных не учтены дети иммигрантов, рожденные в самой Великобритании; численность же этих детей в настоящее время составляет не менее трети всего «цветного» населения страны, а скоро превысит число собственно иммигрантов.

* * *

Употребленное выше определение послевоенной «цветной» иммиграции как «новой» верно лишь по отношению к ее массовости. Развитие же этой иммиграции имеет свою историю, на основных этапах которой следует хотя бы кратко остановиться.

⁵ J. Zubrzycki. Polish immigrants in Britain. The Hague, 1956, p. 57.

Первые негры были привезены в Англию купцами и капитанами судов еще в середине XVI в. В последующие столетия, особенно после Утрехтского мира (1713), когда работорговля перешла в основном к английским купцам и судовладельцам, число черных рабов из Африки (главным образом с Гвинейского побережья) увеличилось. Среди знатных англичан стало считаться престижным иметь в услужении негров. Однако общественное мнение, сформировавшееся в значительной степени на базе Хартии Вольностей, относилось к рабству на территории Англии в целом отрицательно. Рабство по существу было отменено в 1772 г., когда верховный судья Англии лорд Мэнсфилд оправдал бежавшего от хозяина негра Сомерсета. В решении по этому делу подчеркивалось, что каждый раб, привезенный в страну, должен считаться свободным человеком. Общее число негров на территории Англии в это время оценивается примерно в 15 тыс. человек. Часть негров осталась в услужении у прежних или новых хозяев, часть выехала в Африку или Вест-Индию⁶.

В XIX в. число негров и мулатов в Англии продолжало уменьшаться, так как ранее прибывшие умирали, обычно не оставив потомства, а новоприбывших почти не было. Некоторые негры и мулаты, служившие на судах, курсировавших между Великобританией и Вест-Индией или Африкой, иногда оставались на несколько месяцев в английских портах, но затем возвращались на родину; то же самое относится и к молодым неграм и мулатам — детям сравнительно обеспеченных родителей, приезжавшим в Великобританию (главным образом в Англию) на учебу. По переписи 1901 г. в Англии и Уэльсе было лишь около 0,5 тыс. уроженцев стран Африки (вероятно, часть из них — англичане) и немногим больше уроженцев Вест-Индии.

К началу первой мировой войны число негров и мулатов в Англии несколько возросло. Во время войны в Великобританию из Вест-Индии и Африки прибыло несколько тысяч «цветных» рабочих для предприятий оборонной промышленности и транспорта. Увеличилось и число «цветных» матросов. Однако после окончания войны почти все эти новоприбывшие вернулись в страны выхода. Таким образом, к началу второй мировой войны английское общество как таковое еще не имело существенных бытовых контактов с инорасовыми группами. Впрочем, и в годы войны, когда на территории Великобритании в составе английских и американских войск оказались тысячи негров и мулатов (только в военно-воздушных силах, например, было около 7 тыс. уроженцев Вест-Индии), ситуация изменилась мало. Прибывавшие «цветные» военнослужащие или рекруты «рабочих батальонов» рассматривались как временно проживающие; к тому же общение с ними было ограниченным. Возможно, однако, что даже это ограниченное общение, а также осуждение английской общественностью случаев расовой дискриминации в американской армии, подготавливало благоприятную почву для развития иммиграции в послевоенные годы.

Началом новой «цветной» иммиграции считается 1948 год, когда в Великобританию приехали для устройства на работу сразу около 0,5 тыс. негров и мулатов из Вест-Индии. Вслед за ними последовали и другие, однако до 1952 г. среднегодовая численность прибывавших иммигрантов не превышала 1 тыс. человек, а в 1952—1953 гг. составила 2—3 тыс. С 1954 г. приток иммигрантов из стран Карибского региона стал быстро возрастать. Это заставляет нас более подробно рассмотреть причины данного явления.

Местами выхода этих так называемых вест-индских иммигрантов были острова Карибского моря, прежде всего Ямайка, откуда прибыло свыше половины всех иммигрантов, а также Барбадос, Наветренные и

⁶ F. O. *Shyllon*. Black slaves in Britain. London, 1974, p. 126.

Подветренные острова, в меньшей степени Виргинские острова, Тринидад и Тобаго. Подавляющее большинство жителей этих островов — негры (частично мулаты), потомки невольников, завезенных из Африки в XVI—XIX вв. для работы на плантациях. Острова густо заселены; средняя плотность населения в настоящее время почти везде более 150 чел., на Ямайке свыше 180, на Барбадосе 650 чел. на 1 км². Основу экономики составляют сельское хозяйство (выращивание сахарного тростника, цитрусовых, бананов и т. п.) и туризм; немногочисленные промышленные предприятия основаны на обработке продукции сельского хозяйства и лишь на Ямайке и Тринидаде связаны с добычей полезных ископаемых (бокситов, нефти и т. п.). Городское население, с 1950 г. увеличивающееся сравнительно быстро, пока немногочисленно (на Ямайке около 36%, а на Тринидаде и Барбадосе 40% всех жителей). Среднегодовой национальный продукт на душу населения по большинству островов в начале 1960-х годов оценивался менее, чем в 400 долларов, на Ямайке — в 570 долларов (тогда как в США, например, он достигал около 6000 долларов)⁷. Высокая рождаемость, уровень которой в 1960-х годах составлял 30—40‰ при быстро снизившейся в послевоенный период смертности (примерно до 10‰), приводила к значительному естественному приросту, что обостряло явления относительного аграрного перенаселения и ситуацию на рынке труда. Рост безработицы, достигшей в 1960-х годах 15—25%, неустойчивость аграрной экономики, сильно зависевшей от конъюнктуры на мировом рынке, создавали дополнительные стимулы для развития эмиграции. До второй мировой войны эта эмиграция носила преимущественно сезонный характер и почти полностью шла в материковые страны Америки, главным образом в США. Однако после того, как в 1952 г. в США был принят закон Маккарена-Уолтера, резко ограничивший число иммигрантов из Вест-Индии, устремления мигрантов переместились на Великобританию, более далекую, но кое в чем более притягательную для них страну.

Эмиграция в Великобританию имела, правда, тот существенный недостаток, что стоимость проезда туда равнялась почти полугодовой зарплате неквалифицированного рабочего. Это обстоятельство определенным образом сказалось на составе мигрантов, среди которых, по крайней мере в начальный период, преобладали не выходцы из сельских местностей, где мечтающие об эмиграции бедняки обычно не имели таких средств, а более или менее квалифицированные работники из городской среды. Значительную часть мигрантов-мужчин составляли, например, строительные рабочие (каменщики, плотники и т. п.) и механики; среди женщин было много работниц сферы обслуживания — портных, прислуги, а также медсестер, клерков, педагогов и т. п. Уровень образования у мигрантов был существенно выше среднего по странам их выхода, а доля безработных в соответствующих социально-профессиональных группах — ниже. Показательно, что с ростом миграций и снижением стоимости проезда (введение групповых билетов) в составе мигрантов увеличилась доля бывших сельскохозяйственных рабочих (например, среди выехавших с Барбадоса — с 12% в 1953 г. до 24% в 1955 г.)⁸. Заработная плата в Великобритании была ниже, чем в США, и поэтому даже те мигранты, которые предполагали, накопив какую-то сумму денег, вернуться на родину, должны были ориентироваться на многолетнее пребывание в Великобритании.

⁷ C. Peach. West Indian migration to Britain. The economic factors.— «Races», v. VII, № 1, 1965.

⁸ E. J. B. Rose a. o. Colour and citizenship. A report on British race relations. London, 1969, p. 50.

Одним из факторов, способствовавших миграции, было длительное владение Великобританией перечисленными выше островами, жители которых и после получения независимости, по крайней мере до 1960-х годов, считались «гражданами Британии и колоний» с правом свободного въезда в метрополию и пребывания там в течение неопределенного срока; высылке из Великобритании подвергались лишь люди, совершившие преступление. Кроме того, африканское прошлое жителей Вест-Индии уже давно отступило под воздействием колониальной культуры и христианской церкви. Большинство островов на протяжении XVI — начала XIX в. не раз переходили от одной европейской державы к другой, пока не оказались под властью британской короны, но к середине XX в. основным разговорным языком здесь стали местные диалекты английского, иногда с сохранением французского креоля или патуа; однако преподавание основывалось на литературном английском языке. В конфессиональном отношении подавляющее большинство островитян, как и англичан, принадлежало к англиканской церкви, часть — к католической. Со школьной скамьи их старались воспитать в духе «среднего англичанина» и во всяком случае внушить привязанность к Великобритании: они учили английскую историю и литературу, пели гимны «Правь, Британия» и «Боже, храни короля». Все это, несомненно, облегчало адаптацию вест-индских иммигрантов к жизни в Великобритании.

Социально-культурные отличия иммигрантов были в целом невелики и касались главным образом семейно-бытовой сферы. Рабское прошлое большинства жителей островов, когда рабы обычно не имели своего домашнего хозяйства, не могли вести нормальную семейную жизнь, способствовало возникновению традиции неустойчивых брачно-половых связей. В середине XX в. на островах были широко распространены так называемые консессуальные браки (т. е. свободное, признанное окружающими, сожительство), был высок процент незаконнорожденных детей, которые принимались без осуждения и воспитывались в семье матери ребенка, чаще всего бабушкой. Высокий процент формально незамужних женщин и их значительная социальная роль в вест-индском обществе способствовали довольно активному участию женщин в миграциях. Среди эмигрантов с Ямайки, например, в некоторые годы число женщин превышало число мужчин. Тенденция к неоформленным брачным союзам была отмечена у вест-индских иммигрантов и в самой Великобритании. Однако в условиях уже расшатывающейся в послевоенные годы брачно-половой морали у самих англичан такие тенденции, как и некоторые другие культурно-бытовые особенности иммигрантов из Вест-Индии, не оказывали существенного влияния на процесс их полной аккультурации. Этим иммигранты из стран Карибского региона существенно отличались от других групп цветных иммигрантов, в частности от негров из стран Африки, число которых до 1960-х гг., впрочем, было невелико.

По переписи 1951 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось немногим более 10 тыс. уроженцев стран Карибского региона, в том числе с Ямайки — 6,4 тыс., с Тринидада и Тобаго — 1,6 тыс. и т. п. В Шотландии было менее 1 тыс. иммигрантов из этих стран. Можно полагать, однако, что общее число иммигрантов из стран Карибского региона, включая детей, родившихся уже в Великобритании, превышало в это время 15 тыс. человек. В 1952 г. прибыло 2,2 тыс. иммигрантов, а к 1955 г. общее число их составило уже свыше 25 тыс. человек.

Британская экономика в это время сравнительно легко поглощала новоприбывших, хотя она и не переживала столь бурного подъема, как, например, экономика ФРГ. Число заявок на рабочую силу, особенно по малоквалифицированным профессиям в промышленности и в сфере обслуживания, обычно существенно превышало число иммигрантов. Все же кривая иммиграции довольно послушно следовала в это время за кривой требований на рабочую силу. Показательно в этой связи, что

экономические трудности 1956—1959 гг. привели к сокращению среднегодового числа иммигрантов с 50—60 тыс. до 15 тыс.; происшедший после этого некоторый экономический подъем способствовал росту иммиграции, составившей в 1961 г. уже 65 тыс. чел. в год. Кроме непосредственного экономического притяжения, обнаруживается воздействие на иммиграцию и других факторов; так, при обследовании в 1962 г. на Ямайке мигрантов, направлявшихся в Великобританию, установлено, что свыше 70% имели там ранее поселившихся родственников, а около 50% (главным образом женщины) — брачных партнеров⁹.

По переписи населения 1961 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось свыше 170 тыс. уроженцев стран Карибского региона, из них 100 тыс. — Ямайки; численность их в Шотландии и Ольстере была незначительной. Подавляющее большинство иммигрантов осело в крупнейших конурбациях страны, преимущественно в Большом Лондоне (53% ямайцев и 63% других вест-индцев) и в Западном Мидленде (соответственно 20 и 6,5%). Лишь в трех районах Большого Лондона (Брент, Хокни и Ламбет) иммигранты составляли 6—7% всех жителей, однако и в них они расселились по разным кварталам, редко сосредотачиваясь в отдельных местах, как например на улице Ноттинг Дейл. Примерно 50% всех прибывших было в возрасте 25—44 лет и лишь около 8% — в возрасте 45 лет и старше, что значительно отличалось от доли этих возрастных групп во всем населении страны (соответственно 23 и 37%). Женщины составляли свыше 44% всех прибывших, но соотношение полов варьировало по отдельным районам оседания мигрантов; в Большом Лондоне, где легче было найти работу в сфере обслуживания, среди иммигрантов с Ямайки женщин было несколько больше, чем мужчин. Среди женщин в возрасте 15 лет и старше около 60% были замужем, однако число замужних женщин составляло лишь немногим более 45% всех мужчин 15 лет и старше. 44% всех иммигрантских семей имели детей, из них 25% — свыше трех¹⁰.

Следует отметить, что массовая миграция из Вест-Индии людей преимущественно рабочего возраста оказала влияние на возрастную структуру населения стран выхода. В начале 1960-х годов возрастная группа 15—59 лет там составляла 45—50% всего населения, дети до 14 лет — 40—45%, пожилые люди — около 10%; это свидетельствует о значительной демографической нагрузке на рабочие возрасты. Эмигранты составили на Ямайке более 9% от общего числа жителей, на Барбадосе — более 8%, что замедляло рост населения; большая эмиграция с Монтсerrата (свыше 30% жителей) привела даже к сокращению населения этого острова.

После 1961 г. иммиграция в Великобританию из стран Карибского региона существенно уменьшилась, что было связано с принятием британским правительством ограничительных мер. Однако прежде чем перейти к рассмотрению этих мер, остановимся кратко на развитии иммиграции других «цветных» групп, прежде всего индийцев и пакистанцев.

Иммиграция из Британской Индии до второй мировой войны, как и из Вест-Индии, была незначительной. Время от времени в Англию оттуда прибывали отдельные группы моряков, но их было мало, так как дальним морским плаваниям индуистов препятствовали религиозные ограничения. Кроме того, в Англии осело несколько сот сикхов, преимущественно мелких торговцев. Во время войны стали прибывать группы врачей и студентов, а после войны — и другие квалифицированные и неквалифицированные работники.

⁹ G. C. Peach. West Indian migration to Britain. London, 1968, p. 92.

¹⁰ E. J. B. Rose и др. Указ. раб., с. 110, 117. К сожалению, авторы этой обобщающей работы не раскрывают тех принципов, на основании которых проводилась корректировка материалов официальной статистики на 1961 и 1966 гг.

Следует особо отметить, что после получения Британской Индией независимости (с одновременным разделом ее на Индию и Пакистан) в метрополию выехали почти все англичане, работавшие в колониальных учреждениях и находившиеся на военной службе, а также подавляющее большинство метисов (главным образом от браков англичан с местными женщинами), так как эти стоявшие вне каст люди в той или иной степени отвергались традиционным индийским обществом. По переписи населения 1951 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось около 111 тыс. уроженцев Индии и 11 тыс. уроженцев Пакистана (в Шотландии — соответственно 8 тыс. и 1 тыс.), из них свыше 86 тыс. — метисы. Такие англо-индийцы еще в Индии обычно получали образование на английском языке; будучи свободными от религиозных догм индуизма или других распространенных в Индии религий, они довольно быстро ассимилировались в Англии в культурно-бытовом отношении, а сравнительно слабые антропологические отличия не препятствовали поглощению их английским населением. Поэтому в дальнейшем эти группы нами не рассматриваются.

Согласно закону о натурализации, принятому в Великобритании в конце 1948 г., жители Индии и Пакистана по своему легальному статусу считались (как и жители других бывших британских доминионов) «гражданами Содружества»; они имели право свободного въезда в Великобританию; если они намеревались укорениться здесь, то могли перейти в новое гражданство — британское, с облегченной процедурой натурализации.

На 1951 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось 30,8 тыс. иммигрантов из Индии и 5,0 тыс. — из Пакистана (не считая англо-индийцев); в сумме это более чем вдвое превышало число иммигрантов из Вест-Индии. Однако в последующие годы миграции из Индии и Пакистана развивались медленно. В 1955—1958 гг. среднегодовое число иммигрантов из Индии составляло 6—7 тыс. человек, в течение 1959 г. оно уменьшилось до 3—4 тыс., но к 1961 г. вновь возросло до 7 тыс. На 1961 г. в Англии и Уэльсе проживало 81,4 тыс. иммигрантов из Индии (в других частях Великобритании — еще несколько тысяч). Среднегодовое число иммигрантов из Пакистана было примерно вдвое меньше, чем из Индии; на 1961 г. насчитывалось около 25 тыс. пакистанских иммигрантов. Попутно целесообразно отметить и близкую по многим параметрам иммиграцию из Шри Ланки; с 1951 по 1961 г. число иммигрантов отсюда возросло с 5,8 до 9 тыс. чел. Общее число иммигрантов из этих трех стран на 1961 г. стало уже существенно уступать числу иммигрантов из стран Карибского района (см. табл. 1).

Специфическая черта миграций из Индии и Пакистана (включая современную Бангладеш) — определенные, сравнительно небольшие по площади районы выхода мигрантов. В Индии это центральная и северная часть штата Пенджаб, населенная пенджабцами (сикхами и индуистами), юго-восточная часть штата Гуджарат, где живут гуджаратцы (индуисты и мусульмане). Сикхи — этнорелигиозная общность, сформировавшаяся на территории Пенджаба; это наиболее мобильная группа жителей Индии. Они расселились по многим городам Северной Индии, освоив и «заняв» некоторые новые профессии (например, водителя такси). Значительная часть сикхов живет за пределами Индии — в Сингапуре, Австралии и других странах. Неудивительно, что более половины всех мигрантов из Индии в Великобритании — сикхи. Важной причиной развития их миграций был раздел Пенджаба между Индией и Пакистаном, когда на отошедших к Индии менее плодородных землях обосновалось свыше 4 млн. беженцев. Это привело к обострению относительного аграрного перенаселения. Среди других групп иммигрантов привлекают внимание гуджаратцы, имеющие давние переселенческие традиции (например, в страны Восточной Африки). Если до войны среди прибыв-

Таблица 1

Динамика численности групп «цветного» населения в Великобритании в 1951—1976 гг. по странам происхождения (тыс. чел.)

Страны происхождения	Англия и Уэльс *				Великобритания **				
	1951***	1961***	1966***	Родились в Британии	1966, всего	1971***	Родились в Британии	1971, всего	1976, всего
Ямайка	7,1	100,5	188,1	85,7	273,8	200	120	320	350
Другие страны Карибского региона	8,2	71,3	129,8	50,5	180,3	140	80	220	250
Индия	30,8	81,4	180,4	43,2	223,6	340	100	440	600
Пакистан	5,0	24,9	109,6	10,1	119,7	150	35	185	150
Бангладеш	5,8	9,0	13,0	3,2	16,2	20	5	25	80
Шри Ланка									35
Дальний Восток	12,0	29,6	47,0	13,0	60,0	80	20	100	130
Африка	5,6	19,8	43,1	7,6	50,7	185	15	200	310
Итого	74,5	336,5	711,0	213,3	924,3	1115	375	1490	1905

* Дано по материалам: E. J. B. Rose и др. Указ. раб., с. 72, 97-99.

** Подсчитано по: D. V. Kohler. Ethnic minorities in Britain: Statistical data. London, 1975; «Demographic Yearbook 1977», N. Y, 1978, 1976 г. — наша оценка.

*** Уроженцы указанных стран.

ших (особенно на учебу) преобладали представители высших каст, то с усилением миграции все более заметную роль стали играть выходцы из средних и даже низших индуистских каст.

В Пакистане выделяются три района выхода мигрантов в Великобританию: Мирпурский район, граничащий с индийским штатом Кашмир, территориально близкий к нему район на границе с индийским Панджабом и небольшой район на границе с Афганистаном. Все это — малоплодородные возвышенности, откуда многие жители уезжали еще при британском управлении в ближайшие города (в частности, нанимались моряками в торговый флот). Эмиграция из района Мирпура была вызвана также строительством плотины гидроэлектростанции, в результате чего были затоплены земли почти 250 местных деревень. На территории современной Бангладеш, входившей тогда в Пакистан, было два района выхода мигрантов в Великобританию: юго-восточный, на границе с Бирмой, и северо-восточный, на границе с индийским штатом Ассам. В целом состав мигрантов из Пакистана (с Бангладеш) был этнически более пестрым, нежели из Индии.

К причинам, замедлявшим развитие миграций как из Индии, так и из Пакистана, относятся повсеместно распространенные традиции больших семей. В них главенство принадлежало людям старшего поколения, неодобрительно относившимся к дальним переселениям. Немаловажное значение имела сравнительная дороговизна проезда в Англию; показательно в этой связи, что довольно большую часть сикхов составляли джаты — относительно зажиточная группа среди последователей сикхизма. Однако еще большее значение имели низкая грамотность и плохое знание английского языка, с которым мигранты кое-как знакомились обычно лишь в последних классах начальной школы. В Панджабе,

Таблица 2

Демографическая структура «цветных» иммигрантов* в Англии и Уэльсе в 1961 и 1966 гг.

Регион	Число мужчин, приходящееся на 1000 женщин		Среди женщин в возрасте 15 лет и старше		Возрастные группы			
					замужних на 100 мужчин		до 14 лет, %	
					1961	1966	1961	1966
	1961	1966	1961	1966				
Ямайка	1258	1066	58,8	65,7	45,6	60,8	25	39
Другие страны Карибского района	1264	2026						
Индия	4568	4479	55,4	66,5	47,5	50,1	35	33
Пакистан	5380	4231	62,1	69,7	11,3	14,5	24	23
Западная Африка	1949	1614	54,7	83,6	26,0	51,9	22	23
Англия и Уэльс**	937	940	63,7	63,6	70,4	70,0	23	23
							8	9
							45	42
							14	11
							5	2
							37	38

* Источник: E. J. B. Rose а. о. Указ. раб., с. 105, 106, 110.

** Все население регионов.

например, было всего 9% грамотных, причем на английском языке только 1,5%. Более высокой грамотностью отличались гуджаратцы: в числе мигрантов из этого штата было немало людей с университетскими дипломами. Среди эмигрантов-мусульман повышенный уровень грамотности отмечен у бенгальцев. Нельзя не сказать также о некоторых ограничениях эмиграции со стороны местных властей Индии и особенно Пакистана; последние требовали, например, чтобы мигранты имели деньги на обратный проезд из Великобритании. Поэтому для получения паспортов приходилось прибегать к обману: малограмотные пакистанские крестьяне выдавали себя за студентов, едущих учиться в английские университеты, или за паломников в святые места Ближнего Востока; часть выходцев из Индии якобы направлялась в Сингапур и т. п.

Многие уроженцы Индии и Пакистана вследствие слабого знания английского языка испытывали большую, чем вест-индцы, потребность в посреднике, который мог бы на новом месте подыскать для них жилье и работу. Чаще всего такими посредниками были родственники или просто знакомые (например, односельчане), приехавшие в Великобританию раньше. Любопытна практика, заведенная владельцами пакистанских ресторанчиков: они выписывали земляков, которые отработывали им свой проезд и лишь потом могли искать другую работу.

Специфической чертой мигрантов из Индии и особенно из Пакистана было резкое преобладание в их составе мужчин. Традиционные обычаи осуждали миграции незамужних женщин; женатые же мужчины предпочитали оставлять своих жен и детей дома. Существенное развитие семейной эмиграции отмечено лишь с 1958 г. Это явление свидетельствует о постепенной замене прежних установок на временное пребывание в чуждой иммигрантам языково-культурной и религиозной среде установками на более или менее длительное укоренение в ней. Однако у пакистанцев-мусульман такая тенденция развивалась медленнее, чем у индийцев. По переписи населения 1961 г. в Англии и Уэльсе у индийских иммигрантов на 100 женщин приходилось около 160 мужчин, у пакистанских — почти 540. Процент замужних среди женщин старше 15 лет у индийцев был примерно таким же, как у вест-индцев, но у пакистанцев на 100 мужчин приходилось лишь 11 замужних женщин. Возрастная структура пакистанцев отличалась большей долей возрастной группы 25—44 года (52%); у индийцев эта группа (35%) была меньше, чем у выходцев из Карибского района, и примерно равнялась группе детей до 14 лет, что объясняется более высокой детностью индийских женщин. У пакистанок детность была, правда, еще выше, но из-за своей малочисленности они не оказали столь заметного влияния на возрастную структуру всей иммигрантской группы¹¹.

Размещение индийских и пакистанских иммигрантов на 1961 г. было более рассредоточенным, чем переселенцев из Карибского региона; в больших конурбациях жили 44 тыс. индийцев и 18 тыс. пакистанцев (из них в Большом Лондоне соответственно 27 тыс. и 4,5 тыс.). Значительная группа индийцев и пакистанцев (около 8 тыс.) находилась в Западно-Йоркширской конурбации, часть их жила также в Ливерпуле и Кардиффе. Довольно разнообразными, варьируя по местам расселения, были и их занятия. Среди индийцев отмечен более высокий процент занятых в учреждениях и в тяжелой промышленности, среди пакистанцев — больше занятых на малоквалифицированной работе, в легкой промышленности (в частности, на швейных фабриках), а также в торговле «колониальными» товарами. Трудность адаптации к жизни в Англии обусловила значительное число «обратников»: за период с 1951 по 1960 г. число уроженцев Индии и Пакистана, выехавших из Великобритании (около 27 тыс.), составило почти половину приехавших (56 тыс.).

¹¹ E. J. B. Rose a. o. Указ. раб., с. 110.

Другие группы «цветных» иммигрантов были относительно немногочисленны. Следует сказать о китайцах и выходцах из стран Африки. Небольшие группы китайцев стали оседать в Лондоне и других портовых городах Англии еще в первой половине XIX в.; к началу XX в. в Лондоне, например, было около 400 китайцев, занятых главным образом в сфере обслуживания (ресторанчиках и харчевнях, прачечных, мелкой торговле). К 1951 г. число китайцев в Лондоне возросло почти до 2 тыс., а в Англии — почти до 10 тыс.; кроме того, несколько тысяч китайцев плывало на кораблях британского торгового флота. Женщин среди китайского населения было примерно в 3 раза меньше, чем мужчин. В 1950-х годах приток китайцев в Великобританию увеличился, причем основная масса их приезжала из Гонконга, отчасти из Сингапура и Малайзии. Возрастала семейная миграция, в связи с чем соотношение полов стало постепенно выравниваться. На 1961 г. в Великобритании было около 30 тыс. китайцев, из них свыше половины — в Лондоне¹². Сохранение специфических занятий в сфере обслуживания, культурно-бытовые отличия, в частности распространенный среди китайцев буддизм, тормозили их аккультурацию.

Среди иммигрантов-африканцев преобладали выходцы из стран Западной Африки (Ганы, Гамбии, Нигерии и Сьерра-Леоне), причем основную массу их составляли студенты и стажеры, а также сотрудники учреждений соответствующих стран; численность мигрантов, приезжавших в поисках работы, была невелика. По переписи населения 1961 г. число африканских иммигрантов не превышало 20 тыс. человек.

Уже первая крупная группа иммигрантов из Вест-Индии в 1948 г. привлекла внимание английской общественности. Часть англичан приняла «цветную» иммиграцию как своего рода необходимость; среди другой части англичан по мере увеличения числа иммигрантов и укоренения их в Англии стала расти озабоченность. Она проявилась и среди части английских трудящихся, которые усматривали в прибывших реальных или потенциальных соперников при распределении рабочих мест в промышленности (или в других отраслях экономики); прибывшие были готовы работать за меньшую, чем англичане, плату, а это угрожало некоторым экономическим завоеваниям английских трудящихся. Многие английские профсоюзы вначале отказывались принимать «цветных» в число своих членов, выступали за ограничение иммиграции. Почти в 40 отраслях промышленности профсоюзы при составлении коллективных договоров специально оговаривали, что иммигранты должны принимать в последнюю очередь, после англичан, а увольняться в первую очередь. В отдельных отраслях на иностранный труд были установлены квоты, например, на предприятиях текстильной промышленности иностранцы могли составлять не более 15% от общего числа рабочих. Такие ограничения теряли, правда, силу в случае наличия или принятия английского гражданства, но имелись и ограничения, прямо направленные против «цветных» рабочих. На некоторых предприятиях и в учреждениях вывешивались объявления: «Цветных не принимают» или «Квота на цветных уменьшена».

Постепенно стал расти и бытовой расизм, основанный на различного рода предубеждениях по отношению к группам «цветных» иммигрантов, отличавшихся от коренного населения как внешне — физически (а нередко и по одежде), так и в культурно-бытовом отношении. Распространялось мнение, что бытовое общение с «цветными» подрывает престиж человека, даже если оно приносит некоторые экономические выгоды. В ряде объявлений о сдаче квартир, например, встречалась приписка: «Цветным квартира не сдается». Очень остро воспринимались случаи, когда «цветные» иммигранты-мужчины завязывали знакомства, тем бо-

¹² Ng. Kwee Chao. Chinese in London. Oxford, 1968, p. 6—10.

лее вступали в близкие отношения с английскими женщинами. Развернула свою деятельность расистская организация «Национальный фронт».

Иногда расистские настроения перерастали в прямые столкновения. Начало им было положено еще в 1948 г., когда в Бирмингеме толпа белых забросала камнями дом, где остановились индийцы. Особенно большого размаха расовые беспорядки достигали в Ноттинг-Хилле (предместье Лондона) в 1958 г., когда три субботы подряд толпы белых (преимущественно молодежи) собирались на улицах кварталов, где жили «цветные» иммигранты, бомбардировали их дома кирпичами и бутылками, преследовали на улицах проходящих «цветных» и т. п.

Правительство Великобритании реагировало на все эти явления прежде всего законами об ограничении иммиграции. Первый из них, вступивший в силу в середине 1962 г., устанавливал, что, каждый, въезжающий в страну с целью устройства на работу, должен иметь разрешение от Министерства труда. Документ на въезд был трех категорий — «А», «В» и «С». Документ категории «А» выдавался людям, которым предоставлялась определенная работа на том или ином предприятии или в учреждении; категории «В» — тем, у которых не было конкретного назначения, но их специальность считалась нужной для страны (преимущественно медицинские работники, учителя, лица со специальным техническим образованием, имеющие двухгодичный стаж работы); категории «С» — прочим иммигрантам. Законом 1965 г. выдача въездных документов категории «С» была упразднена, а заявки по категориям «А» и «В» ограничены до 8,5 тыс. в год. И, наконец, по закону 1971 г. допуск иммигрантов-рабочих был по существу приостановлен; разрешался лишь въезд близких родственников тех иммигрантов, которые уже осели в Великобритании.

Все эти ограничения сказались особенно сильно на миграции из стран Карибского региона, которые из-за относительной малочисленности жителей уже исчерпали в значительной степени «фонд» мигрантов, могущих подойти под категории «А» и «В»; кроме того, они ранее других регионов перешли к семейной эмиграции. Уже с 1962 г. миграция из Ямайки и других стран этого региона стала сокращаться. Если, например, за 1961 г. и первую половину 1962 г. отрицательный баланс миграций с Ямайки составил 62,5 тыс. чел., то в последующие 5,5 лет (по 1967 г. включительно) — лишь 31,5 тыс. чел. Среди мигрирующих по численности стали заметно преобладать дети (см. табл. 3).

На 1966 г. в Англии и Уэльсе по уточненным данным насчитывалось около 320 тыс. уроженцев стран Карибского моря (в Шотландии — около 5 тыс. чел.); кроме того, в Англии и Уэльсе было свыше 135 тыс. родившихся в Великобритании детей этих иммигрантов. Всего, таким образом, в Англии и Уэльсе находилось около 455 тыс. негров и мулатов из стран Карибского региона, в том числе около 275 тыс. ямайцев (см. табл. 1). Среди прибывших после 1961 г. преобладали женщины, поэтому соотношение полов внутри этих групп иммигрантов почти выравнивалось. В большом Лондоне создалось даже небольшое численное преобладание женщин, однако в других районах Великобритании (особенно в Западном Йорке) мужчин было больше. Выравнивание половой структуры иммигрантов из стран Карибского региона шло и за счет увеличения числа детей: на 1966 г. дети до 14 лет (включительно) составляли уже около 40% всех иммигрантов из этого региона.

По ряду причин, в частности из-за прекращения деятельности Лондонского института расовых отношений¹³, материалы миграционной ста-

¹³ Лондонский институт расовых отношений был основан в 1958 г. как участвующее научное учреждение, существовавшее на средства, поступающие из различных фондов и от заказчиков на разработку тех или иных проблем. Около 10 лет он был ведущим научным учреждением по исследованию этнорасовых проблем в Великобритании. В конце 1960-х годов в Институте возникла острая дискуссия в связи с отношением к расово-

Таблица 3

Миграции в Англию и Уэльс с середины 1962 по 1967 г.
включительно (тыс. чел.) *

Категория прибывших	Карибский регион	Индия	Пакистан	Африка
По заявкам на работу	9,6	42,4		3,5
Иждивенцев **				
жен	11,1	22,5	13,6	11,0
детей	43,0	32,9	29,8	
других	1,2	...	...	

* Источник: *E. J. B. Rose a. o.* Указ. раб., с. 68, 69.

** Включая лиц, прибывших к ранее осевшим иммигрантам.

тистики с 1967 г. и данные переписи населения Великобритании 1971 г., в первую очередь — по Англии и Уэльсу, где находилось свыше 96% всего «цветного» населения страны, не были обработаны и проанализированы столь основательно, как за предыдущие годы, что вынуждает и нас ограничиться характеристикой лишь общей картины. По официальным данным, из стран Карибского региона в Великобританию в 1967—1970 гг. прибыло 42 тыс. мигрантов, выбыло 35 тыс., что дает положительное сальдо всего в 7 тыс. чел. Реальное число осевших в Великобритании за этот период было явно больше, поэтому официальные данные переписи населения 1971 г., согласно которым в Великобритании было 303 тыс. уроженцев этого региона (из них в Шотландии — около 10 тыс.)¹⁴, следует увеличить примерно до 340 тыс. Перепись не учитывала детей иммигрантов, родившихся в Британии, но на 1971 г., судя по предыдущим темпам прироста, их, вероятно, было около 200 тыс. Таким образом, общая численность этой этнорасовой группы составляла на 1971 г. около 540 тыс. человек. Территориальное распределение их по сравнению с 1961 г. почти не изменилось: около половины выходцев из стран Карибского региона и их детей находилось в Большом Лондоне; крупные группы (по несколько десятков тысяч человек) были в Бирмингеме, Ланкашире и других крупных конурбациях. В Шотландии основная масса этих и других «цветных» иммигрантов жила в Глазго.

Миграции из Индии и Пакистана также достигли своего пика в 1961 — первой половине 1962 г. и по своему объему почти сравнялись с миграциями из стран Карибского района. Заметное влияние на их размах в это время оказывала развернувшаяся в Индии и Пакистане деятельность транспортных агентов, которые помогали мигрантам обходить ограничения, накладываемые властями. Мусульмане, например, получали паспорта якобы для путешествия в святые места, индуисты — для переезда в Сингапур и т. п. Когда же в Великобритании были введены ограничения на иммиграцию, то в этих многолюдных странах сравнительно быстро (хотя и небезболезненно для их народного хозяйства) произошло изменение состава мигрантов — в Великобританию стали направляться многие тысячи квалифицированных работников. Только в 1965—1967 гг., например, иммигранты из Индии удовлетворили около 3 тыс. заявок на учителей, 4 тыс. — на врачей, около 4,5 тыс. — на инженеров; из Пакистана по подобным заявкам прибыли 2,5 тыс. чел., в то время как из стран Карибского региона — всего около 80 чел.¹⁵ Часть специалистов уезжала в Великобританию, надеясь, поработав в этой развитой стране и повысив свою квалификацию, вернуться на родину, другие, видимо, с самого начала ориентировались на переселение в страну, где оплата труда значительно выше, а условия работы лучше.

иммиграционной политике правительства; победило левое крыло, но это привело к почти полному прекращению финансирования Института и свертыванию его работы.

¹⁴ *D. V. Kohler. Ethnic minorities in Britain: Statistical data.* London, 1975.

¹⁵ *E. J. B. Rose a. o.* Указ. раб., с. 87.

К середине 1960-х годов проявились и некоторые другие изменения в составе иммигрантов; среди переселенцев из Пакистана заметно возросла доля христиан, которые как преимущественно городские жители имели до переселения более высокий уровень грамотности и легче адаптировались к жизни в Великобритании. Однако основная особенность миграций 1960-х годов — это возрастание процента «иждивенцев», т. е. родственников тех, кто уже осел в Великобритании и, поняв материальные преимущества новой жизни, решил остаться в этой стране на долгое время. В период с середины 1962 по 1967 г. включительно число таких мигрантов превысило общее число прибывших в поисках работы, хотя и не столь сильно, как у приехавших из стран Карибского региона, при этом число жен, приехавших к мигрантам из Индии и Пакистана, было больше, а детей меньше, чем у мигрантов из Карибских стран (см. табл. 3). В результате таких миграций доля старших возрастных групп иммигрантов заметно снизилась, однако в соотношении полов сохранились еще резкие диспропорции, особенно среди пакистанцев (в 1966 г. на 1000 женщин приходилось 4230 мужчин, см. табл. 2). По оценкам на 1966 г. в Великобритании было 180 тыс. «цветных» уроженцев Индии и, кроме того, 43 тыс. детей, родившихся уже на новом месте; в группе пакистанцев — соответственно около 110 тыс. и 10 тыс. (см. табл. 1).

В последующие годы миграции в Великобританию из Индии и Пакистана, в отличие от стран Карибского региона, продолжались, хотя и в меньших размерах, чем ранее; кроме того, у иммигрантов ежегодно рождалось 15—20 тыс. детей. По переписи населения 1971 г. число уроженцев Индии в Великобритании достигло 323 тыс. человек, превысив число уроженцев всех стран Карибского региона. Однако по числу детей, родившихся на новом месте, индийские иммигранты еще уступали уроженцам Карибского региона, и их общая численность составляла примерно 440 тыс. человек. Пакистанцев (с детьми, родившимися в Великобритании) было примерно 185 тыс. человек (см. табл. 1), из них около 75 тыс. — бангладешцев.

Для характеристики динамики численности иммигрантов в следующее пятилетие — 1971—1976 гг. в нашем распоряжении имеются лишь данные текущей статистики, к сожалению, далеко не полные. Достаточно сказать, что, по официальным данным, за период с 1961 по 1970 г. положительное сальдо между Великобританией и странами Индостана составило около 166 тыс. человек¹⁶, а материалы переписи 1971 г. (кстати, тоже несколько занижившие действительное число иммигрантов) показали их прирост с 1961 г. в 365 тыс. человек. После введения иммиграционных ограничений статистический учет мигрантов вероятно улучшился, но имеются свидетельства, что и после этого десятки тысяч переселенцев проникали в страну, минуя контроль. Это требует введения в официальные цифры некоторых коррективов.

Приток мигрантов в Великобританию из стран Карибского региона после 1971 г. сменился, по официальным данным, небольшим оттоком, однако можно предположить, что проникновение нелегальных переселенцев компенсировало его. Численность иммигрантских групп из этого региона росла за счет естественного прироста, причем рождаемость постепенно снижалась, составив к середине 1970-х годов примерно 8 тыс. рождений в год. Эта группа иммигрантов с детьми в 1976 г. составляла, по нашим подсчетам, около 600 тыс. человек. Что же касается стран Индостана, то миграции из них в Великобританию продолжались, дав за 1971—1976 гг., по официальным данным, 55 тыс. новых переселенцев (в действительности, вероятно, 75—100 тыс.). Возросла и рождаемость у женщин этих иммигрантских групп: примерно с 20 тыс. до 25 тыс. рож-

¹⁶ «Annual abstracts of statistics, 1967». London, 1967, tab. 12; «Annual abstracts of statistics, 1977», London, 1977, tab. 2, 13.

дений в год. Все это обеспечило существенный рост численности данных групп. В 1976 г. общая численность иммигрантов из Индии с детьми достигла около 600 тыс. человек; количество иммигрантов из Пакистана, Бангладеш и Шри Ланки в сумме было в 2,5 раза меньше (см. табл. 1). Сильно возросла в этот период миграция из стран Африки; только по официальным данным она дала свыше 70 тыс. человек. Около трети этого числа составили индийцы, жившие в Кении и получившие специальное разрешение на поселение в Великобритании после того, как они отказались принять кенийское гражданство. Несколько сократилась миграция из стран Дальнего Востока, в основном китайцев, но их число продолжало возрастать и за счет естественного прироста.

Таким образом, общая численность «цветных» иммигрантов в 1976 г. превысила 1900 тыс. чел. В настоящее время она уже достигла 2 млн. человек, главным образом за счет естественного прироста, и продолжает увеличиваться. Примерно 40% этого числа — дети, которые родились в Великобритании и по существующим законам считаются ее полноправными гражданами.

Характер размещения групп «цветного» населения в целом остался прежним, обычно возрастала лишь его «плотность» в уже определившихся районах оседания. На 1971 г. в ряде районов Большого Лондона и Бирмингема доля «цветного» населения перевалила за 15, а кое-где и за 20%. К 1976 г. эта доля еще более возросла; во многих местах, обычно в отдалении от центральных кварталов, образовались целые микрорайоны, почти сплошь заселенные «цветными». Изменились и центральные районы крупных городов; это относится не только к заметной на глаз этнорасовой пестроте уличных прохожих, но и к множеству лавок, магазинов и других заведений, обслуживаемых иммигрантами; достаточно сказать, что на начало 1970-х годов в Англии насчитывалось, например, свыше 1000 китайских рестораников¹⁷.

В заключение отметим, что появление в Великобритании, главным образом в Англии, значительных групп населения, резко отличающегося от коренных жителей антропологическим типом, одеждой, поведением и т. п., по существу впервые в ее истории поставило на повестку дня проблемы этнорасовых отношений. Выше уже говорилось о том, что в развитии этих отношений были серьезные трения: во многих случаях «цветные» иммигранты подвергались дискриминации при найме жилища, поступлении на работу и т. п. Правительство пыталось смягчить остроту ситуации тем, что, с одной стороны, как уже отмечалось, ввело законы, ограничивающие иммиграцию, с другой — ряд законов, направленных против открытой дискриминации. Однако в связи с продолжающимся увеличением численности «цветных» групп острота многих проблем, например в сфере бытового общения, продолжает сохраняться.

Дискуссия между лейбористами — в целом сторонниками умеренной политики в этнорасовом вопросе — и консерваторами, правое крыло которых призывало к более решительным мерам, вплоть до депортации тех, кто въехал в обход существующих правил, нашла свое отражение в предвыборной борьбе 1979 г., хотя трудно сказать, как эта дискуссия повлияла на результаты выборов в парламент. Показательно, что за расистскую партию «Национальный фронт» голосовало менее 1% всех избирателей и что пришедшее к власти консервативное правительство пока придерживается в этом вопросе умеренной позиции.

Рассмотренная нами тема сопряжена с рядом других интересных и пока недостаточно освещенных в научной литературе проблем, связанных с процессами социально-экономической и культурной адаптации различных этнорасовых и социальных групп иммигрантов к новым условиям их жизни, с развитием различного вида контактов между ними и

¹⁷ Ng Kwee Chao. Указ. раб., с. 14.

местным населением, в том числе этнорасовых смешанных браков, с их этнической ассимиляцией и расовой амальгамацией и т. д. Но все это — задача уже другой статьи или даже нескольких статей.

ETHNIC-AND-RACIAL CHANGES IN THE COMPOSITION OF GREAT BRITAIN'S POPULATION

Following World War II certain new features were introduced into the historical development of Great Britain with the mass influx of «coloured» immigrants, mainly from Commonwealth countries. Among them were Negroes and Mulattoes from Jamaica and other Caribbean islands, Negroes from Africa, various ethnic-religious groups from India and Pakistan, Chinese from Hong Kong, etc. The sum total of this immigrant population (including children born already in Great Britain) is over 2 million. The paper deals with the causes underlying these migrations, the immigration policies of the British Government, the number and composition of the migrants and their geographical distribution in Great Britain (mainly in England).

А. А. Истомин

СЕЛЕНИЕ РОСС И КАЛИФОРНИЙСКИЕ ИНДЕЙЦЫ

Укрепленное селение Росс было основано в 1812 г. на побережье Северной Калифорнии (Нового Альбиона) Российско-Американской компанией (РАК). До своей продажи в 1841 г. оно служило компании опорной базой для промысла морской выдры, который вели перемещенные в Калифорнию артели кадьякских эскимосов (русские источники их часто называют «алеутами»), и центром очага земледелия и скотоводства, созданного здесь для снабжения Русской Америки продовольствием. Осваиваемая территория, где кроме Росса возникло еще несколько мелких селений, стала зоной контактов между пришельцами (русские, эскимосы и др.) и коренными жителями — калифорнийскими индейцами.

Росс находился севернее залива Бодега (Румянцева), от которого крепость отделяла долина р. Славянки (ныне р. Русская, Russian river). Окрестные индейцы принадлежали к трем этническим общностям. Непосредственными соседями русской крепости были кашайа (юго-западные помо), жившие в прибрежном районе примерно между устьями рек Русской и Гуалала. К востоку от Росса, на лесостепных пространствах долины р. Русской, жили южные помо, а на юге, у залива Бодега, — береговые мивок (бодегинский диалект) ¹.

Перспектива развития отношений с индейцами была, очевидно, одной из причин, повлиявших на выбор места для русского поселения именно в этом районе. Первое десятилетие XIX в. — время, когда отношения между РАК и индейцами тлинкитами (юго-восточная Аляска) отличались наибольшим драматизмом. Тлинкиты, обладавшие богатым опытом межплеменных столкновений ² и вооруженные огнестрельным оружием, полученным от американских и английских купцов в обмен на пушнину, в эти годы разорили русские укрепления на о. Ситха (Баранова) и в заливе Якутат. Соппротивление тлинкитов практически блокировало начатую компанией колонизацию их края. Несомненно, администрация русских колоний учитывала свой «тлинкитский» опыт и в ходе

¹ A. L. Kroeber. Handbook of the Indians of California. Washington, 1925, p. 274, 356. Описание индейцев этого района и словарь местных наречий оставил П. С. Костромитинов, управляющий Росса в 1830—1836 гг. См. P. S. Kostromitonow. Bemerkungen über die Indianer in Ober-Kalifornien. — F. Wrangell. Statistische und ethnographische Nachrichten über die Russischen Besitzungen an der Nordwestküste von Amerika. («Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. Hrsg. von K. Baer und G. Helmersen», B. 1). St. Petersburg, 1839, S. 80—96, его же. Wörter aus zwei Sprachen Neu-Kaliforniens. — Там же, с. 233—254. Индейцам окрестностей Росса посвящен также очерк Ф. П. Врангеля «Американцы Верхней Калифорнии» («Телескоп», 1835, ч. 26, с. 441—456).

² Народы северо-западного побережья Северной Америки, в том числе тлинкиты, в это время, как показала Ю. П. Аверкиева, находились на стадии перехода от доклассового общества к классовому, когда роль войны в общественной жизни возрастает, причем война превращается в регулярный промысел. О значении войны в жизни тлинкитов см. Ю. П. Аверкиева. Индейцы Северной Америки. М., 1974, с. 152.

продвижения русских к югу при организации новых селений стремилась к тому, чтобы они имели более лояльное и не столь хорошо вооруженное индейское окружение, которое РАК, видимо, не рассчитывала найти севернее 40-й параллели³. Между тем, обследовав в 1808—1809 гг. залив Бodega⁴, будущий основатель Росса И. А. Кусков наряду с другими достоинствами этого места в своем донесении отметил: «Природных тамошних жителей по разным местам видели не везде в большом количестве, но все они принимали ласково и ни малейшего подозрения и неблагоприятства не оказывали, и огнестрельного оружия не имеют, как многие другие, выше того залива обитающие и наносящие иностранцам бедствия»⁵. Как одно из благоприятных условий развития русской колонии в Калифорнии «склонность первобытных тамошних жителей» отметило в 1816 г. и руководство РАК⁶.

Индейцы окрестностей Росса жили небольшими обособленными общинами, занимались собирательством, а также охотой и рыболовством; вели кочевой или полукочевой образ жизни. Их оружие составляли лук и стрелы, копье, праща (рис. 1). Межобщинные столкновения были редки, война в жизни индейцев не занимала значительного места⁷, что следует объяснить уровнем и особенностями их социально-экономического развития.

Если на северо-западном побережье контакты коренного населения с американскими и английскими купцами создали для РАК постоянный источник беспокойства⁸, то испанская колонизация Калифорнии дала русским в лице индейцев союзника. Над помо и береговыми мивок нависла угроза порабощения францисканскими миссиями, сеть которых покрыла Калифорнию до залива Сан-Франциско. В начале XIX в. миссии уже вели «охоту» за индейцами на территориях к северу от залива. Индейцы надеялись, что русские защитят их от испанцев. Об этом, в частности, свидетельствует позиция береговых мивок, особенно страдавших от испанских рейдов. С одним из их вождей (он назван «главным тоэном местности, на которой устроена крепость», но, судя по тексту источника, это вождь одной из общин береговых мивок) встретился капитан-лейтенант Л. А. Гагемейстер, посетивший с ревизией Росс в 1817 г. Согласно его донесению от 2 ноября 1817 г., вождь вел себя по отношению к русским очень дружелюбно и предупредительно, сообщив, что в

³ Показательно, что все индейские народы, жившие на побережье между 40 и 60° с. ш., в русских владениях были известны под общим названием «колоши» или «колюжи» (прежде всего так именовали тлинкитов) как сходные по облику и образу жизни «поколения одного и того же племени», отличные от индейцев Нового Альбиона» (Ф. П. Литке. Путешествие вокруг света на военном шлюпе Сенявин в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах, ч. 1. СПб., 1834, с. 146). Попытки промысловых артелей «алеутов» проникнуть из Росса (38° с. ш.) в заливы, лежащие севернее, сопровождались стычками с индейцами («Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана», в. 3. СПб., 1861, с. 139—141; Z. Tchitchinoff. Adventures in California. 1818—1828. Los Angeles, 1956, p. 12—20. Отказ от идеи поселения в устье р. Колумбия руководством РАК мотивировало перед акционерами, в частности, тем, что здесь «индейцы, подстрекаемые торговлею североамериканских граждан, не слишком удобопреклонны». — «Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского Министрства иностранных дел» (далее — ВПР), т. 6. М., 1962, с. 280.

⁴ Залив Бodega был уже известен русским. В феврале-мае 1807 г. он стал пристанищем для артели «алеутов» РАК (во главе с русским Т. Таракановым) и сопровождавшего их американского судна. См. A. Ogden. Russian sea—otter and seal hunting on the California Coast, 1803—1841.— «The Russians in California». San Francisco, 1933, p. 33.

⁵ В. Потехин. Селение Росса.— «Журнал мануфактур и торговли», т. 8, № 10, 1859, с. 9.

⁶ Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения. 1815—1832. М., 1975, с. 138.

⁷ P. S. Kostromitonow. Bemerkungen..., S. 90; ср. A. L. Kroeber. Указ. раб., с. 235, E. M. Loeb. Pomo folkways.— «University of California Publications in Archaeology and Ethnology» (далее — UCRAE), v. 19, № 2. Berkeley, 1926, p. 200.

⁸ См., например, Н. Н. Болховитинов. Становление русско-американских отношений. 1775—1815. М., 1966.



Рис. 1. «Жители Северной Калифорнии» (береговые мивок).
Художник М. Тиханов, 1818 г. (Музей Академии художеств СССР, Ленинград)

связи с ожидавшимся нападением испанцев⁹ «он готовился со всеми людьми своими идти к нашей крепости искать защиты»¹⁰.

Осенью 1818 г. русский военный шлюп «Камчатка», зашедший в залив Бодега, посетил вождь береговых мивок Валеннила, который, по утверждению В. М. Головнина, в беседе с ним «именно желал, чтоб более русских поселились между ними, дабы могли они защитить жителей от притеснения испанцев». Валенниле был вручен российский флаг¹¹. Семь лет спустя, в письме от 25 ноября 1825 г. управляющий Росса П. Шелихов писал К. Т. Хлебникову: «Тойон Бодегинских индейцев, известный Вам Валенила, просил меня, чтобы не возвращать испанцам его команды индейцев, представляя, что они, принадлежа русским, не признают никак себя подвластными испанцам...»¹².

⁹ В источнике — «испанские индейцы»; однако вождь, несомненно, имел в виду испанцев. Возможно, Гагемейстер неверно истолковал слова вождя или же не захотел упоминать в донесении испанские рейды, чтобы не возбуждать сомнений в независимости данного района от Испании.

¹⁰ Д. И. Завалишин. Дело о колонии Росс.— «Русский вестник», 1866, т. 62, с. 48.

¹¹ В. М. Головнин. Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. М., 1965, с. 178. Ср. Ф. Ф. Матюшкин. Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка». — «К берегам Нового Света». М., 1971. с. 69.

¹² Цит. по: «Американский ежегодник. 1971». М., 1971, с. 308.

В 1824 г. в президио Сан-Франциско индеец Помпонио¹³, схваченный и вскоре расстрелянный властями Калифорнии, говорил русскому офицеру, декабристу Д. И. Завалишину, что прежде пытался с ним встретиться, чтобы поговорить «о том, что его больше всего занимало». «Ведь мы знаем,— сказал Помпонио,— что вы пришли отнять эту землю у проклятых испанцев и освободить бедных индейцев! Индейцу тогда будет хорошо!»¹⁴. Помпонио, беглец из миссии Сан-Франциско, был уроженцем района Сан-Рафаэль¹⁵, т. е. принадлежал к береговым мивок. Он, вероятно, слышал об отношении к индейцам русских и связывал с последними свои надежды.

Впрочем, оказать действительную помощь береговым мивок администрация Росса вряд ли могла. Конфронтации с калифорнийскими властями РАК стремилась избежать. Не рисковала компания и дать индейцам оружие. В 1817 г., когда испанцы совершили рейд в окрестности Росса и множество индейцев сбежалось под защиту крепости, И. А. Кусков не смог им помочь ничем, кроме совета «засесть в лесах и ущелинах гор и потом нечаянно напасть на испанцев. Дикие его послушались и засели в лесу... Но испанцы, узнав сие, остановили свое преследование»¹⁶. К 30-м годам XIX в. много бодегинских мивок, по сообщению П. С. Костромитинова, было угнано в две францисканские миссии, возникшие к юго-востоку от русского поселения; остальные погибли во время эпидемий 1815—1822 гг. или мигрировали к Россу¹⁷.

Если индейцы были заинтересованы в союзе с русскими, то в свою очередь небольшая русская крепость, расположенная вдали от остальных русских поселений в Америке и поблизости от областей, колонизованных другой державой, нуждалась в добрососедских отношениях с коренным населением. Это диктовало соответствующую политику. Во время первого визита в залив Бodega И. А. Кусков стремился всячески расположить индейцев к русским: раздавал подарки; некоторым, «кои обходились ласковее и оказывали услуги», были вручены дополнительные подарки и серебряные медали, «чем они были весьма довольны»¹⁸. Инструкцией главного правителя российских колоний в Америке А. А. Баранова от 20 января 1811 г. Кускову предписывалось изучать обычаи коренного населения Калифорнии, составить словарь языка индейцев, «с народами сколько можно покороче знакомиться, коих всех как наивозможно миролюбивыми и дружественными видами и приемами приласкивать, избегая и малейшей причинять досады»¹⁹.

Такая политика давала свои плоды. По свидетельству имеющихся источников, между обитателями Росса и местными индейцами в годы управления И. А. Кускова (1812—1821 гг.)²⁰ установились исключительно мирные и добрососедские отношения. В. М. Головин подчеркивает «дружеское расположение сего народа... к русским» и, в частности, приводит пример: русские по одному и по двое охотятся в лесах, часто ночуют у индейцев и возвращаются «без вреда и обиды»²¹. По словам

¹³ Помпонио возглавлял шайку разбойников. См., например, *H. H. Bancroft. California pastoral.— The Works*, v. 34. San Francisco, 1888, p. 682—683. По словам Завалишина, Помпонио пользовался сочувствием индейского населения, будучи одним «из тех людей, которых победители зовут разбойниками..., но которые, в глазах побежденного народа или племени имеют значение национальных героев...» (*Д. И. Завалишин. Калифорния в 1824 году.— «Русский вестник»*, 1865, т. 60, с. 326).

¹⁴ *Д. И. Завалишин. Калифорния...*, с. 328.

¹⁵ *H. H. Bancroft. History of California*, v. 2, «The Works», v. 19, San Francisco, 1886, p. 537.

¹⁶ *Ф. Ф. Матюшкин. Указ. раб.*, с. 68.

¹⁷ *P. S. Kostromitonow. Bemerkungen...*, S. 80.

¹⁸ *В. Потехин. Указ. раб.*, с. 9.

¹⁹ ВПР, т. 6, с. 722.

²⁰ О И. А. Кускове см. *С. Г. Федорова. Русская Америка и Тотьма в судьбе Ивана Кускова.— «Проблемы истории и этнографии Америки»*. М., 1979.

²¹ *В. М. Головин. Указ. раб.*, с. 176.

спутника Головинна Ф. Ф. Матюшкина, Кусков, жалуясь на недоброе отношение испанцев, говорил, что «единственно привязанность диких к русским и ненависть к испанцам поддерживает его»²². «Обитатели селения Росс живут в мире и согласии с местным населением»²³, — подтверждает О. Е. Коцебу, побывавший в Россе осенью 1824 г.

В американской историографии утвердилось мнение, что землю, на которой было основано русское селение, индейцы добровольно уступили за три одеяла, три пары брюк, два топора, три мотыги и немного бисера²⁴. Однако вряд ли между пришельцами и коренными жителями состоялась настоящая сделка: на данном уровне социально-экономического развития земля не рассматривалась индейцами в качестве объекта купли-продажи, и речь идет, видимо, лишь о подарках, принятых как залог дружественных отношений.

В сентябре 1817 г. русско-индейские отношения были документально оформлены во время визита в Росс Л. А. Гагемейстера. В крепость были приглашены «начальники индейцев Чу-гу-ан, Ама-тан, Гем-ле-ле» и др. Согласно протоколу, капитан-лейтенант Гагемейстер от имени РАК приносил им «благодарность за уступку компании земли на крепость, устройении и заведении, которые на местах, принадлежащих Чу-гу-ану, называемых жителями Мэд-жы-ны»²⁵, и сказал, что надеется, что (они) не будут иметь причины жалеть о соседстве русских». Выслушав перевод, Чу-гу-ан и Ама-тан ответили, что они очень довольны занятием сего места русскими, так как они «живут теперь в безопасности от других индейцев»²⁶. Индейцам были сделаны подарки, а Чу-гу-ан награжден серебряной медалью с изображением российского герба и надписью «Союзные России», что налагало на него «обязанность привязанности и помощи, если случай того потребует, на что как он, так и прочие объявили готовность». Протокол подписали Л. Гагемейстер, И. Кусков, К. Хлебников и еще несколько представителей русской стороны²⁷.

По сообщению З. П. Чеченева, в 1825 г. в Россе вождь соседнего племени Мануэль подтвердил главному правителю колоний М. И. Муравьеву продажу территории, на которой И. А. Кусков построил крепость, а также других участков земли, занятых русскими для земледелия²⁸.

Такие меры преследовали двойную цель. Они придавали отношениям с индейцами форму союза или подданства, что должно было оказывать определенное морально-психологическое воздействие на местные племена и их вождей. Для администрации русских владений в Америке было вообще характерно стремление привлечь на свою сторону «тойонов», делая им подарки и превращая их в проводников своего влияния²⁹. В то же время оформление «добровольной уступки» земли индейцами (а

²² Ф. Ф. Матюшкин. Указ. раб., с. 68.

²³ О. Е. Коцебу. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. Пер. с нем. Д. Д. Тумаркина. М., 1959, с. 211.

²⁴ Н. Н. Bancroft. History of California, p. 297 (со ссылкой на рукопись францисканца М. Пайераса, посетившего Росс в 1822 г.).

²⁵ Мэд-жы-ны — вероятно, Метини (Métini), место у Росса, где проживала одна из общин индейцев кашайа.

²⁶ В пропагандистском арсенале РАК важное место занимал тезис о прекращении в результате колонизации усобиц среди «туземцев» и защите Компанией зависимых народов от набегов других племен. К индейцам окрестностей Росса, где межобщинные столкновения случались сравнительно редко, данный тезис, очевидно был применен механически (см. также сн. 9).

²⁷ Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения. 1815—1832, с. 142. Подобным образом русские действовали не впервые. На Ситхе А. А. Баранов вручил вождю ситхинских глинокитов Скауттелту «в знак отличия медный Российский герб» и сходный по содержанию документ от 25 марта 1800 г. (К. Т. Хлебников. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного правителя российских колоний в Америке. СПб., 1835, с. 53, 54).

²⁸ Z. Tchitchinoff. Указ. раб., с. 24, 25.

²⁹ «Нужно привязать их, — писал в 1791 г. о тойонах А. А. Баранов, — дабы иногда действовать можно и политикою, а не силами» (См.: С. Б. Окунь. Российско-американская компания. М.—Л., 1939, с. 186).

фактически просто согласия последних на присутствие русских) служило обоснованию «законности» прав РАК на занятую территорию. Визит Гагемейстера относится к периоду, когда испанцы выступили с протестами против существования Росса, возникшего на территории, которую Испания считала своей, а в России против РАК были выдвинуты обвинения в злоупотреблениях по отношению к коренному населению Русской Америки. Самодержавие, консервативно-охранительные принципы которого, как справедливо отметил Н. Н. Болховитинов, находились в противоречии с интересами РАК³⁰, реагировало на эти сигналы весьма настороженно³¹. Этим, видимо, объясняются и действия в Россе Гагемейстера, и то пристрастие, с которым русские источники подчеркивали независимость индейцев окрестностей Росса от испанцев, дружественный характер русско-индейских отношений в этом районе, а также контраст данных отношений с положением индейцев в Испанской Калифорнии.

В калифорнийской «индейской политике» РАК отразились общие принципы политики компании в отношении коренного населения Русской Америки. Испытывая недостаток сил и контролируя весьма ограниченную территорию, администрация русских владений в Америке стремилась сохранять мирные отношения с практически независимыми от нее «туземцами» малоосвоенных районов — материковых областей и архипелага Александра, где позиция коренных жителей становилась одним из решающих факторов в судьбе русских поселений. «Поводу к огорчению» колошей (тлинкитов) «при нынешних наших малосильных обстоятельствах удаляться и избегать должно...», — настаивал, например, в 1800 г. А. А. Баранов³². «Малосильные обстоятельства» наложили отпечаток и на «туземную» политику РАК в целом³³. Впрочем, эта политика и положение коренного населения Русской Америки определялись еще многими факторами, которые в данной статье не рассматриваются.

Следует подробнее остановиться на участии индейцев в хозяйственной жизни Русской Калифорнии. В работы по найму индейцы окрестностей Росса втягиваются, по-видимому, с начала 20-х годов XIX в. Уже в 1824 г., по сообщению О. Е. Коцебу, «многие индейцы приходят в крепость и работают там за поденную плату. Ночи они обычно проводят вне крепости»³⁴. Вовлечение индейцев в хозяйственную жизнь Росса во многом связано как с общим ростом экономики Русской Калифорнии, так и с определенными изменениями в ней. Если в первые годы она имела в основном океанский характер (промысел морского зверя, кораблестроение), то в 20-е годы большую роль начинает играть земледелие, превращаясь к концу десятилетия в первую по значимости отрасль хозяйства³⁵. Растущую потребность в рабочей силе администрация Росса стала удовлетворять за счет найма окрестных индейцев, которые, будучи собирателями, вероятно, уже обладали некоторыми навыками, необходимыми для полевых работ. Им платили различными товарами — предметами одежды, украшениями и т. д., фактически покупая рабочую силу за бесценок. «Чего вам лучше, — говорил последний управляющий Росса А. Г. Ротчев будущему покупателю крепости Дж. Суттеру в 1838 г., — человек здесь покорное дитя: за несколько ниток бисеру — индеец ваш работник; приласкайте его — и только не расстреливайте как собаку на каждом шагу по примеру калифорнских креолов»³⁶.

³⁰ Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения, 1815—1832, с. 306.

³¹ См., например, ВПР, т. 9. М., 1974, с. 618, 619.

³² «К истории Российско-Американской компании. Сб. документальных материалов». Красноярск, 1957, с. 96, 97.

³³ См. Г. А. Агранат. Об освоении русскими Аляски. — «Летопись Севера». т. 5. М., 1971, с. 189.

³⁴ О. Е. Коцебу. Указ. раб., с. 211.

³⁵ См. J. R. Gibson. Imperial Russia in Frontier America. The changing geography of supply of Russian America, 1784—1867, N. Y., 1976, p. 115—117.

³⁶ А. Г. Ротчев. Новый Эльдorado в Калифорнии. — «Отечественные записки», 1849, т. 62, № 2, с. 217.

Однако во время жатвы работников не хватало. «От худой пищи и ничтожного платежа,—сообщает в своем донесении главный правитель колоний Ф. П. Врангель, посетивший Росс в 1833 г.,—индейцы перестали сами приходить в селение для работы, отчего контора нашлась при- нужденной отыскивать их в тундрах, врасплох нападать, связывать ру- ки и пригонять в селение как скот на работу. Таковая партия в 75 чело- век мужчин, жен и детей приведена была при мне в селение с рассто- яния около 65 верст отсюда...»³⁷. В это время в Россе на уборке урожая и других работах был занят 161 индеец³⁸.

Описание экспедиций за индейцами оставил А. Г. Ротчев. Каждый год, писал он, за несколько недель до уборки урожая из Росса отправля- лись толмачи-индейцы с приказом «отыскать кочевья дикарей, вступить с ними в переговоры насчет предстоящих работ, узнать, долго ли они пробудут на месте, и возвратиться в крепость». Индейцы кочевий отка- зывались добровольно идти к Россу. Однако, как утверждает Ротчев, «на разговоры с толмачами, всегда отвечали: «Пускай тоен (т. е. Рот- чев.—А. И.) придет взять нас». Тогда отряд в 12—15 человек во главе с Ротчевым пробирался к индейским стоянкам и, напад ночью, захватывал и уводил женщин. Мужчины-индейцы присоединялись по пути в кре- пость. Таких поездок совершалось несколько, в каждой партии приводи- лось до 100 и более человек. Судя по указанным в источнике расстояни- ям (несколько дней пути), подобные меры распространялись на индей- цев преимущественно отдаленных кочевий, не затрагивая, вероятно, непосредственных соседей Росса. По окончании уборки пригнанные в Росс индейцы отпускались, получив небольшое вознаграждение: несколь- ко ниток бисера, рубашку, иногда одеяло»³⁹.

Данный вид эксплуатации индейцев представлял собой одну из форм распространенных во владениях Компании повинностей «туземного» на- селения. Своеобразие этой формы (метод привлечения рабочей силы) определялось кочевым (а не оседлым, как на Алеутских островах и Кадьяке) образом жизни коренного населения и его независимостью от русской администрации.

От скудной пищи и тяжелой работы «индейцы приходят под конец в крайнее истощение»,—писал Ф. П. Врангель. Сочувствуя индейцам и настаивая на улучшении их положения, Врангель в то же время беспок- оился о сохранении мирных отношений с коренным населением. «Не токмо человеколюбие,—писал он,—но и самое благоразумие требует, чтобы индейцев приласкать более... Само собой разумеется, каковы со временем должны быть последствия подобных поступков с индейцами, и друзей ли мы в них наживаем»⁴⁰. Однако каких-либо серьезных ослож- нений в русско-индейских отношениях в эти годы не наблюдалось, не считая стычек во время угона индейцев на жатву и случавшихся иногда нападений на скот. Правда, С. Б. Окунь утверждает, что вследствие экс- плуататорской политики РАК «в окрестностях Росса неоднократно под- нимались восстания индейцев. В восстаниях принимали участие и беглые русские промышленники»⁴¹. Но единственный аргумент, приводимый С. Б. Окунем,—извлечение из донесений (1825 г.), составленное прави- телем канцелярии РАК в Петербурге декабристом К. Ф. Рылеевым. Там сообщается о восстании в 1824 г. индейцев в испанских миссиях Санта-

³⁷ Цит. по: С. Б. Окунь. Указ. раб., с. 136.

³⁸ J. R. Gibson. Russia in California, 1833. Report of governor Wrangel.—«Pacific Northwest Quarterly», v. 60, № 4, 1969, p. 211.

³⁹ А. Г. Ротчев. Воспоминания русского путешественника о Вест-Индии, Калифор- нии и Ост-Индии.—«Пантеон», т. 13, № 2, 1854, с. 103—105.

⁴⁰ Цит. по: С. Б. Окунь. Указ. раб., с. 136. Эксплуатации со стороны компании под- вергалось не только коренное, но и пришлое население Русской Калифорнии, в частно- сти русские промышленники, о чем свидетельствует все то же донесение Врангеля. См.: J. R. Gibson. Russia in California, p. 211.

⁴¹ С. Б. Окунь. Российско-американская компания, с. 136.

фактически просто согласия последних на присутствие русских) служило обоснованию «законности» прав РАК на занятую территорию. Визит Гагемейстера относится к периоду, когда испанцы выступили с протестами против существования Росса, возникшего на территории, которую Испания считала своей, а в России против РАК были выдвинуты обвинения в злоупотреблениях по отношению к коренному населению Русской Америки. Самодержавие, консервативно-охранительные принципы которого, как справедливо отметил Н. Н. Болховитинов, находились в противоречии с интересами РАК³⁰, реагировало на эти сигналы весьма настороженно³¹. Этим, видимо, объясняются и действия в Россе Гагемейстера, и то пристрастие, с которым русские источники подчеркивали независимость индейцев окрестностей Росса от испанцев, дружественный характер русско-индейских отношений в этом районе, а также контраст данных отношений с положением индейцев в Испанской Калифорнии.

В калифорнийской «индейской политике» РАК отразились общие принципы политики компании в отношении коренного населения Русской Америки. Испытывая недостаток сил и контролируя весьма ограниченную территорию, администрация русских владений в Америке стремилась сохранять мирные отношения с практически независимыми от нее «туземцами» малоосвоенных районов — материковых областей и архипелага Александра, где позиция коренных жителей становилась одним из решающих факторов в судьбе русских поселений. «Поводу к огорчению» колошей (тлинкитов) «при нынешних наших малосильных обстоятельствах удаляться и избегать должно...», — настаивал, например, в 1800 г. А. А. Баранов³². «Малосильные обстоятельства» наложили отпечаток и на «туземную» политику РАК в целом³³. Впрочем, эта политика и положение коренного населения Русской Америки определялись еще многими факторами, которые в данной статье не рассматриваются.

Следует подробнее остановиться на участии индейцев в хозяйственной жизни Русской Калифорнии. В работы по найму индейцы окрестностей Росса втягиваются, по-видимому, с начала 20-х годов XIX в. Уже в 1824 г., по сообщению О. Е. Коцебу, «многие индейцы приходят в крепость и работают там за поденную плату. Ночи они обычно проводят вне крепости»³⁴. Вовлечение индейцев в хозяйственную жизнь Росса во многом связано как с общим ростом экономики Русской Калифорнии, так и с определенными изменениями в ней. Если в первые годы она имела в основном океанский характер (промысел морского зверя, кораблестроение), то в 20-е годы большую роль начинает играть земледелие, превращаясь к концу десятилетия в первую по значимости отрасль хозяйства³⁵. Растущую потребность в рабочей силе администрация Росса стала удовлетворять за счет найма окрестных индейцев, которые, будучи собирателями, вероятно, уже обладали некоторыми навыками, необходимыми для полевых работ. Им платили различными товарами — предметами одежды, украшениями и т. д., фактически покупая рабочую силу за бесценок. «Чего вам лучше, — говорил последний управляющий Росса А. Г. Ротчев будущему покупателю крепости Дж. Суттеру в 1838 г., — человек здесь покорное дитя: за несколько ниток бисеру — индеец ваш работник; приласкайте его — и только не расстреливайте как собаку на каждом шагу по примеру калифорнских креолов»³⁶.

³⁰ Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения, 1815—1832, с. 306.

³¹ См., например, ВПР, т. 9. М., 1974, с. 618, 619.

³² «К истории Российско-Американской компании. Сб. документальных материалов». Красноярск, 1957, с. 96, 97.

³³ См. Г. А. Агранат. Об освоении русскими Аляски. — «Летопись Севера». т. 5. М., 1971, с. 189.

³⁴ О. Е. Коцебу. Указ. раб., с. 211.

³⁵ См. J. R. Gibson. Imperial Russia in Frontier America. The changing geography of supply of Russian America, 1784—1867, N. Y., 1976, p. 115—117.

³⁶ А. Г. Ротчев. Новый Эльдorado в Калифорнии. — «Отечественные записки», 1849, т. 62, № 2, с. 217.

Однако во время жатвы работников не хватало. «От худой пищи и ничтожного платежа,— сообщает в своем донесении главный правитель колоний Ф. П. Врангель, посетивший Росс в 1833 г.,— индейцы перестали сами приходить в селение для работы, отчего контора нашлась принужденной отыскивать их в тундрах, врасплох нападать, связывать руки и пригонять в селение как скот на работу. Таковая партия в 75 человек мужчин, жен и детей приведена была при мне в селение с расстояния около 65 верст отсюда...»³⁷. В это время в Россе на уборке урожая и других работах был занят 161 индеец³⁸.

Описание экспедиций за индейцами оставил А. Г. Ротчев. Каждый год, писал он, за несколько недель до уборки урожая из Росса отправлялись толмачи-индейцы с приказом «отыскать кочевья дикарей, вступить с ними в переговоры насчет предстоящих работ, узнать, долго ли они пробудут на месте, и возвратиться в крепость». Индейцы кочевий отказывались добровольно идти к Россу. Однако, как утверждает Ротчев, «на разговоры с толмачами, всегда отвечали: «Пускай тоен (т. е. Ротчев.—А. И.) придет взять нас». Тогда отряд в 12—15 человек во главе с Ротчевым пробирался к индейским стоянкам и, напад ночью, захватывал и уводил женщин. Мужчины-индейцы присоединялись по пути в крепость. Таких поездок совершалось несколько, в каждой партии приводилось до 100 и более человек. Судя по указанным в источнике расстояниям (несколько дней пути), подобные меры распространялись на индейцев преимущественно отдаленных кочевий, не затрагивая, вероятно, непосредственных соседей Росса. По окончании уборки пригнанные в Росс индейцы отпускались, получив небольшое вознаграждение: несколько ниток бисера, рубашку, иногда одеяло»³⁹.

Данный вид эксплуатации индейцев представлял собой одну из форм распространенных во владениях Компании повинностей «туземного» населения. Своеобразие этой формы (метод привлечения рабочей силы) определялось кочевым (а не оседлым, как на Алеутских островах и Кадьяке) образом жизни коренного населения и его независимостью от русской администрации.

От скудной пищи и тяжелой работы «индейцы приходят под конец в крайнее истощение»,— писал Ф. П. Врангель. Сочувствуя индейцам и настаивая на улучшении их положения, Врангель в то же время беспокоился о сохранении мирных отношений с коренным населением. «Не токмо человеколюбие,— писал он,— но и самое благоразумие требует, чтобы индейцев приласкать более... Само собой разумеется, каковы со временем должны быть последствия подобных поступков с индейцами, и друзей ли мы в них наживаем»⁴⁰. Однако каких-либо серьезных осложнений в русско-индейских отношениях в эти годы не наблюдалось, не считая стычек во время угона индейцев на жатву и случавшихся иногда нападений на скот. Правда, С. Б. Окунь утверждает, что вследствие эксплуататорской политики РАК «в окрестностях Росса неоднократно поднимались восстания индейцев. В восстаниях принимали участие и беглые русские промышленники»⁴¹. Но единственный аргумент, приводимый С. Б. Окунем,— извлечение из донесений (1825 г.), составленное правителем канцелярии РАК в Петербурге декабристом К. Ф. Рылеевым. Там сообщается о восстании в 1824 г. индейцев в испанских миссиях Санта-

³⁷ Цит. по: С. Б. Окунь. Указ. раб., с. 136.

³⁸ J. R. Gibson. Russia in California, 1833. Report of governor Wrangel.— «Pacific Northwest Quarterly», v. 60, № 4, 1969, p. 211.

³⁹ А. Г. Ротчев. Воспоминания русского путешественника о Вест-Индии, Калифорнии и Ост-Индии.— «Пантеон», т. 13, № 2, 1854, с. 103—105.

⁴⁰ Цит. по: С. Б. Окунь. Указ. раб., с. 136. Эксплуатации со стороны компании подвергалось не только коренное, но и пришлое население Русской Калифорнии, в частности русские промышленники, о чем свидетельствует все то же донесение Врангеля. См.: J. R. Gibson. Russia in California, p. 211.

⁴¹ С. Б. Окунь. Российско-американская компания, с. 136.

Барбара, Санта-Инес, Пуриссима (миссии названы не все, но речь идет о них) и о помощи оружием и боеприпасами, которую РАК оказала калифорнийским властям. При этом «по уверениям калифорнийского губернатора, возмущившимися индейцами начальствовал бежавший из Росса промышленник Прохор Егоров»⁴². Указанные миссии расположены на расстоянии многих сотен километров от Росса, и к «индейской политике» РАК это восстание, естественно, отношения не имело. Нет оснований и для утверждений, что Росс «находился под постоянной угрозой полного уничтожения» со стороны «туземного населения»⁴³.

Методы привлечения рабочей силы, практиковавшиеся в 30-е годы в Россе, заставляют вспомнить действия францисканцев⁴⁴. Однако между ними нет полного тождества. Если в Росс индейцы пригонялись лишь на время полевых работ, то угнанные в миссии были обречены на пожизненное пребывание там. В миссиях проводилась политика насильственной аккультурации, разрушения традиционных форм индейской культуры. Контакт с миссиями имел трагические последствия для береговых мивок, от которых в первой четверти XX в. осталась лишь горстка разрозненных представителей прежней этнической общности⁴⁵. Деятельность миссий нанесла большой урон и численности южных помо⁴⁶. Напротив, присутствие русских на этнической территории кашайа может считаться одной из причин, обусловивших сравнительно хорошую сохранность этой группы индейцев⁴⁷. Русская крепость, как щитом, прикрыла кашайа от вторжений испанских отрядов.

Значительный интерес представляют этнические контакты русских и эскимосов с индейцами. Важнейшей формой этих контактов были смешанные браки.

С Аляски в Росс прибывало сравнительно небольшое количество женщин — эскимосок, алеуток, креолок, и значительную часть женского населения Росса составили местные индианки (рис. 2). «... Несколько индианок замужем за кадьяками (Codiagues)», — сообщал в октябре 1816 г. Хервасио Аргуэльо⁴⁸. В донесении от 6 ноября 1817 г. Л. А. Гаге-мейстер отмечает: «Многие из кадьякских алеут, прибывшие в том же 1812 году, имеют уже жен из индианок и по несколько человек детей, чем связи с природными жителями сделались самыми прочными»⁴⁹. «Индейцы сии, — писал прибывший в залив Бodega через год В. М. Головин, — охотно отдают дочерей своих в замужество за русских и алеут, поселившихся у них, и в крепости Росс теперь их много»⁵⁰.

Связи с «туземными» женщинами и метисация в Русской Америке поощрялись. По мнению администрации Компании, это должно было укрепить русское влияние на коренных жителей⁵¹. Метисация, в ходе которой возникла и быстро росла прослойка метисов — «креолов», а также трансплантация на аборигенную почву русской культуры и право-

⁴² Там же.

⁴³ С. Б. Окунь. Русские поселения в Калифорнии в XIX в. — «Уч. зап. ЛГУ, серия истор. наук», № 32, в. 2, Л., 1939, с. 157.

⁴⁴ Ср.: J. R. Gibson. Imperial Russia..., p. 128.

⁴⁵ A. L. Kroeber. Указ. раб., с. 275.

⁴⁶ См.: Sh. F. Cook. The conflict between the California Indian and White Civilization. Berkeley — Los Angeles, 1975, p. 173.

⁴⁷ Ср.: R. L. Oswalt. Kashaya texts. — «University of California Publications in Linguistics» (далее — UCPL); v. 36, Berkeley — Los Angeles, 1964, p. 3, 6. В 1962 г. насчитывалось около 160 чел., принадлежащих к кашайа. Их число быстро росло. Около сотни из них знали родной язык (Там же, с. 3).

⁴⁸ «Observaciones hechas por el Cadete Don Gervasio Argüello en el establecimiento que tienen los rusos como á las 7 leguas al Norte de Bodega». — A. C. Mahr. The visit of the «Rurik» to San Francisco in 1816. Stanford, 1932, p. 116.

⁴⁹ Д. И. Завалишин. Дело о колонии Росс, с. 48.

⁵⁰ В. М. Головин. Указ. раб., с. 176.

⁵¹ См.: С. Т. Федорова. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII в. — 1867 г. М., 1971, с. 186.



Рис. 2. «Жительница залива Румянцева». Художник М. Тиханов, 1818 г. (Музей Академии художеств СССР, Ленинград)

славной религии компенсировали недостаточный приток и малочисленность русского населения в американских владениях России.

Для населения Росса, которое колебалось в пределах нескольких сот человек, характерна пестрота этнического состава. Русские составляли его меньшую часть. Так, согласно написанной рукой И. А. Кускова «Ведомости людей, находящихся в селении и крепости Росс...» (1 июня 1820 г.)⁵², из 219 взрослых жителей русских было 23 (все — мужчины). Для сравнения заметим, что, по данным Ф. П. Врангеля, на 1 июля 1833 г. из 199 взрослых жителей русских было 45 (вместе с детьми соответственно 50 из 293). Согласно «Ведомости» Кускова, из 148 мужчин в Россе в 1820 г. было 3 якута, 5 креолов и 116 кадьякских эскимосов, алеутов и аляскинских индейцев. В дальнейшем, по мере падения значения зверобойного промысла, наблюдается тенденция к снижению удельного веса представителей коренного населения Аляски: в 1833 г. взрослых «алеутов» было 57 (42 мужчины и 15 женщин)⁵³; в 1836 г., по данным И. Вениаминова, среди 260 жителей Росса (очевидно, включая детей) насчитывалось 50 «кадьякских алеутов»⁵⁴.

По реестру Кускова, взрослых женщин в Россе было 71; из них индианок — 42, остальные — кадьякские эскимоски, а также креолки и алеутки. Индианки составляли примерно треть женщин, живших с русскими и креолами, и 72% женщин, живших с коренными жителями Аляски (не включая сюда креолов); индианок «из окружных мест Росса» (ка-

⁵² Приводится по: С. Г. Федорова. Этнические процессы в Русской Америке.— «Национальные процессы в США». М., 1973, с. 167.

⁵³ J. R. Gibson. Russia in California, p. 210.

⁵⁴ E. O. Essig. The Russian settlement at Ross.— «The Russians in California», p. 8.

шайа, юго-западные помо) было 22, «бодегинских» (береговые мивок) — 10 и столько же — «из реки Славянки» (вероятно, южные помо) ⁵⁵.

Росс, таким образом, стал одним из важнейших в Русской Америке центров метисации. О метисах — уроженцах Русской Калифорнии имеется очень мало данных. В 1833 г. в Россе зарегистрировано взрослых креолов и креолок 25, детей-креолов 63, в 1836 г. общая численность креолов достигала 51 ⁵⁶. Значительную их часть, вероятно, составляли креолы местного происхождения ⁵⁷.

По сообщению старого индейца кашайа Г. Джеймса (1950 г.), после продажи Росса Калифорнию вместе с русскими покинули и их индейские жены, а также дети-креолы. Так случилось с кузиной его бабушки — Палакейа (вероятно, русское имя Пелагея), которая, однако, после смерти своего русского мужа вернулась на родину ⁵⁸.

Жившие в Россе индианки приобщались к элементам русской и эскимосской культур и довольно быстро овладевали языками своих мужей. «...Переводчик наш (кадыякский «алеут». — А. И.), — пишет Ф. П. Литке, — который... имеет жену из сего народа, сказывал нам, что она весьма скоро научилась как языку, так и всем работам алеутским» ⁵⁹. В селении береговых мивок Литке ждал сюрприз: «У одной хижины увидел я довольно пригожую молодую женщину, приготовлявшую кушанье, а, подошед к ней, как я удивился, когда она довольно чистым русским языком стала приглашать меня поесть ее кашицы из желудей, потом жаловалась на то, что идет дождь и пр.». Оказалось, индианка некоторое время жила в Россе с русским промысловником ⁶⁰.

По мере вовлечения индейцев в хозяйственную жизнь Русской Калифорнии развивались этнические контакты в сфере производства; индейцы овладевали навыками полевых работ, знакомились с новыми для них формами деятельности, культурными растениями и домашними животными. Среди индейцев получили распространение одеяла, предметы европейской одежды, бисер и т. п. ⁶¹. В их рацион вошла пшеница.

Если удельный вес «алеутов» в населении Росса сокращался по мере падения значения зверобойного промысла, то с развитием в Россе сельского хозяйства близ крепости селятся индейцы. Летом 1828 г. французский путешественник Дюо-Силли отметил близ Росса «конические хижины» 80 индейцев ⁶². В 1833 г. в колонии Росс жило 72 индейца, из них около половины (35) составляли взрослые мужчины ⁶³. Привлеченные, по-видимому, предметами, которые служили платой за работу, и возможностью прокормиться в холодный сезон, индейцы оставались в 30-е годы жить у крепости круглый год, создав здесь постоянное селение ⁶⁴. Некоторые из них крестились. В 1836 г. Вениаминов насчитывал в Россе 39 крещеных индейцев ⁶⁵. В воспоминаниях кашайа прекра-

⁵⁵ С. Г. Федорова. Этнические процессы в Русской Америке, с. 167.

⁵⁶ J. R. Gibson. Russia in California, p. 210; E. O. Essig, Указ. раб., с. 8.

⁵⁷ Возможно, некоторое представление об их облике дает рисунок «Креол Нового Альбиона» русского исследователя И. Г. Вознесенского, побывавшего в Калифорнии в 1880—1841 гг. Впрочем, на рисунке мог быть и «креол» в испаноамериканском значении этого слова, житель Испанской Калифорнии. См. Е. Э. Бломквист. Рисунки И. Г. Вознесенского. — «Сб. Музея антропологии и этнографии», т. 13, М., 1951, с. 241.

⁵⁸ E. W. Gifford. Ethnographic notes on the Southwestern Pomo. — «University of California, Anthropological Records», v. 25. Berkeley — Los Angeles, 1967, p. 5.

⁵⁹ Ф. П. Литке. Дневник, веденный во время кругосветного плавания на шлюпке «Камчатка». — «К берегам Нового света». М., 1971, с. 155.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ P. S. Kostromitonow. Bemerkungen..., S. 82.

⁶² A. Duhaut-Cilly. Voyage autour du monde, principalement a la Californie et aux Iles Sandwich, pendant les années 1826, 1827, 1828, et 1829, t. 2. Paris, 1835, p. 221.

⁶³ J. R. Gibson. Russia in California, p. 210.

⁶⁴ C. P. T. Laplace. Campagne de circum navigation de la Fregate L'Artemise pendant les années, 1837, 1838, 1839 et 1840, t. 6. Paris, 1854, p. 148, 173.

⁶⁵ E. O. Essig. Указ. раб., с. 8.

шение среди индейцев кровной мести совпадает с распространением православия⁶⁶.

Особо следует отметить лексические заимствования береговых мивок и кашайа из русского и эскимосского языков как наиболее отчетливые из сохранившихся до наших дней следов воздействия пришельцев на культуру коренного населения.

Подобные заимствования отмечены уже в словаре П. С. Костромитинова: в языке кашайа — четыре слова из русского языка — *аманы* ('овца')⁶⁷, *тупулу* ('топор', от русск. 'топор'), *паладок* ('платок', от русск. 'платок') и *камзулу* ('куртка', от русск. 'камзол')⁶⁸, а также одно слово из языка кадьяхских эскимосов — *чавык* ('железо'); в языке бодегинских мивок — два русских слова — *ямана* ('овца') и *камзуль* ('куртка') и одно эскимосское — *чавык* ('железо')⁶⁹.

Заимствования из русского языка отметил у кашайа и С. Пауэрс в книге «Племена Калифорнии» (1877). Кашайа, которых Пауэрс называет «Гуа-ла-ла», использовали слова *meluko* ('молоко') и *sooshyo* ('ружье'). Группу индейцев, обитавших вокруг форта Росс, называли *E-rus'-si*⁷⁰. Слова *sooshyo* и *E-rus'-si* ни одним исследователем, кроме Пауэрса, не отмечены.

В начале 1950-х годов попытку определить русское наследие в языке кашайа предпринял американский исследователь русского происхождения А. Ф. Долгополов. Со слов уже упоминавшегося Германа Джеймса Долгополов составил список русских слов, сохранившихся в языке кашайа. В него вошло 37 слов. Девять из них: *молоко*, *пшеница*, *яблоко*, *кошка*, *ложка*, *чулки*, *чашка* (в значении 'посуда'), *чайо* — 'чай', *каве* — 'кофе' — были впоследствии в более точной транскрипции приведены Р. Л. Освальтом. Два слова (*яманы* — 'овцы' и *тополо* — 'топор') были отмечены Костромитиновым (в форме *тупулу* и *аманы*), причем *tu-pu-lu* встречается в одном из текстов кашайа, опубликованных Освальтом (текст 61). Однако восемь слов из списка Долгополова, не считая *каве*, а именно: *табак*, *вино*, *маис*, *рос* — 'рис', *супо* — 'суп', *мула* — 'мул', *пистола* — 'пистолет', а также, вероятно, *дьяволу* — 'дьявол', явно заимствованы не из русского, а из испанского языка (соотв. от *tabaco*, *vinu*, *maiz*, *arroz*, *sopa*, *tulo*, *pistola*, *diablo*). Приведены также слова: *мальчишка*, *девчонка*, *шпонка*, *здорово*, *ничего не знаю*, *порох*, *хмель*, *нос*, *корошо* — 'хорошо', *паскудо* — 'плохой', *хатга* — 'хата', *ого* — 'огонь', *сапату* — 'сапоги', *печка* — 'кирпич', *цивиты* — 'цветы', *водки* — 'водка', *имех* — 'мех', *иичо* — 'яйцо'⁷¹. Принадлежность некоторых из этих слов к заимствованным представляется спорной. Материал Долгополова еще ждет оценки лингвистов.

В 1958 г. американский лингвист Р. Л. Освальт опубликовал материалы полевых исследований, проведенных в 1957 г. с целью выделения заимствований из русского языка в языке юго-западных помо (ка-

⁶⁶ R. L. Oswalt. Указ. раб., с. 259.

⁶⁷ *Яман* (*еман*, *иман*), мн. ч. *яманы* — в русских народных говорах Сибири — 'козел' (домашний или дикий); заимствовано из языков монгольской группы. — «Словарь русских народных говоров», в. 8. М. — Л., 1972, с. 354; в. 12. Л., 1977, с. 188; «Словарь русских народных говоров Новосибирской области». Новосибирск, 1979, с. 146, 203, 605. В Русской Америке слово *яман* встречается в источниках и значении 'дикий баран' ('козел') и 'домашний баран'.

⁶⁸ Ф. Л. О. Рериг считал, что это слово, так же как и *камзуль* у мивок, происходит от испанск. *camisola*. См. S. Powers. Tribes of California. Washington, 1877, p. 517, 558. Однако и *камзуль*, и *камзулу* много ближе к русск. *камзол*.

⁶⁹ P. S. Kostromitonow. Wörter..., S. 251. *Чавык* прочно вошло в язык бодегинских мивок, так же как и другое эскимосское слово (в свою очередь заимствованное от русск. «кошка» — *kuskak*. См.: С. А. Callaghan. Bodega Miwok dictionary (UCPL, v. 60). Berkeley — Los Angeles, 1970, p. 12, 42.

⁷⁰ S. Powers. Указ. раб., с. 186, 194.

⁷¹ А. Долгополов. Русские индейцы. — «Новая заря». Сан-Франциско, 13 сентября, 1952 г.

шайа)⁷². Было обнаружено 12 слов: *kuška* ('кошка'), *loška* ('ложка'), *mišuk* ('мешок'), *šinitča* ('пшеница'), *molokko* ('молоко')⁷³, *ča-yu* ('чай'), *čaška* ('посуда', от «чашка»), *pa-rus* ('парус'), *ya-palka* ('яблоко'), *ču-ki* ('чулки'), *kulučičta* ('дикая горчица', от *kulu* — 'лесной, дикий' и русск. [гор]чица), а также *kafey* (как считает Освальт, либо от разговорной формы *кофей*, либо от испанского *café*). От *čaška* образовано слово *čaškahča* ('шкаф для посуды', 'буфет'). Кроме того, три русских слова перешли из языка юго-западных помо (кашайа) в язык центральных помо, в постоянные контакты с русскими не вступавших. Это *loška*, *ča-yu* и *pa-rus*. Наконец, было обнаружено одно заимствование из алеутского языка — *kalikak* ('письмо, книга'), от алеут. *kalikaq* ('бумага', 'письмо', 'пакет')⁷⁴.

Кроме того, У. Брайт приводит со ссылкой на Р. Л. Освальта слово из языка юго-западных помо (кашайа) *kulúwet*^h ('скот') как вероятное заимствование из русского (от «корова») ⁷⁵.

Сходство форм некоторых из этих слов с формами русских заимствованных слов в языке аляскинских эскимосов, список которых был составлен Л. Л. Хаммерихом⁷⁶, дает основание предполагать, что не только *kušak* у бодегинских мивок, но и *turu-lu*, *mišuk*, *kulúwet*^h, *kuška*, и, может быть, еще несколько слов у кашайа были не прямым заимствованием из русского языка, а перешли в язык кашайа через эскимосский или во всяком случае формы этих слов испытали влияние эскимосской речи.

Ставился вопрос и об обратных заимствованиях — из языков калифорнийских индейцев в язык русских поселенцев. Сюда относят слово *чага* ('один из видов сосны') и *ишкат* ('плетеная корзина')⁷⁷. Однако как обычные, давно бытующие в русских колониях, эти слова — *чага* и *ишкат* — встречаются в сочинении Ю. Ф. Лисянского⁷⁸, посетившего Русскую Америку в 1804 г., за несколько лет до установления контактов с индейцами Калифорнии. Указанные слова, таким образом, имеют явно некалифорнийское происхождение.

Значительный интерес представляют сохранившиеся в среде кашайа воспоминания о русских. Фиксация этих воспоминаний началась довольно поздно — примерно спустя столетие после продажи Расса, когда уже не было в живых непосредственных свидетелей русско-индейских контактов. Так, в 30-х годах XX в. были записаны предания о том, что во время пребывания здесь русских у юго-западных помо был вождь по имени «Тойон»⁷⁹. В сентябре 1958 г. Р. Л. Освальт зафиксировал расска-

⁷² Первым откликом в советской литературе на публикацию Р. Л. Освальта была, по-видимому, статья С. Р. Варшавского (С. Р. Варшавский. Неизгладимый след. Русские слова в языке калифорнийских индейцев. — «Русская речь», 1968, № 3). К сожалению, ряд транскрипций в статье воспроизведен неточно.

⁷³ Слово заимствовано с диалектным «оканьем», что, вероятно, отражает особенности языка русских поселенцев в Америке: большинство из них — выходцы из Сибири и европейского Севера России.

⁷⁴ R. L. Oswalt. Russian loanwords in Southwestern Pomo. — «International Journal of American Linguistics», v. 24, № 3, 1958, p. 245—247. О происхождении слова *kalikak* см. D. S. Worth. Russian kniga, Southwestern Pomo *kalikak*. — «International Journal of American Linguistics», v. 26, № 1, 1960, p. 62—66.

⁷⁵ W. Bright. Animals of acculturation in the California Indian languages (UCPL, v. 4, N 4). Berkeley — Los Angeles, 1960, с. 222; слово *кулуат* — 'бык' отмечено в кашайа еще Костромитиновым. — P. S. Kostromitonow. Wörter..., S. 251.

⁷⁶ L. L. Hammerich. The Russian stratum in Alaskan Eskimo. — «Slavic Word», 1954, № 3 («Word», v. 10, № 4, 1954), p. 408—413.

⁷⁷ П. М. Кожин. Этногеографические наблюдения И. Г. Вознесенского в Калифорнии. — «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», в. 7, Л., 1977, с. 70.

⁷⁸ Ю. Ф. Лисянский. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на корабле Нева, ч. II. СПб., 1812, с. 54, 147, 176, 188, 201.

⁷⁹ См.: F. B. Kniffen. Pomo geography. — UCRAE, v. 36, № 6. Berkeley, 1939, p. 384; O. C. Stewart. Notes on Pomo ethnogeography. — UCRAE, v. 40, № 2. Berkeley — Los Angeles, 1943, p. 50.

зы о русских упоминавшегося выше старого индейца-кашайа Германа Джеймса (р. 1882). Эти рассказы вместе с преданиями, сказками и мифами он услышал в детстве от своей бабки — индианки из Метини, крещенной в Россе и носившей имя Лукария (русс. Лукерья). Она была непосредственной свидетельницей деятельности русских в Калифорнии. Умерла Лукария в 1908 г.⁸⁰ Таким образом, несмотря на полуторавековый промежуток, воспоминания о Россе дошли до исследователей всего лишь из вторых уст. Эти воспоминания представляют собой ценный (хотя и не вполне надежный) источник и в то же время дают уникальную возможность взглянуть на историю Русской Калифорнии глазами индейцев.

В своих рассказах Г. Джеймс полагает, что сначала русские приплыли в Калифорнию, а уже потом открыли на севере Ледовую страну (Аляску). Он отмечает факт экономической перестройки Росса — возрастание роли земледелия, падение значения зверобойного промысла. По словам Г. Джеймса, сначала «люди из-под моря»⁸¹ только охотились на выдру. При этом время от времени у них истощались запасы пищи и они голодали. Затем они перешли к другому занятию: стали заниматься только земледелием — сеяли пшеницу. Описаны процессы жатвы, обмолота, помола. В памяти Лукарии и Германа Джеймса особенно запечатлелись события, связанные с необычной смертью, наказаниями и т. п. Так, в тексте 63 рассказывается о смерти двух юношей (из числа пришельцев), которые замерзли в Шохка (близ устья Славянки), где они собирали погибших во время шторма птиц. В текстах 61 и 62 сообщаются сведения о применявшихся в Россе наказаниях: виновных в тяжких преступлениях брали под стражу и по указанию администрации секли (иногда до смерти). Подобным образом, по рассказам Г. Джеймса, был наказан человек, ударивший жену топором, а также другой человек (русский или «алеут») за то, что довел свою жену-индианку до самоубийства⁸².

В целом, основываясь на рассказах стариков, Герман Джеймс был о русских высокого мнения⁸³.

В настоящее время крепость Росс является историческим памятником. На церемонии в честь ее восстановления после пожара, в июне 1974 г. выступил вождь кашайа Аллен Джеймс, который, как сообщалось, рассказал о жизни индейцев во время пребывания в Калифорнии русских⁸⁴.

THE ROSS SETTLEMENT AND THE CALIFORNIA INDIANS

The paper deals with the problem of Russian-Indian contacts in California (the Fort Ross district, 1807 to 1841). The author examines the underlying conditions and the nature of the relations that grew up between the Indians and the inhabitants of Ross, the Russian administration's «Indian policy», the forms in which the aboriginal population was exploited by the Russian-American Company. Ethnic contacts between the alien population of Russian California (Russians and Eskimos) and the California Indians are closely examined. A summary is given of data on Russian loanwords in Kashaya (Southwestern Pomo).

⁸⁰ R. L. Oswalt. Kashaya texts, p. 9.

⁸¹ В языках кашайа и бодегинских мивок существуют особые названия для русских, отличные от названия американцев. Русских (а также все пришлое население Росса) Герман Джеймс называет словом *ahq'a uôw bak'he ya*, отмеченным в свое время Костромитиновым в языке кашайа как *ахкебакеа* (в значении 'русский'). Указанное слово Р. Л. Освальт переводит как 'undersea person', 'person from under the sea' — 'человек из-под моря'.

⁸² R. L. Oswalt. Kashaya texts, p. 253—277.

⁸³ Y. D. Haase. The Russian-American Company in California. MS, Berkeley, 1952, p. 197.

⁸⁴ А. Долгополов. Поездка на возрожденный Форт Росс. — «Родные дали». Лос-Анджелес, 1974, июль, № 244.

В. П. Алексеев

НОВЫЕ ДАННЫЕ К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕСОПОТАМИИ

Осенью 1977 г. автор как участник советско-американского симпозиума, посвященного взаимодействию культур¹, имел возможность посетить Чикаго и благодаря любезности заведующего Отделом антропологии Музея Филда Дж. Ван-Стоуна работать в краниологическом хранилище этого отдела над различными коллекциями. Наряду с прочими сериями были измерены черепа из Киша, полученные при раскопках этого древнего города в 1923—1926 гг. из могильника, обозначенного как кладбище А и широко известного под этим обозначением в литературе². Черепа эти впервые были описаны Л. Бакстоном и Д. Райсом³ и неоднократно использовались в сравнительных целях для характеристики антропологических особенностей древнего населения Передней Азии⁴. Кладбище А было отнесено ко времени четвертой династии Киша и датировано 2900—2800 гг. до н. э. Эта дата была повторена и в нашей литературе⁵. Однако в дальнейшем в связи с «сокращением» хронологии возраст кладбища А был «омоложен», и сейчас оно датируется 2500—2400 гг. до н. э.⁶

Программа моей работы состояла в измерении углов и других элементов горизонтального и вертикального профиля. Оба угла горизонтального профиля — назомаллярный и зигомаксиллярный — были измерены с помощью координатного циркуля. Им же были измерены дакриальные и симотические размеры. Угол носовых костей к линии лицевого профиля при отсутствии у меня штатива для укрепления черепа во франкфуртской горизонтали был измерен проекционно. Это означает, что общий угол лицевого профиля и угол выступления носовых костей измерялись по отношению к одной и той же, безразлично какой, плоскости и искомый размер определялся как разность между ними⁷.

Полученные результаты представлены в табл. 1, 2, которые содержат не только средние по серии, но и индивидуальные данные. При слабой

¹ О симпозиуме см. *И. С. Гурвич*. Советско-американское сотрудничество в области изучения взаимодействия аборигенных народов и культур Северной Сибири и Северной Азии. — «Сов. этнография», 1978, № 6.

² *E. Mackay*. Report on the excavation of the «A» cemetery at Kish Mesopotamia. — «Field Museum of Natural History Anthropological Memoirs», v. 1, № 1, 2, Chicago, 1929.

³ *L. Buxton, D. Rice*. Report on the human remains at Kish. — «Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», v. LXI, 1931.

⁴ См., например, *C. Coon*. The races of Europe. N. Y., 1939.

⁵ *Т. А. Трофимова*. Краниологические материалы из античных крепостей Калалыгыр 1 и 2. — «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. II. М., 1958.

⁶ *E. Porada*. The relative chronology of Mesopotamia, pt I. Seals and trade (6000—1600 B. C.). — «Chronologies in Old World Archaeology». Chicago — London, 1965.

⁷ Описание измерений см. *В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебеч*. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М., 1964.

Горизонтальный профиль и выступание носа у мужских черепов из Кини

Инвентарный номер	43 (1). Бюрогидральная хорда	Low sub. Высота назона над ней	77. Назомаларный угол	Зигмаксиллярная хорда ($zm' - zm'$)	Высота субназона над ней	Зигмаксиллярный угол ($zm' - zm'$)	DS. Дакриальная хорда	DS. Дакриальная высота	DS:DC. Дакриальный указатель	SC. Симметрическая хорда	SS. Симметрическая высота	SS:SC. Симметрический указатель	75 (1). Угол носовых костей к линии профиля
192346	97,5	17	141	94	20,5	133	20,7	10,4	50,2	3,0	4,3	47,8	27?
192356	93,5?	22,5?	129?	—	—	—	20,3	13,9	68,5	10,2	4,8	47,1	29
192357	93	20	133	90,5	28,5	115	20,1	8,3	41,3	9,1	1,5	16,5	31
192381	97,5	19,5	136	101	24	129	18,8	14,5	77,1	8,1	4,5	55,6	49
192382	94,5	21	132	89	24	123	—	—	—	—	—	—	—
192761	106,5	16	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192762	97,5	19	137	96	24,5	126	20,7	10,5	50,7	10,1	4,2	41,6	28
192937	96,5	16	143	97	20,5	134	17,7	13,2	74,6	9,6	6,3	65,6	40
192938	97	18	139	89,5	22,5	126	17,6	14,4	81,8	7,7	4,0	51,9	30
192939	94,5	20	134	102	29	120	—	—	—	—	—	—	—
192942	—	—	—	—	—	—	19,7	12,7	64,5	9,2	4,9	53,3	36
192943	92,5	15	144	—	—	—	20,5	10,8	52,7	12,9	5,3	41,1	29
192947	88,5	18	136	84	20,5	127	20,2	12,2	60,4	10,1	4,0	39,6	37?
192949	101,5	22,5	132	98,5	23	130	24,6	13,9	56,5	10,8	4,8	44,4	23
192954	101,5	18,5	140	96	18?	139?	25,0	10,0	40,0	10,6	3,0	28,3	—
192955	96	17	141	85	23,5	122	18,2	13,2	72,5	13,3	6,4	48,1	22?
192955*	98,5	20,5	134	94,5	23	128	20,9	12,6	60,3	9,1	4,0	44,0	26
$\bar{x}$	96,5	18,8	137,3	93,6	23,2	127,1	20,4	12,2	60,8	10,0	4,4	44,6	31,3

* Под этим номером хранятся два черепа.

Таблица 2

Горизонтальный профиль и выступание носа у женских черепов из Кипса

Инвентарный номер	43 (1). Бюрог- ральная хорда	<i>Jonc sub.</i> Высота назона над ней	77. Назо- мальный угол	Зигмак- силлярная хорда ($zm' - zm'$)	Высота субспина- ле над ней	Зигмак- силлярный угол ($zm' -$ $ss - zm'$)	DC. Дак- риальная хорда	DS. Дак- риальная высота	DS/DC. Дакриаль- ный указатель	SC. Симо- тическая хорда	SS. Симо- тическая высота	SS/SC. Симости- ский указатель	75 (1). Угол носовых костей к линии профиля
192354	94	16,5	144	—	—	—	20,3	13,9	68,5	10,2	5,7	55,9	—
192369	103	20	137	93,5	25,5	122	23,1	12,2	52,8	11,6	4,7	40,5	25?
192380	96	18,5	138	85,5	23,5	122	16,2	11,4	70,4	10,4	5,8	55,8	23?
192395	97	18,5	138	—	—	—	21,6	12,7	58,8	12,7	3,4	26,8	32
192455	96	18,5	138	—	—	—	22,6	11,0	48,7	11,3	4,2	37,2	—
192609	94,5	19	136	87	21,5	127	18,7	11,7	62,6	11,3	4,9	43,4	20
192638	92	21,5	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192778	97	17	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192789	89	14	145	91	19	135	17,2	11,3	65,7	7,4	5,5	74,3	34
192935	89,5	14,5	144	93	27,5	119	16,5	10,7	64,9	8,4	4,7	56,0	34
192936	91,5	18,5	136	—	—	—	17,4	10,9	62,6	7,8	3,1	39,7	26
192941	94	21	132	91?	25	122	21,2	13,2	62,3	12,0	5,8	48,3	19?
192943	92	20	133	86	24,5	120	18,8	13,0	69,2	7,4	3,7	50,0	36
192945	96,5	22	131	83,5	26	116	19,6	13,1	66,8	12,0	5,2	43,3	25
192946	93	16,5	141	90	26	120	16,1	12,2	75,8	9,4	4,2	44,7	29
192950	90,5	18	137	96	28	119	18,7	12,2	65,2	5,4	3,1	57,4	29
192952	83	17	135	82	26	115	17,3	12,4	71,7	8,7	4,4	50,6	34
192959	96	18,5	138	87,5	22,5	125	19,5	11,4	58,5	10,3	3,3	32,0	29
192961	95	21	132	90	27,5	117	18,8	11,8	62,8	9,2	3,9	42,4	32
$\bar{x}$	94,0	18,4	137,0	88,9	24,8	121,5	19,0	12,1	64,0	9,7	4,4	47,0	28,5

выраженности полового диморфизма в серии (что характерно для многих серий эпохи энеолита и бронзы из южных районов Европы, Передней и Средней Азии) и отсутствия в подавляющем большинстве случаев костей скелета, в первую очередь наиболее важных для определения половой принадлежности тазовых костей установить, представителю какого пола принадлежит тот или другой череп, было трудно, но я при этом старался следовать масштабу оценки, выработанному в процессе многолетней предшествующей работы. Вычисленные средние по отдельным признакам показывают, что выбранный масштаб близко соответствует действительности, так как разница между вариациями на мужских и женских черепах мало отличается от обычно наблюдаемой⁸. Единственное исключение составляет дакриальный указатель, величина которого больше в женской серии, чем в мужской, что не соответствует обычному направлению половых различий. Но такие отклонения в единичных признаках встречаются довольно часто, особенно в древних сериях, что объясняется, по-видимому, малым числом наблюдений, случайностью выборки и другими побочными причинами, не имеющими связи с биологической изменчивостью.

Каков возможный масштаб для оценки полученных результатов, т. е. каковы географические и хронологические рамки, в пределах которых мы должны сравнивать вариации горизонтального и частично вертикального профиля на черепах из Киша с аналогичными особенностями других серий? Во многом границы определяются набором признаков в публикуемых программах; следует учитывать, что в работах западноевропейских специалистов отсутствуют данные в вариациях горизонтального профиля и выступления носовых костей. Для серии из Киша сравнительные географические рамки должны охватывать ареал южной или средиземноморской ветви европеоидов, практически территорию Причерноморья, Кавказа и Средней Азии; хронологические рамки — эпоху энеолита и бронзы. Исключение сделано только для серии египтян XXVI—XXX династий из Гизы, относящейся к VI—II вв. до н. э. Это единственный материал с территории Северной Африки среди синхронных Кишу и более поздних серий, по которому есть информация о строении лицевого профиля.

Сводка данных представлена в табл. 3, 4. Материалом для них послужила конкретная информация из работ по палеоантропологии Молдавии⁹, Кавказа¹⁰ и Средней Азии¹¹. Данные по строению горизонтального профиля и выступанию носовых костей у черепов из Гизе были опубликованы У. Хауэллсом¹². Наконец, черепа из Тепе-Гиссара были измерены Г. Ф. Дебецом в Филадельфии во время пребывания в США в 1956 г., но результаты этих измерений, сразу после его возвращения из США предоставленные автору данной статьи для ознакомления, остались неопубликованными.

Чтобы избавиться от субъективной оценки близости вариаций отдельных признаков, необходим какой-то статистический или графический способ сравнения. Целесообразно, как я уже это делал в предыдущих работах¹³, выразить вариации по каждому признаку в процентах

⁸ Вычисленные Г. Ф. Дебецом коэффициенты полового диморфизма для разных признаков см. В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебеч. Указ. раб.

⁹ М. С. Великанова. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М., 1975. Там же и сравнительные данные о черепах из Риссе.

¹⁰ В. П. Алексеев. Происхождение народов Кавказа (краниологическое исследование). М., 1974.

¹¹ В. В. Гинзбург, Т. А. Трофимова. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972; Т. К. Ходжайов. Антропологический состав населения эпохи бронзы Сапаллитепе. Ташкент, 1977.

¹² I. W. Howells. Cranial variation in man. A study by multivariate analysis of patterns of difference among recent human populations. Cambridge, Mass., 1973.

¹³ Первое описание метода: В. П. Алексеев. Краниологические материалы к проблеме происхождения восточных латышей. — «Сов. этнография», 1961, № 6.

Горизонтальный профиль и выступание носа у мужских

Признаки	Риссе (Болгария)	Выхватинцы (Молдавия)	Старые Бедрожы (Молдавия)	Калфа (Молдавия)	Самтавро (Грузия)	Лчашен (Армения)	Гинчи (Дагестан)
77. Назомалярный угол	—	137,0 (4)	136,9 (7)	138,6 (5)	133,7 (10)	136,1 (62)	135,4 (12)
Зигомаксиллярный угол ($zm' - ss - zm'$)	—	123,1 (2)	121,0 (6)	122,1 (1)	122,7 (5)	121,3 (56)	122,3 (11)
DS. Дакриальная высота	—	13,6 (3)	12,8 (4)	14,3 (2)	15,7 (1)	13,8 (57)	13,3 (12)
DS:DC. Дакриальный указатель	—	64,7 (3)	61,5 (4)	84,5 (2)	76,9 (1)	67,0 (57)	63,3 (12)
SS. Симотическая высота	—	4,7 (3)	5,9 (5)	5,5 (4)	5,9 (7)	5,7 (56)	6,3 (14)
SS:SC. Симотический указатель	—	58,9 (3)	63,8 (5)	73,0 (4)	62,3 (7)	60,3 (56)	70,8 (14)
75 (1). Угол носовых костей к линии профиля	33,2 (13)	38,0 (1)	30,6 (5)	32,0 (4)	32,2 (4)	35,0 (48)	37,0 (13)

* Индекс средних.

Горизонтальный профиль и выступание носа у женских

Признаки	Выхватинцы (Молдавия)	Старые Бедрожы (Молдавия)	Калфа (Молдавия)	Самтавро (Грузия)	Лчашен (Армения)	Гинчи (Дагестан)	Кара-депе (Туркмения)
77. Назомалярный угол	133,7 (3)	140,1 (8)	140,5 (4)	137,7 (9)	137,9 (22)	138,5 (2)	136,9 (12)
Зигомаксиллярный угол ($zm' - ss - zm'$)	123,3 (2)	125,9 (9)	131,1 (3)	122,2 (6)	120,1 (17)	120,0 (1)	126,1 (13)
DS. Дакриальная высота	12,6 (1)	12,7 (4)	13,5 (2)	11,3 (3)	11,5 (9)	11,3 (2)	11,7 (11)
DS:DC. Дакриальный указатель	64,9 (1)	57,1 (4)	58,5 (2)	56,3 (3)	60,9 (19)	54,8 (2)	55,9 (11)
SS. Симотическая высота	4,5 (1)	4,5 (6)	4,9 (2)	4,5 (7)	4,3 (20)	4,2 (2)	4,6 (11)
SS:SC. Симотический указатель	38,1 (1)	48,6 (6)	56,7 (2)	51,0 (7)	51,7 (20)	57,8 (2)	42,6 (11)
75 (1). Угол носовых костей к линии профиля	32,0 (1)	25,8 (4)	31,0 (2)	36,0 (3)	29,7 (15)	28,0 (1)	25,8 (10)

* Индекс средних.

расстояния между эвенками как наиболее монголоидной группой¹⁴ и армянами как наиболее европеоидной¹⁵. Однако при многочисленности сравниваемых групп (16 групп из восточных районов Средиземноморья, по которым есть более или менее полные данные, и в добавление к ним серия из Киша) график будет перегружен деталями и трудночитаем. Поэтому в пределах сравниваемых групп на график нанесены лишь минимумы и максимумы (отвлекаясь, конечно, от вариаций, поставленных одним или двумя измерениями), образуя диапазон изменчивости по каждому признаку. По отношению к этому диапазону на графике продемонстрировано положение черепов из Киша. Сравнение осуществлено отдельно для мужских и женских черепов.

¹⁴ Данные о черепах см. Г. Ф. Дебец. Антропологические исследования в Камчатской области.— «Тр. Ин-та этнографии АН СССР», т. XVII. М., 1951.

¹⁵ Данные опубликованы в работе: В. П. Алексеев. Происхождение народов Кавказа.

Таблица 3

черепов из восточных районов Средиземноморья

Кара-дате (Туркмения)	Геоксюр (Туркмения)	Алтын-депе (Туркмения)	Сапалитипа (Узбекистан)	Джаркутан (Узбекистан)	Тигровая Балка и Макони-Мор (Таджикистан)	Ранний Тулхар (Таджикистан)	Теле-Гиссар II (Иран)	Теле-Гиссар III (Иран)	Гизе (Египет)
134,2 (15) 126,0 (14)	135,9 (31) 126,5 (31)	139,1 (9) 125,3 (7)	135,6 (20) 122,9 (15)	137,6 (34) 126,7 (32)	135,6 (13) 122,4 (14)	133,6 (5) 127,7 (4)	133,3 (5) 126,7 (5)	135,3 (61) 124,3 (63)	137,4 (58) 125,3 (58)
13,4 (7) 59,8 (7)	13,8 (21) 62,6 (21)	12,5 (6) 59,8 (6)	15,3 (10) 72,1 (10)	12,6 (35) 60,2 (35)	— —	— —	11,6 (5) 54,3*	12,6 (53) 59,1*	11,6 (58) 55,5*
5,5 (6) 51,6 (6)	5,7 (28) 60,4 (28)	5,2 (9) 65,4 (10)	6,1 (17) 59,1 (17)	5,5 (42) 69,8 (42)	5,3 (15) 65,0 (15)	6,2 (5) 71,4 (5)	5,0 (5) 51,1*	4,7 (58) 47,8*	4,7 (58) 46,8*
31,4 (9)	31,8 (26)	34,7 (6)	34,1 (14)	31,6 (40)	35,8 (15)	39,6 (5)	—	—	—

Таблица 4

черепов из восточных районов Средиземноморья

Геоксюр (Туркмения)	Алтын-депе (Туркмения)	Сапалитипа (Узбекистан)	Джаркутан (Узбекистан)	Тигровая Балка и Макони-Мор (Таджикистан)	Ранний Тулхар (Таджикистан)	Теле-Гиссар II (Иран)	Теле-Гиссар III (Иран)	Гизе (Египет)
137,9 (26) 123,4 (26)	140,0 (5) 120,8 (4)	135,0 (23) 121,3 (22)	137,6 (55) 125,8 (43)	138,0 (14) 126,8 (15)	141,5 (5) 128,2 (4)	135,2 (7) 121,7 (7)	136,0 (34) 124,1 (34)	139,0 (53) 125,7 (53)
12,2 (16) 58,6 (16)	12,6 (1) 83,4 (1)	12,7 (19) 62,4 (14)	11,7 (52) 54,8 (52)	— —	— —	12,2 (7) 59,6*	12,1 (34) 60,3*	11,3 (53) 56,5*
5,1 (28) 57,9 (28)	4,9 (3) 62,6 (3)	5,2 (24) 47,4 (17)	4,7 (64) 47,8 (64)	4,5 (18) 56,2 (18)	3,9 (6) 47,1 (6)	3,8 (7) 42,0*	4,0 (34) 44,0*	3,9 (53) 39,4*
29,1 (24)	34,7 (3)	32,5 (25)	30,0 (65)	33,7 (16)	30,3 (3)	—	—	—

Первый вывод, который вытекает из графического сопоставления (рис. 1, 2), состоит в том, что в древних популяциях по сравнению с современными наблюдается более широкая амплитуда изменчивости. В сравнение, как указывалось, включены серии лишь из Восточного Средиземноморья, но и внутри них вариации изменчивости составляют примерно половину изменчивости в пределах современных европеоидов и монголоидов. Это обстоятельство лишнее раз свидетельствует о недостаточности отклонений даже по комплексу признаков, чтобы констатировать примесь инородного элемента в той или иной группе. Опираясь на такие отклонения в отдельных сериях из восточных районов Средиземноморья (Старые Бедражи, Гизе) по сравнению с другими древними сериями и современными армянами, можно было бы и в их составе фиксировать наличие монголоидной примеси, подобно тому как это неоднократно делалось по отношению к древнему населению Восточной Европы и северной полосы Восточноевропейской равнины.

Второе, что обращает на себя внимание: серия из Киша целиком попадает в границы вариаций серий из восточных районов Средиземно-

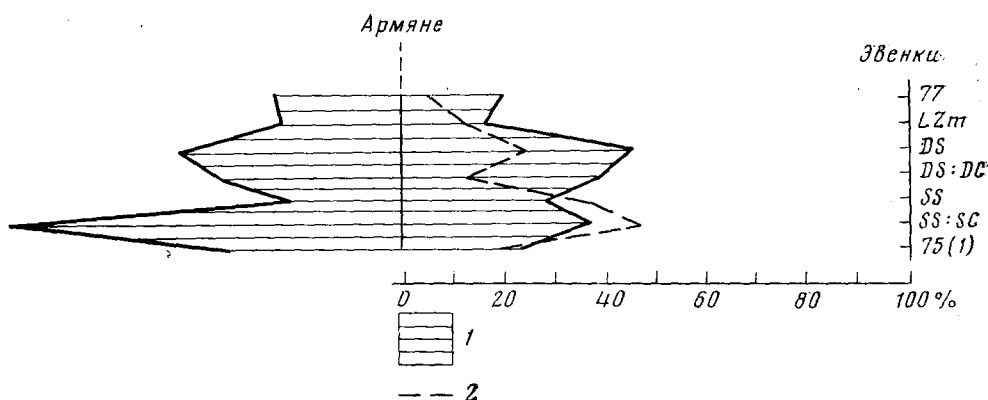


Рис. 1. Положение серии из Киша по отношению к другим сериям из районов Восточного Средиземноморья. Мужские черепа. 1 — размах изменчивости в пределах восточносредиземноморских серий, 2 — серия из Киша

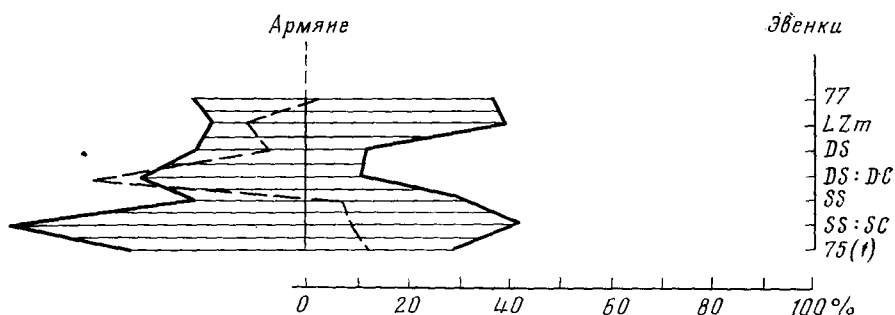


Рис. 2. Положение серии из Киша по отношению к другим сериям из районов Восточного Средиземноморья. Женские черепа. Обозначения те же, что и на рис. 1

морья, обнаруживая при этом известную несогласованность при сравнении мужских и женских групп: мужские черепа близки по всем признакам к минимуму в выраженности европеоидных особенностей, женские черепа, наоборот, отклоняются по половине взятых для сравнения признаков в сторону максимума. Разумеется, эта кажущаяся несогласованность никак не свидетельствует ни о разной примеси каких-то иных по происхождению элементов в мужской и женской половинах популяции из Киша, ни тем более о разном происхождении мужчин и женщин. Видимо, мы имеем в данном случае дело со случайным распределением локальной изменчивости.

Каково положение всех сравниваемых серий по суммарному показателю, вычисленному как средняя из процентных характеристик каждого признака? Иными словами, каково положение всех сравниваемых серий в масштабе армяне — эвенки? А. Г. Козинцев привел некоторые соображения в пользу ограниченности возможностей использования суммарных способов статистического сопоставления, в частности в случае отсутствия межгрупповой корреляции между признаками, включенными в подсчет при сопоставлении¹⁶. Не обсуждая эти соображения по существу, отмечу, что вариации горизонтального профиля и выступления носовых костей связаны в пределах Северной Евразии значительной

¹⁶ А. Г. Козинцев. Систематизация по общему сходству в этнической антропологии. — «Типы в культуре». Л., 1979.

межгрупповой корреляцией¹⁷. В какой-то мере этот вывод можно экстраполировать, по-видимому, и на рассматриваемую территорию. В дополнение к сказанному приведем суммарный процентный показатель для всех фигурирующих в табл. 1 серий по семи признакам (мужские черепа).

Ранний Тулхар	—25,6
Самтавро	—24,3
Гинчи	—18,4
Сапаллитепа	—18,4
Калфа	—17,8
Тигровая Балка и Макони-Мор	—12,8
Лчащен	—11,1
Старые Бедржи	—9,0
Выхватинцы	—4,1
Геоксюр	—2,8
Кара-депе	5,7
Джаркутан	7,2
Тепе-Гиссар III	13,6
Алтын-депе	15,6
Киш	16,0
Тепе-Гиссар II	16,9
Гизы	24,2

Из приведенного перечня видно, что серии не образуют «скоплений» и выбранный нами суммарный коэффициент демонстрирует отчетливо выраженную клинальную изменчивость. Повторяется ли эта картина в вариациях суммарного коэффициента среди женских серий? Приводим данные к нему для женских серий, фигурирующих в табл. 2.

Алтын-депе	—36,5
Сапаллитепа	—17,2
Геоксюр	—8,5
Выхватинцы	—7,7
Киш	—4,2
Калфа	—4,1
Тигровая Балка и Макони-Мор	—4,1
Лчащен	—3,7
Самтавро	—3,5
Гинчи	1,3
Тепе-Гиссар II	1,8
Тепе-Гиссар III	2,1
Джаркутан	6,2
Старые Бедржи	6,9
Кара-депе	11,2
Гизы	17,9
Ранний Тулхар	19,0

Мы видим, что и среди женских серий наблюдается клинальная изменчивость и отсутствуют какие-либо сгустки серий, разделяющиеся разрывами в величине суммарного коэффициента. Пожалуй, единственное исключение составляют черепа из Алтын-депе, у которых острота горизонтального профиля и выступание носовых костей доведены до крайней степени. На мужских черепах из данной серии эти особенности незаметны. На женских черепах европеоидные особенности преувеличенно выражены за счет случайных сдвигов в малочисленной серии и огромной величины дакриального указателя, определенного лишь на одном черепе.

Нельзя не отметить, что характер распределения вариаций внутри двух приведенных рядов цифр демонстрирует отсутствие параллелизма

¹⁷ См., например, Г. Ф. Дебец. О путях заселения северной полосы Русской равнины и Восточной Прибалтики.— «Сов. этнография», 1961, № 6; его же. Опыт краннометрического определения доли монголоидного компонента в смежных группах населения СССР.— «Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии». М., 1968.

Таблица 5.

Средние размеры и указатели черепов из Киша и Тепе-Гиссара

Признаки	Киш		Тепе-Гиссар II		Тепе-Гиссар III	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
1. Продольный диаметр	189,5 (25)	178,3 (4)	188,8 (9)	178,3 (7)	188,9 (86)	181,2 (50)
8. Поперечный диаметр	137,4 (25)	131,8 (4)	132,0 (9)	132,1 (7)	134,3 (85)	132,0 (50)
17. Высотный диаметр (<i>ba-br</i>)	132,7 (9)	140,5 (2)	134,8 (8)	129,9 (7)	135,4 (75)	128,8 (48)
5. Длина основания черепа	—	—	102,6 (8)	96,4 (7)	102,8 (75)	97,5 (47)
9. Наименьшая ширина лба	94,7 (26)	92,3 (4)	94,2 (9)	91,7 (7)	95,6 (86)	92,9 (50)
12. Ширина затылка	107,8 (18)	95,3 (3)	—	—	—	—
45. Скуловая ширина	125,3 (7)	110,0 (1)	125,3 (8)	116,2 (5)	128,3 (74)	121,8 (44)
48. Верхняя высота лица	75,3 (3)	62,0 (1)	70,3 (9)	69,0 (7)	70,2 (87)	66,8 (49)
51. Ширина орбиты от <i>mf</i>	41,5 (10)	37,0 (1)	41,0 (8)	38,7 (7)	41,5 (82)	40,1 (49)
52. Высота орбиты	34,0 (11)	34,4 (1)	31,6 (9)	30,7 (7)	32,1 (83)	31,7 (49)
54. Ширина носа	23,8 (4)	30,5 (1)	25,1 (9)	23,7 (7)	25,4 (80)	24,5 (46)
55. Высота носа	57,0 (3)	49,5 (1)	50,4 (9)	48,3 (7)	50,8 (83)	48,5 (47)
72. Общий лицевой угол	—	—	85,9 (9)	87,0 (7)	86,2 (80)	86,0 (49)
8:1. Черепной указатель	71,5 (24)	74,2 (4)	69,9*	74,1*	71,1*	72,8*
48:45. Верхний лицевой указатель	63,0 (2)	56,4 (1)	56,1*	59,4*	54,7*	54,8*
52:51. Орбитный указатель от <i>mf</i>	81,6 (10)	93,0 (1)	77,0*	79,3*	77,3*	79,1*
54:55. Носовой указатель	40,6 (2)	61,6 (1)	49,8*	49,1*	50,0*	50,5*

* Индекс средних.

между ними. Ранговый коэффициент между рядами составляет 0,049, т. е. корреляция практически отсутствует. Это обстоятельство не имеет решающего значения для нашего анализа, но самостоятельное значение вариаций полового диморфизма даже в рамках морфологически относительно близких серий заслуживает внимания.

В работе Л. Бакстона и Д. Райса приведены средние по нескольким признакам в мужской группе и индивидуальные измерения отдельных черепов. Средние приведены по большему числу черепов, чем их насчитывается в таблице индивидуальных данных. По-видимому, в таблице помещены сведения лишь о черепах сравнительно приличной сохранности. Средние из работы Л. Бакстона и Д. Райса приведены в табл. 5. Они дополнены средними, вычисленными на основании индивидуальных данных, для тех признаков, которые остались без статистической разработки, и средними по женским черепам. Число женских черепов в работе Л. Бакстона и Д. Райса заметно меньше измеренного мною, даже если учитывать возможные расхождения в определении половой принадлежности. Мне не ясна причина этой разницы. С целью обогащения наших знаний о расовом составе древнего населения Передней Азии в табл. 5. приведены средние по черепам из Тепе-Гиссара II и III, вычисленные Г. Ф. Дебецом. В результате ознакомления с оригинальным материалом часть черепов, определенных автором первичного описания палеоантропологических материалов из Тепе-Гиссара М. Кругманом как мужские, была перенесена Г. Ф. Дебецом в женскую группу, вследствие чего средние по Тепе-Гиссару III были соответственно пересчитаны.

Относительно места, занимаемого кишской популяцией среди других, проживающих на территории Месопотамской низменности и Иранского нагорья, при фрагментарности имеющейся информации можно высказать лишь самые предварительные соображения. Помимо серий из Тепе-Гиссара (юго-восточный Иран) костные останки людей эпохи энеолита и бронзы известны из Ал-Убеида и Ура (бассейн Тигра и

Евфрата¹⁸), Хасанлу¹⁹ и Сялка²⁰ (центральные районы Иранского нагорья). Все эти серии отличаются, за одним исключением (серии из Сялка), замечательной грацильностью и в этом отношении превосходят даже относительно грацильные кавказские и среднеазиатские серии. Черепа из Сялка гораздо более широколицы, чем черепа других серий, и сближаются в этом признаке с черепами из Лчашена и другими сериями более массивного гиперморфного варианта.

Эти антропологические наблюдения могут быть интерпретированы исторически в трех аспектах. Общая для древнего населения Ирана и Месопотамии исключительная грацильность при некоторых сугубо локальных различиях в комплексах признаков подтверждает многолетние наблюдения археологов, выявляющие сходство культур Месопотамии и Иранского нагорья в эпоху бронзы²¹. Морфологические различия популяций вышеназванных районов с более северными кавказскими и среднеазиатскими свидетельствами об отсутствии прямых генетических связей и являются еще одним негативным аргументом в полемике вокруг положения шумерского языка и гипотезы его родства с кавказскими языками²². Наконец, морфологическое сходство черепов из слоев I—IV Сялка с кавказскими наводит на мысль, что отмеченные археологами параллели в материальной культуре Сялка А—В и кавказских памятников²³ не являются случайными и вскрываемый ими процесс исторического взаимодействия населения двух районов имел место и в более раннюю эпоху.

NEW DATA TOWARDS A MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE POPULATION OF MESOPOTAMIA

The paper shows the results of a study of a skull series from Kish (3d Millenium B. C.) carried out with the object of describing the horizontal profile of the facial skeleton. The results obtained correspond to certain known modifications, those which we already have for the Soviet Central Asia area; this provides certain grounds for speaking of the Mediterranean South-European complex of traits. The most distinct similarities have been discovered with the series from Tepe-Hissar and from cemeteries belonging to the Eneolithic and Bronze periods in the southern part of Soviet Central Asia.

¹⁸ A. Keith. Report on the human remains.—H. Hall, C. Wooley. Ur-excavations, v. I, pt. 2: Al-Ubaid. The cemetery. Oxford, 1927.

¹⁹ T. Rathbun. The analysis of physical characteristics and application to proto-historical problems: Hasanlu, Iran.—«Anthropologie». Brno, t. XIII, № 1—2, 1975.

²⁰ H. Vallois. Les ossements humaines de Sialk. Contribution à l'étude de l'histoire raciale de l'Iran ancien.—R. Girshman. Fouilles de Sialk près de Kashan 1933, 1934, 1937, t. II. Paris, 1939.

²¹ R. Girshman. Fouilles de Sialk près de Kashan 1933, 1934, 1937, t. I—II. Paris, 1938—1939; E. Herzfeld. Iran in the ancient East. London—New York, 1941; D. McCown. The comparative stratigraphy of early Iran. Chicago, 1942; его же. The material culture of early Iran.—«Journal of Near Eastern studies», v. I, № 4, 1942. A. Parrot. Archéologie Mésopotamienne. Paris, 1953; Г. Чайлд. Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956; R. Dyson. Problems in the relative chronology of Iran, 6000—2000 B. C.—«Chronologies in Old World archaeology». И. Алиев. История Мидии, т. I. Бэку, 1960.

²² Литературу и обзор точек зрения см. И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии. М., 1967. Итог сформулирован следующим образом (с. 84): «Поэтому в настоящее время шумерский язык приходится считать изолированным, и родство его с каким бы то ни было другим языком — неустановленным».

²³ Об этом см. М. Н. Погребова. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 1977.

Ю. А. Муравьев

РЕЛИГИЯ: ВЕРА, ИЛЛЮЗИЯ, ЗНАНИЕ

Статья известного советского этнографа С. А. Токарева «О религии как социальном явлении (мысли этнографа)»¹ посвящена такой проблеме, которая не может не вызвать интереса. В самом деле, вопрос о сущности религии, о ее социальной роли волнует специалистов самых разнообразных профилей, самый широкий круг читателей. Когда же к такой теме обращается столь маститый ученый, читатель вправе ожидать особенно интересных мыслей, оригинального освещения традиционных и постановки новых вопросов. И, познакомившись со статьей С. А. Токарева, читатель убеждается, что не обманулся в своих ожиданиях: он действительно встречается здесь с интересными мыслями, с нешаблонным освещением проблем, с богатой эрудицией, позволяющей делать далеко идущие сопоставления, смелые выводы.

Однако самая большая ценность этой работы состоит, пожалуй, в том, что она стимулирует творческую мысль, заставляет вновь обратить внимание на проблемы, казалось бы, давно решенные. Вот почему наши заметки скорее «мысли по поводу» статьи С. А. Токарева, чем попытка ее критической оценки.

«Мысли этнографа» — так скромно в подзаголовке С. А. Токарев обозначает жанр своей статьи. Ясно, однако, что пределами этнографии при обсуждении такого вопроса, как социальная сущность и роль религии, ограничиться не удастся. Эта проблема касается многих научных дисциплин, а главное, имеет столь ярко выраженный мировоззренческий аспект, что без философского, в первую очередь теоретико-познавательного анализа здесь не обойтись. Наши краткие замечания будут иметь в виду именно эту сторону дела.

Понятен и не может не вызвать сочувствия основной тезис статьи С. А. Токарева: религиозная догматика не составляет существенной стороны религии — отсюда разнообразие религиозных представлений, различия в содержании религиозной догматики и верований различных народов, стран, эпох. Чрезвычайно рельефно показано в статье, что современный верующий обходится, как правило, весьма расплывчатыми представлениями о сущности вероучения, к которому сам принадлежит. Такая постановка проблемы закономерно требует выяснения того, что же в таком случае является существенным для религии, что оправдывает ее отнесение «все же к одной сфере общественного сознания» (с. 91). Автор не склонен видеть то общее, что делает возможным отнесение столь различных взглядов к религии, в «вере в сверхъестественное». Следует согласиться с автором и в этом: если видеть в такой вере «главный или даже единственный достоверный признак религии» (с. 92), придется признать, что и вера в сверхъестественные существа, порожденные народной сказочной фантастикой, является разновидно-

¹ «Сов. этнография», 1979, № 3, с. 87—105. В дальнейшем ссылки на эту статью даются в тексте.

стью религии. Придется признать, что, рассказывая, положим, ребенку сказку, в которой действуют сверхъестественные существа, и делая это живо, заставляя его поверить в их существование, мы тем самым готовим почву для воспитания у него религиозного сознания. Этот пример поможет нам понять, что именно отграничивает религию «от всяких других сфер, „нерелигиозных“» (с. 91). В самом деле, лишь тогда рассказ о сверхъестественных существах станет подготовкой почвы для религиозного сознания, когда вы внушите мысль о том, что эти сверхъестественные существа *властвуют, господствуют* над человеком или по крайней мере оказывают решающее воздействие на его судьбу. Не беда поэтому, если ребенок поверит в существование леших и домовых — их живые образы будут способствовать развитию детской поэтической фантазии, а тем самым развитию сознания вообще, поскольку сознания без фантазии не существует. Беда, если при этом так или иначе будет внушена мысль о том, что эти существа *следят* за человеком, *контролируют* его поведение и могут оказывать на него влияние. Страх наказания за несоблюдение тех или иных правил поведения может стать условием возникновения религиозного сознания. Условием — но не причиной! Почвой — но не корнем!

Эта мелкая на первый взгляд деталь очень важна, но осознать всю ее важность можно лишь в том случае, если мы перейдем от рассмотрения «онтогенетических» проблем возникновения религиозного сознания — проблем его появления в сознании индивида — к проблемам его «филогенеза» — появления в истории человечества. При этом окажется необходимым рассмотрение вопроса о корнях, источниках религиозного сознания. Несмотря на то что этот вопрос постоянно привлекал внимание исследователей-марксистов, единое мнение по этому поводу все еще не достигнуто. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что в литературе все еще продолжают говорить о «гносеологических корнях религии», тогда как в ряде работ Ю. И. Семенова приведена убедительная — и никем доселе печатно не опровергнутая! — аргументация в пользу тезиса об отсутствии у религии гносеологических корней². Результатом такого состояния проблемы является недостаточно четкое представление и о многих (теперь уже вполне бесспорных для марксистов) положениях, касающихся происхождения и истории религии. Такого рода нечеткости свойственны, к сожалению, и статье С. А. Токарева.

Не будем говорить о нечеткостях в словоупотреблении, в силу которых формы сознания отождествляются автором с идеологическими отношениями между людьми (с. 91), а религия определяется как «отношение людей друг к другу по поводу представлений о боге (о богах)» (там же) и тем самым многие разновидности религиозных взглядов (демонизм, все так называемые «безбожные» религии) из сферы религии исключаются. Такого рода неточности в «мыслях этнографа» встречаются нередко. Но прямо ошибочны, по нашему мнению, такие взгляды на природу, корни и сущность религии, которые оказываются на поверку идеалистическими и свойственны в лучшем случае домарксовым материалистам, не избавившимся, как известно, от идеализма во взглядах на общество. Из текста статьи явствует, что, с точки зрения С. А. Токарева, страх и бессилие не являются «реальным корнем» религии, а составляют лишь ее психологические предпосылки (с. 103). Если понимать бессилие так, как его понимает С. А. Токарев, т. е. чисто психологически — как *чувство* бессилия, с этим придется согласиться, но тогда останется неясным, как же марксизм понимает реальные корни религии: не может же он ограничиться объяснением фор-

² См. Ю. И. Семенов. Возникновение человеческого общества. Красноярск, 1962, с. 400—403; *его же*. Как возникло человечество. М., 1966, с. 368—370; *его же*. Идеализм, религия: сходство и различие. — «Наука и религия», 1976, № 9.

мы сознания — религии — из состояния сознания — психологии человека! Дело здесь в том, что и страх, и *чувство* бессилия — результат *реального практического* бессилия человека, которое в свою очередь есть следствие неразвитости практики. Проявляющееся в форме господства случайностей реальное практическое бессилие людей перед лицом слепой, непознанной необходимости уже на первых стадиях развития практической деятельности породило особый род действий, объективно не связанных с результатом, но субъективно столь же необходимых, сколь и те, что прямо вели к результату. Но если связь последних с результатом люди в конечном итоге могли шаг за шагом проследить, связь с результатом несвободных, подчиненных случайности действий, конечно, не могла не выглядеть как таинственная — такая, которую надо принимать как данность, не подвергая проверке, т. е. принимать *на веру*. Иллюзорный образ действий закономерно породил иллюзорный образ мыслей³.

Мы не можем здесь подробнее проследивать все стадии эволюции религиозного сознания, нам важно подчеркнуть, что религия возникла не как попытка какого бы то ни было *объяснения* окружающего мира, не как *знание* (хотя бы и иллюзорное) об этом мире, а как *слепая вера* в наличие у некоторых действий способности непостижимым образом обеспечивать результат. *Вера эта слепа в той мере, в какой слепа породившая ее непознанная необходимость*.

Возникшая из практики, религия в своих ранних формах (в доклассовом обществе), да и позднее (с трансформацией ее корней в условиях классового общества) осуществляла вполне «практическую» функцию: при помощи определенных действий человек стремился обезопасить себя от действия сверхъестественных сил. Вот почему столь важным для каждой религии является или становится ритуал. Вот почему любая развитая религия предполагает существование более или менее строгой регламентации поведения верующих. Именно потому религиозные учения обязательно включают этический момент, формируя религиозную мораль. Таким образом, не объяснение или оправдание зла и страданий, не попытка ответить на какие бы то ни было вопросы (о жизни, смерти, источниках зла и т. п.) лежит в основе религии. Ее корни — в бессилии человеческой практики, закономерно порождающей иллюзорный образ мыслей.

Весь богатый этнографический материал, приведенный в статье С. А. Токарева, свидетельствует о том, что религиозная мифология никогда не становилась *основой* религиозного сознания (с. 89). Но ведь этим как нельзя лучше доказывается мысль, что главное в религии для массы верующих — предотвращение действия неблагоприятных и не поддающихся естественному объяснению сил на судьбу человека. И значит, на вопрос о специфике религии, поставленный С. А. Токаревым, следует, на наш взгляд, дать иной ответ, чем тот, который дан им: религия — иллюзорный взгляд на мир, предполагающий существование господствующих над человеком сверхъестественных сил. Между прочим, нельзя видеть специфику религии и в осуществлении ею функций интеграции и сегрегации: сам автор неоднократно подчеркивал, что аналогичные процессы присущи всем социальным, социокультурным явлениям⁴.

Причины того, что к вопросу о специфике религии, несмотря на имеющееся в работах классиков марксизма его принципиальное решение, приходится возвращаться вновь и вновь, состоят, конечно, не столько в субъективных ошибках исследователей, сколько в трудности само-

³ См. об этом подробнее в кн. Ю. И. Семенов. Как возникло человечество, с. 347—446.

⁴ С. А. Токарев. Разграничительные и объединительные функции культуры. — Доклады IX МКАЭН (Чикаго, 1973)». М., 1973.

го вопроса. Ведь возникнув в доклассовом обществе, религия настолько трансформировалась в обществе классовом, что это дало повод ряду исследователей (А. А. Попову, В. Н. Чернецову, Б. Ф. Поршневу) вообще отнести возникновение религии к эпохе классового общества. Решающие аргументы против такого взгляда приведены в ряде предшествующих работ С. А. Токарева⁵, хотя сам он и придерживается «плюралистической» позиции в споре о первой форме религии.

Преобразование религии в классовом обществе в первую очередь коснулось ее корней, поскольку изменилась форма власти необходимости над человеком: чем шире становилась сфера свободной деятельности в отношениях человека и природы, тем четче проявлялась зависимость, несвобода человека в социальных отношениях. Преобразование корней религии привело к преобразованию самой религии, изменению ее социальной роли. Оставаясь верой в господство над человеком сверхъестественных сил, религия стала вместе с тем орудием духовного подавления, приобрела идеологическую функцию. Идеология, таким образом, первоначально возникла как религиозная идеология и долгое время не существовала вне религиозной формы. Это не означает, однако, что религия на этой стадии может быть сведена к идеологии: идеология составляет лишь часть религиозного сознания, направленного на защиту интересов эксплуататоров. Попы — первые идеологи, по словам К. Маркса, способствовали установлению, а в дальнейшем и сохранению эксплуататорских, антагонистических производственных отношений, создавая религиозные учения — мировоззренческие конструкции, всегда содержавшие в себе побуждение к определенному типу жизненного поведения. Поэтому вероучения — ранняя форма религиозной идеологии — всегда обладали ярко выраженными субъективными чертами — впечатком личности автора-вероучителя, внушавшего выработанные им правила поведения. Но первая же попытка построения какой-то линии поведения приводит идеолога к необходимости дать оценку окружающей действительности, причем такую, которая согласовывалась бы со всем наличным чувственным и практическим *опытом*. Создание вероучения идеологом поэтому представляет собой процесс *систематизации* всего наличного жизненного материала в форме системы идей, обосновывающих определенную программу поведения, для чего необходима соответствующая интерпретация общественных явлений⁶. Но такая интерпретация предполагает обращение не только к верованиям, но и к фактам, использование не только веры, но и знания. В статье С. А. Токарева содержится множество примеров самого причудливого сочетания фактов, знаний, верований и суеверий в ранних религиозных учениях. В самом деле, есть от чего прийти в недоумение!.. Но в данном случае поможет, по нашему убеждению, лишь теоретико-познавательный анализ религиозного сознания, который только с этого момента и может быть осуществлен.

Первоначально «вплетенное» в практику сознание первобытного человека в дальнейшем остается опутанным сетью «практических иллюзий»⁷, но на этой стадии оно не является *системой знания*, относительно которой только и может быть поставлен вопрос об истинности и ложности, о соответствии или несоответствии осознания объективной действительности. Лишь с разделением труда на материальный и духов-

⁵ С. А. Токарев. Ранние формы религии и их развитие. М., 1969; его же. О марксистской периодизации религии. — «Наука и религия», 1974, № 12.

⁶ См. Ю. И. Семенов. Развитие общественно-экономических формаций и объективная логика развития религии. — «Вопросы научного атеизма», в. 20. М., 1976, с. 54, 55.

⁷ Употребляемое К. Марксом понятие «практическая иллюзия» внутренне противоречиво. С одной стороны, этимологически термин «иллюзия» предполагает связь со сферой созерцания. Атрибуция ее как практической обращает нас к сфере деятельности. Это противоречие — лишь одно из проявлений диалектического характера практики, с которым связано само ее бытие.

ный, что повлекло за собой появление первых идеологий — вероучений, сознание постепенно приобретает черты систематизированности, хотя спектр возникающих систем почти необъятно разнообразен.

Разнообразие идеологических толкований веры в господство сверхъестественных сил над людьми находит объяснение в том факте, что все эти толкования направлены на закрепление религиозных иллюзий, представляя собой, таким образом, разновидность заблуждения. Это ведь истина, будучи объективной, не зависящей от субъекта, оказывается единой и единственной. Заблуждениям же несть счета и числа. Но было бы неверно на этом основании не делать различия между разными видами, типами заблуждений. Это важно не только для историка религии, но, например, для этнографа, поскольку он изучает духовную жизнь данного этноса и должен осознавать, какое сложное ментальное образование оказывается всякий раз предметом исследования. Сложность эта не раз восхищала и одновременно ставила в тупик крупнейших современных этнографов. Напомним для примера хотя бы левистроссовские «Мифологики»⁸ как грандиозную по замыслу, но крайне противоречивую по результатам попытку системно представить развитие разума. А одним из необходимых условий подлинного решения этой задачи является решение проблемы истины, поскольку типология заблуждений — лишь часть этой «вечной» и, пожалуй, наиболее сложной философской проблемы. Диалектико-материалистическое ее рассмотрение предполагает раскрытие диалектики истины и заблуждения в процессе познания. Именно так понималась проблема истины классиками марксизма⁹. Между тем в наши дни в трудах марксистов-гносеологов проявление диалектического, «процессуального» характера истины нередко видится лишь в диалектике абсолютной и относительной истины. При этом забывают или не замечают, что раскрытие диалектики истины и заблуждения выступает как *условие* подлинного понимания диалектики абсолютной и относительной истины.

Неразработанность проблемы истины в указанном аспекте сказывается, по нашему мнению, и на рассмотрении С. А. Токаревым вопроса о социальной роли религии. Легко заметить, что в его статье *вся* область религиозных представлений рассматривается как область идеологическая (с. 97), что позволяет автору применять истинностные оценки ко всей религиозной сфере (с. 104). Между тем говорить о религии доклассового общества как о разновидности заблуждения по меньшей мере некорректно: лишь к религиозной идеологии применима такая гносеологическая характеристика. И напротив, если уж говорить о преодолении «богословской традиции» (с. 97) в подходе к религиозным вероучениям, то в первую очередь следовало бы позаботиться о том, чтобы не подходить к ним с той же меркой, что и к научным теориям. А это неизбежно, хотя подчас и невольно происходит, когда в полемике с верующими опираются на логику как на последний аргумент.

Нам представляется, что мыслительный материал религиозных учений можно рассматривать как состоящий из трех «слоев»: 1) пустых суеверий, продуктов голого фантазирования, полного незнания, отражающего момент *абсолютного бессилия* человека перед лицом необходимости (природной или общественной); 2) своеобразного конгломерата или даже единства знания и незнания — незнания, имеющего форму знания, результата неадекватного отражения сознанием реально существующих процессов и проблем, — проявления *относительного бес-*

⁸ Cf. Levi-Strauss. Mythologiques, v. 1—4. Paris, 1964—1971.

⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 92; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 515. Подробнее об этом см. также нашу статью: Ю. А. Муравьев. Диалектика истины и заблуждения в развитии теорий генетики. — «Научные труды Рязанского медицинского института», 1970, т. 29 («Научная методология. Методологические проблемы биологии и медицины»), с. 288—318.

силія перед лицом объективной необходимости; 3) реального фактического знания, вполне совпадающего по содержанию с отражаемой действительностью, крупниц истины, продукта и проявления поначалу крайне узкой сферы человеческой свободы, *господства* над силами природной и социальной стихии. С этими крупницами истины приходится считаться при построении любой идеологической системы, но фактического знания никогда не бывает достаточно: их всегда приходится домысливать, придумывать с помощью *фантазии*, что таит в себе дополнительную возможность заблуждения. Фантазия — необходимый компонент всякой подлинно мыслительной деятельности, в том числе и строго научной. Но научная фантазия всегда ориентирована на возможность проверки в соответствии с некими критериями отличия истины от заблуждения — мерилom, по своей природе направленным на достижение объективности. Идеологическая (в первоначальном марксистском смысле, исключавшем возможность научной идеологии) фантазия в принципе не предполагает такого критерия. «...Тот, кто строит системы, вынужден заполнять бесчисленное множество пробелов *собственными измышлениями*, т. е. *иррационально* фантазировать, заниматься идеологизированием»¹⁰. Как раз такая иррациональная фантазия свойственна религиозной идеологии в отличие от научной фантазии — той, что подчинена *рациональным* критериям. Таким образом, все три упомянутые выше слоя раннеклассового сознания были пронизаны фантазией, но характер и мера этого фантазирования были различными для каждого из проявлений этого сознания. Если не побояться упрощенно схематичных решений сложной и, еще более того, запутанной проблемы, можно сказать, что с «голым» фантазированием, порожденным абсолютным бессилием человека, связана слепая религиозная вера, религиозная форма сознания. Фантастика, связанная с неадекватным осознанием реально существующих явлений, в наибольшей мере присуща мифологическому сознанию: само появление мифа вызвано попытками ответить на вопрос о том, «как устроено» то или другое явление, основанными на иллюзорном представлении о любом бытии как продукте *деятельности* (ср. у Платона — всякое бытие есть творение). Такой подход к мифологическому сознанию, возможно, позволит понять основы единства мифологического и религиозного сознания как проявления бессилия (в одном случае относительного, в другом — абсолютного) человека перед лицом непознанной необходимости, а также и причины того, что исторически мифология нередко играла подчиненную по отношению к религии роль: в относительно всегда есть доля абсолютного. Вместе с тем из такого понимания мифологии следует и ошибочность ее отождествления с религией: грань относительного и абсолютного тоже относительна, но она существует. Наконец, более глубокая грань отделяет религию и мифологию от зачатков научного знания. «Научная» фантастика с самого начала ориентирована на возможность опытной проверки, что и исключает необходимость обращения к сверхъестественным силам. Собственно, как раз это и отличает первые научные — натурфилософские — построения: даже боги подчинены здесь естественной необходимости. Таким образом, «научная» фантазия отличается от религиозной и мифологической не только количественно, но и качественно¹¹. Нужды нет, что иной раз религиозная фантастика оказывает существенное влияние на научную — это обстоятельство не может уничтожать факт существования между ними глубокого принципиального различия.

В конечном итоге преобладание моментов истины или заблуждения в идеологии зависит от степени совпадения интересов данного класса с

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 630.

¹¹ Особую природу имеет художественная фантазия, но раскрытие ее природы не может входить в данном случае в наши планы.

объективным ходом исторического развития. Особый вид заблуждений — идеологические иллюзии. Это заблуждения, навязываемые сознанию системой господствующих производственных отношений, и в этом смысле такие заблуждения выступают как необходимые, неизбежные¹². Формой, в которой идеология возникла впервые, как указывалось, были религиозные учения. И потому процесс возникновения религиозных учений был процессом превращения религиозных иллюзий в религиозно-идеологические. Религиозные иллюзии порождены бессилием человеческого практики. Религиозно-идеологические — системой производственных отношений. Дело этнографа — выявить, как далеко зашел этот процесс, в какой мере религиозные иллюзии поставлены на службу идеологии господствующего класса, какие конкретные формы принял процесс оформления идеологических иллюзий. Ярко выраженный классовый характер имеет, например, идея посмертного или загробного воздаяния, степень развития которой может служить своеобразным индикатором стадий формирования идеологии.

Идеологические иллюзии, будучи заблуждениями, чьи корни имеют вполне реальную — экономическую основу, не только навязываются массам корыстными идеологами правящего класса. Сами идеологи разделяют иллюзии, которые насаждаются с помощью созданных ими идеологических конструкций. Больше того, те, для кого предназначены по сути эти иллюзорные построения, — эксплуатируемые массы — самой экономической реальностью подготовлены к восприятию разработанных идеологами построений.

Особый интерес представляет процесс ломки старой системы идеологических иллюзий и замены ее новой. Важно подчеркнуть, что речь идет о процессе, разные стадии которого этнограф может наблюдать и поныне, например, во многих из развивающихся стран.

Сказанное позволяет, как нам представляется, уяснить смысл одной часто допускаемой серьезной теоретической ошибки и попутно отметить всю серьезность последствий смешения целого и части — религии и религиозной идеологии¹³. Речь идет о мнимой «прогрессивности» религии на отдельных этапах исторического развития человечества. Сторонники такого взгляда склонны ссылаться на эпохи расцвета религиозной живописи, музыки, искусства вообще, на выдающуюся роль отдельных религиозных деятелей в историческом развитии того или иного общества и т. п. Если учесть, что во всех этих случаях речь идет о религиозной идеологии, а не о религии вообще, данный факт объясняется просто: мы уже видели, что под религиозной оболочкой идеологических систем может происходить разрушение идеологических иллюзий, накопление моментов истины, смена мировоззренческих ориентаций. Что же касается религии в целом, а она никогда не сводится к идеологии, то она, будучи слепой верой в господство над человеком сверхъестественных сил, никогда не играла и не может в принципе играть позитивную роль в каком бы то ни было социальном процессе. Факт этот затушевывается тем обстоятельством, что на протяжении длительного исторического периода религиозная идеология оставалась единственной формой бытия идеологии. Последствия смешения рели-

¹² Долгое время марксистское учение об идеологических иллюзиях не было предметом внимания философов-марксистов. Впервые после долгого забвения это учение подвергнуто анализу в работе Мориса Корнфорта (*M. Kornforth. Dialectical materialism, v. 3 — «The theory of knowledge». London, 1954; русск. пер.: М. Корнфорт. Диалектический материализм. Введение. М., 1956*). Большое внимание проблеме соотношения истины и идеологии, проблеме идеологических иллюзий уделено в кн.: *Л. Живкович. Теория социального отражения. М., 1969*.

¹³ Ошибка такого рода свойственна не только С. А. Токареву. Один из недавних примеров можно обнаружить в работе: *А. П. Мидлер. Философия и религия. — «Философия и ценностные формы сознания». М., 1978*. Здесь мы встречаемся с отождествле-

гии вообще с ее частью — религиозной идеологией — далеко не безобидны.

В связи с «мыслями этнографа» было бы, по-видимому, весьма интересно рассмотреть еще целый ряд имеющих отношение к гносеологии проблем религиоведения. Интересно было бы, например, обратить внимание на соотношение научных (философских, теоретических) иллюзий и их роль в поддержании иллюзий религиозных, остановиться на проблеме взаимоотношений идеализма и теологии и пр. Все это, однако, слишком далеко увело бы нас от статьи С. А. Токарева, основное значение которой мы видим в том, что она как раз и позволяет мысли идти достаточно далеко.

RELIGION: FAITH, ILLUSION, KNOWLEDGE

The paper represents a response to S. A. Tokarev's paper «On religion as a social phenomenon» («Sovetskaya Ethnografia», 1979, No. 3) and contains an attempt at a gnosiological analysis of the problems of religion and religious ideology. The evaluation of religious consciousness as a system of knowledge only becomes possible with the rise of religious doctrines, the first form of ideology which comprises elements of absolute ignorance, of a unity of knowledge and ignorance, and, finally, elements of real factual knowledge.

All these three layers of early-class consciousness were permeated with fantasy but the character and measure of the imaginings was different for each of them. The first layer is connected with «sheer fantasy», blind religious faith; the second, with mythological fantasy; the third, with scientific fantasy in the evolution of which is to be found the most complete manifestation of the dialectics of truth and error. The predominance of elements of truth over error in ideology depends, in the final analysis, upon the degree to which the interests of a particular class coincide with the objective course of historic development. A specific category of error is represented by ideological illusions that are imposed by the system of dominant production relations.

Я. В. Минкявичюс

О СОДЕРЖАНИИ РЕЛИГИИ¹

1. «Станный» вопрос

Вряд ли можно считать странным выдвинутый С. А. Токаревым вопрос о главном содержании религии (с. 88). Наличие множества ее определений свидетельствует о сложности предмета, продолжающихся поисках сути религии, переплетении всевозможных концептуальных ее толкований. Да и едва ли могут эти интерпретации быть однозначными и завершенными, пока существует (и, значит, эволюционирует, существенно изменяется, оказывается в новых условиях) религия, пока при решении этого вопроса сталкиваются различные методологические позиции и различные идеологические ориентации.

Автор обсуждаемой статьи «с некоторым удивлением» замечает, что при всей полярной противоположности теологического и атеистического понимания сущности религии между ними имеется «нечто общее» (с. 87). Общим, по его мнению, является то, что атеизм по сути дела воспринимает теологическую концепцию религии, только в негативном смысле. Следовательно, такой атеизм вообще не имеет своей концепции религии. Разумеется, нельзя не согласиться с тем, что противопоставление атеизма религии лишь в смысле отрицания ее «идей о некой потусторонней силе, стоящей над человеком» (с. 87), является бесплодным и, конечно, не соответствует сущности марксистско-ленинской концепции религии и атеизма. Прав С. А. Токарев, обращая внимание на то, что «мы еще не до конца разделились с богословской традицией в изучении религии» (с. 97).

К сожалению, методологическое давление богословской традиции на атеизм сказывается как в теоретической, так и в практической областях. Сколько энергии практического атеизма направлено на борьбу с «несостоятельностью» религии! В учебной и популярной литературе атеизм зачастую упрощенно представляется как отрицание того, что утверждает религия. Разумеется, следует подчеркивать несостоятельность религиозного миропонимания и соответствующего решения проблем человеческого бытия. Однако если атеистическая критика направлена на образы религиозной фантазии как якобы главное содержание религии, то такая критика отвлекается от рассмотрения религии как социального явления. Сущность религии можно понять с позиций материалистического истолкования социальных явлений, лишь имея в виду философско-идеалистическую «обоснованность» религии, ее гносеологические корни в познавательном процессе (в том числе ее паразитирование в естествознании и эксплуатацию естественнонаучных

¹ По поводу статьи С. А. Токарева «О религии как социальном явлении (мысли этнографа)». — «Сов. этнография», 1979, № 3. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

проблем), историческую закономерность ее существования, ее психологическую природу и т. д. Иное доказательство несостоятельности религии логически повело бы к ее исключению из структуры общественного сознания, отражающего общественное бытие, что действительно было бы философски (материалистически) несостоятельно. Теологическая апология религии, мистифицирующая ее сущность, как раз изымает религию из ее естественного социально-исторического контекста, так что имеется немало аспектов методологического сходства плоского атеизма с богословским толкованием религии.

Такое досадное недоразумение проистекает из того, что плоский атеизм в своем понимании религии исходит прежде всего из комплекса представлений и понятий «бог», «бессмертие души», «личное спасение», «страшный суд», «предопределение», «загробное воздаяние» и т. п. Как мало этим сказано о религии как о социальном явлении, тем более с философско-материалистических позиций! Даже в пределах богословской традиции названные представления и понятия не относятся к религии в целом, ибо во многих религиях они отсутствуют².

Бывает так, что атеистическая критика какой-либо конкретной формы религии, например христианства, расходится с ее сущностью. Допустим, что главное в христианстве — сама вера в Христа. Тогда вся полемика между атеистами и христианами будет вращаться вокруг проблемы Христа. Вопрос о сущности христианства подменяется в таком случае вопросом об историчности или мифологичности Христа. Христианство «разоблачается» атеистами путем отрицания достоверности его основателя. Но разве конфуцианство или ислам более состоятельны, чем христианство, только потому, что Конфуций и Мухаммед — исторические личности, а историчность Христа все еще не доказана?

Когда атеизм в основном бывает направлен на критику образов религиозной фантазии, то не тяготеет ли над ним традиция буржуазного просветительства, разумеется, имевшего свое историческое оправдание? Известно, что ограниченность этой традиции уже в значительной степени была снята немецкой классической философией, притом не только материалистом Фейербахом, но и идеалистами Кантом, Фихте и Гегелем, рассматривавшими феномен религии диалектически. В домарксистской философии лишь Фейербах сумел основательно повернуть вопрос о сущности религии в сферу бытия человека, т. е. в ту сферу, в которой она (сущность религии) только и может проявляться³. Преодолевая абстрактную антропологическую концепцию человека и связанную с ней фейербаховскую теорию религии и атеизма, классики марксизма-ленинизма перенесли этот вопрос в сферу социально-конкретного, классового бытия человека. Превратив вопрос о познании мира в вопрос о его революционном преобразовании и овладении им, марксизм снял просветительскую традицию. Феномен религии означает не столько несостоятельность познания мира человеком, сколько иллюзорную попытку овладения им, выживания в этом отчужденном мире. «Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого»⁴.

² При рассмотрении вопроса о содержании религии следует обратить внимание на термины «религия» и «атеизм». В этимологическом смысле термин «атеизм» непригоден для выяснения содержания религии не только потому, что он негативен, но и потому, что он обращен не против всех, а лишь против теистических религий, причем теизм не составляет сущности последних. Что касается термина «религия», то он употребляется весьма многозначно. (См. R. Tsanoff. Religious crossroads. N. Y., 1942.) В самых разнообразных смыслах, отнюдь не теистических, термин «религия» значится в сочинениях Цезаря, Горация, Лукреция, Ливия, Петрония, Тацита, Апулея и других представителей древней римской культуры того времени, когда этот термин входил в обиход. Цицерон понимал религию в смысле богопочитания. Христианский (монотеистический) смысл ей придали Лактанций и Августин Блаженный.

³ См. К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 2.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 415.

Религия и наука как формы общественного сознания, расходясь по объекту отражения, по форме отражения, по результату отражения, по структуре и функциям, могут сосуществовать и сосуществуют не только хронологически, но и в одной и той же культуре, в одном и том же человеке. Наука и просвещение не только не единственный, но и не главный антифактор (фактор кризиса) религии, тем более в современную эпоху, в век научно-технической революции. Это объясняется тем, что главное в религии — не содержание фантастических представлений, не образы того, отсутствие чего можно доказать научным способом. Конечно, этим не подвергается сомнению принципиальная противоположность религии и науки, но обращается внимание на то, что одной лишь науки недостаточно для преодоления религии.

Религиозная фантазия возникает и складывается не из невежества и существует не как результат незнания, устраняется она главным образом также не путем познания. Религиозные представления о человеке и мире, душе и спасении, символы веры и принципы культового поведения, конфессиональные коммуникации могут быть поняты (в том числе с атеистической точки зрения «обоснования» их так называемой несостоятельности) не сами по себе, но лишь в реальном контексте социальной жизни верующих, культуры народов, этнической структуры общества, идеологического процесса. Религия не существует в «чистом виде», т. е. вне морали и искусства, политического сознания и философии, всей культуры определенного народа с его этническими особенностями, традициями, ценностной ориентацией, психологической структурой, всем образом жизни. Именно в таком контексте можно и должно рассматривать идейное содержание и культовую практику индуизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма, христианства, ислама, не говоря уже о племенных религиях. Именно в таком направлении развивается советское научное религиоведение, чему главным образом способствуют историческая и этнографическая науки и марксистско-ленинская методология.

Нет, не странный вопрос возник у этнографа, рассматривающего религию как социальное явление. Это вопрос о корректности научной (марксистской) концепции религии в конфронтации с идеалистическим и теологическим ее толкованиями, с традицией просветительской и метафизическо-материалистической ее критики, со сциентистской фетишизацией современной науки, с ограниченностью методологии технологического детерминизма в понимании современного научно-технического и социального прогресса и его влияния на религию. Статья «О религии как социальном явлении» ценна прежде всего в методологическом, теоретическом и практическом отношениях.

2. Социально-этнический контекст существования религии

Идейное содержание религии, т. е. образы и понятия религиозной фантазии, не автономно. Оно существует во всем сложном структурно-функциональном комплексе религии, которая в свою очередь влетает в социально-культурный тип этнически определенного общества. С. А. Токарев рассматривает историю религии, ее периодизацию, исторические типы родо-племенных культов, национальных (национально-государственных) и мировых религий с точки зрения отношений между людьми, складывавшихся в ходе их общественного развития и проецировавшихся в идеологическую сферу, он прослеживает интегрирующую и сегрегирующую функции религии. Все это очень важно для понимания религии как социального явления.

Когда мы говорим, что религия есть форма общественного сознания, и определяем ее известной формулировкой Ф. Энгельса («всякая

религия является... фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними... отражением, в котором земные силы принимают форму неземных»⁵), то мы обращаемся с этой дефиницией как с отвлеченной от конкретно-исторического содержания абстракцией. Она же появилась в результате полемики Ф. Энгельса с Е. Дюрингом, который, «перебисмаркивая самого Бисмарка», декретировал запрет всякой религии «как первобытного детского представления о том, что позади природы или над ней обитают такие существа, на которые можно воздействовать жертвами или молитвами»⁶. Как видим, упомянутая дефиниция религии была задана предметом полемики и она может быть адекватно понята только в соответствующем контексте. Ее смысл в том, что религиозная фантазия отражает положение человека перед лицом господствующих над ним внешних сил, а не просто эти силы (как можно было бы буквально читать текст Ф. Энгельса). При этом Ф. Энгельс говорит не вообще о людях, но о различных народах, упоминая индусов, персов, греков, римлян, германцев, кельтов, литовцев, славян, своеобразно формировавших различные образы культа. Определяя религию как фантастическое отражение внешних сил, Ф. Энгельс главное внимание уделял общественным атрибутам этого отражения, т. е. социальному положению людей и социальной природе религии. Он считал, что сравнительная мифология односторонне видит в богах только отражение сил природы. Его же интересовали религиозные образы прежде всего как отражение исторических сил⁷. Именно этот акцент имеет определяющее значение для понимания сущности религии. Следовательно, лишь генетический и структурно-функциональный анализ исторических форм и типов религии, обнаруживающихся в исторически динамичной социально-этнической структуре родов и племен, народностей и наций, позволяет раскрыть ее содержание и сущность.

Основные компоненты религии — религиозное сознание, религиозный культ и религиозные институты — в свою очередь тоже сложны. Религиозное сознание можно и нужно рассматривать (в вертикальном разрезе) на уровнях обыденного и теоретического сознания, социальной психологии и идеологии, а также (в горизонтальном разрезе) как переплетение и взаимодействие образов, понятий, идей, чувств, настроений, воли, привычек, традиций, концептуального аппарата и т. д. Совокупность компонентов, входящих в религиозное сознание, находится в связи и взаимодействии с другими формами общественного сознания: наукой, философией, моралью, искусством, правом, политикой. Религиозное сознание объективируется весьма разнообразными способами в практике культов, которые отличаются по объекту и по формам. Носителем религиозного сознания является социальный субъект со своим духовным миром — всегда конкретный представитель какой-либо этнической общности. Религия выполняет свои специфические (мировоззренческую, компенсаторную, психоамортизационную, регулятивную, организационную, коммуникативную) и неспецифические (экономическую, политическую, юридическую, эстетическую, культурную, каритативную и т. д.) функции не столько по отношению к внутреннему миру верующего индивида, сколько по отношению к его общественному бытию, которое тоже обладает социально-этнической спецификой.

Конкретное содержание религии выступает тогда, когда весь ее комплекс в структурно-функциональном аспекте рассматривается в исторически конкретном контексте его существования в определенной системе этносферы. Этнос с его социальными и натуральными детер-

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 328.

⁶ Там же.

⁷ Там же, с. 328, 329.

минантами, его компонентами (язык, фольклор, нравы, обычаи, обряды, национальный характер, общность происхождения и исторической судьбы, эндогамия) накладывает существенный отпечаток на весь религиозный комплекс, причем это сказывается неоднозначно: речь идет о разной степени взаимосвязи и взаимодействия различных структурных компонентов и функций религии (в том числе мировых, наднациональных религий), с одной стороны, и этносферы — с другой⁸.

Если иметь в виду интегрирующие и сегрегирующие функции религии и этноса, современные этнические общности можно характеризовать с точки зрения их моно- или поликонфессиональности, а современные конфессиональные общности — как моноэтнические или полиэтнические. Путем сопоставления моно- и полиэтнических конфессиональных структур можно проводить дальнейшую типологизацию родоплеменных культов, национальных (государственных) и мировых (наднациональных) религий. Имея в виду социально-этническую природу религии, следует также отличать в ее содержании различные более или менее выраженные ориентации, такие, как трансцендентальная или натуральная, гуманистическая или культурно-историческая, теоцентрическая или антропоцентрическая и т. п. Например, по своим ориентациям восточные религии (индуизм, буддизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм) существенно отличаются от монотеистической традиции иудаизма, христианства и ислама. Сравнительное религиоведение свидетельствует, что для западных религий и ислама характерны дуалистическое разделение мира, креационизм, персонафикация божества (монотеизм), индивидуализм и персонализм, строгая определенность доктрины, эксклюзивность, историзм, в то время как восточные религии ориентированы естественно-космически, мир в них понимается как единый и вечный, время ощущается слабо, их божества безличны, мало интереса проявляется к строго определенным доктринам, индивидуальность (личность, единичность) растворяется во всеобщем, они инклюзивны⁹. Столь существенные различия в символах веры, в понимании природы, человека и истории, в культовой практике и религиозном образе жизни, структуре конфессиональной общины, разумеется, не могут быть объяснены в рамках самих религиозных понятий и представлений. Природу специфики восточных религий следует искать в истории и культуре народов Индии, Китая и Японии, в особенностях их этнической жизни и региональных контактов. То же самое относится к иудаизму как моноэтнической конфессии евреев. Арабская культура настолько тесно связана с исламом, что она зачастую отождествляется с мусульманской культурой. Коран и сунна впитали множество элементов культуры народов и этнических групп, населявших арабскую империю — халифат. История и культура романских, славянских и германских народов в значительной степени обусловили специфику трех основных разновидностей самой космополитической религии — христианства: католицизма, православия и протестантизма.

Конечно, это сопоставление конфессиональных и этнических форм общности людей носит весьма приблизительный, схематичный, неточный и неполный характер. Но оно имеет принципиальное значение для изучения содержания и сущности религии, ее природы и функционирования. При таком подходе обращается внимание на то, что плюрализм религиозных понятий и представлений возникает не только в результате филиации идей, догматических споров богословов, доктринальных и институциональных схизм. Ведь появление православия объясняется не доктринальным спором о *filioque*, а условиями Византийской империи. Выступление Мартина Лютера в Виттенберге против индульген-

⁸ Подробнее об этом см. Я. Минявичюс. Религия в многонациональном мире. Вильнюс, 1978, с. 27—47.

⁹ См. «Exploring religious meaning». Englewood Cliffs, 1973, p. 371—374.

ций послужило лишь поводом для широкого реформационного движения в Германии, ибо потребность реформации христианства созрела в недрах гуманистической культуры Возрождения, когда на пути становления новых общественных отношений, в том числе этнического становления немецкой нации, серьезным препятствием оказалась католическая церковь. Обращение зачинателя протестантизма к аутентичному источнику христианской веры — библии, противопоставление каждого отдельного верующего индивида интегральной церковной институции (обращение непосредственно к богу помимо церкви) могли стать столь действенными лишь в реальном контексте социально-этнических, культурных и идеологических условий Германии XVI в., а не потому, что они имели основу в «чистоте» христианской веры.

Хотя христианство возникло как принципиальное отрицание этнических, культурных и политических различий, хотя оно пыталось интегрировать множество народов, культур и политических систем, тем не менее оно само в большей степени подвергалось дезинтеграции вследствие влияния разных этнических, культурных и политических факторов. При всей претензии католицизма на «вселенность» космополитический католический культ немыслим вне национального организма итальянского или испанского, австрийского или ирландского, польского или литовского, мексиканского или чилийского народов. Этот культ внедрялся и внедряется в национальный организм, впитывая в себя элементы дохристианских верований данного народа, воспринимая национальную форму через сферу быта, традиций и обычаев, фольклор, психический склад народа; этнические и конфессиональные элементы тесно переплетаются в искусстве и моральных нормах народа; национальной спецификой становится какой-либо культовый элемент христианства, наиболее распространенный и укоренившийся, ставший популярным в данной стране¹⁰. Ориентация католицизма на национальную специфику тех или иных стран усилилась после II Ватиканского собора (1962—1965 гг.).

3. Современная эволюция религии

Как известно, идейное содержание религии при всей его консервативности не остается неизменным. Эволюционирует религия в целом, потому что она социальное явление. Вряд ли какую-либо другую эпоху можно сравнить с современной по масштабу и глубине изменений в сознании общества, касающихся его отношения к религии. Условно можно говорить о трех различных глобальных регионах современной религиозной ситуации. Это страны мировой социалистической системы, где религия потеряла свое положение самой массовой и господствующей идеологии, а церковь лишилась своего бывшего весьма прочного социально-политического статуса. Это развитые капиталистические страны, в которых социально-политическая и культурная жизнь более или менее секуляризирована, а религия и церковь находятся в состоянии кризиса. Это развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, где религия имеет большие резервы в массовом сознании верующих, в образе жизни целых народов (особенно мусульманских, буддистских и др.), в их культурной традиции и в политике государств.

И все же, несмотря на эти существенные различия, во всех трех регионах существует некая общая ситуация, которая своей противоречивостью отличается от всех когда-либо бывших кризисных ситуаций. Социальный динамизм и научно-технический прогресс с их противоречивыми последствиями поставили перед человечеством жизненно важные

¹⁰ Подробнее см. Я. Минкявичюс. Католицизм и нация. М., 1971, с. 207—227.

экономические, военные, моральные и иные проблемы, создавшие реальные угрозы его существованию. Это не только подрывает всю многовековую традицию религии, но и по-новому оживляет ее, создает иную почву для ее существования в видоизмененной форме. Происходит модификация гносеологической и социальной природы религии. Воздействию современных факторов подверглось прежде всего и больше всего христианство. Именно в обширных регионах его распространения религиозная традиция оказалась нарушенной секуляризацией и атеизмом.

Но нарушение религиозной традиции отнюдь не означает ее конца. Самое интересное то, как видоизменяется эта традиция. Самая западная и, видимо, больше всего социализированная (наряду с исламом) религия — христианство оказалась под противоречивым воздействием антагонистических социально-культурных факторов, породивших новые формы отчуждения. Человек оказался перед лицом не только созидательных, но и стихийно-разрушительных, неуправляемых, хотя и им самим созданных сил (могучего научно-технического потенциала, индустрии, милитаристских средств массового уничтожения, средств массовой информации, мира вещей, массовой культуры, бюрократии и т. д.). Эта неуправляемая сила человека антагонистического общества обернулась его слабостью. Западная немарксистская философия (особенно философия жизни, экзистенциализм, философская антропология, феноменология, герменевтика и др.) драматизировала духовную атмосферу капиталистического общества. Все это и многое другое не только способствовало дехристианизации верующих «низов», но и взбудоражило некоторые теологические круги, среди которых появились такие неортодоксальные фигуры, как француз П. Тейяр де Шарден, немец Карл Ранер, швейцарец Ганс Кюнг. Голландский катехизис, латиноамериканские варианты «теологии освобождения», «теологии революции», наконец, «теология без бога» — не свидетельство ли это расшатывания строгой доктринальной системы христианства (прежде всего католицизма)?

Короче говоря, эксклюзивное, со строгой теологической доктриной, раздваивающей мир и персонифицирующей божество, теоцентрическое, определенно трансцендентально ориентирующееся христианство подтачивается по всем этим его признакам. Оно деформируется вследствие ослабления доктринальной, литургической и институциональной дисциплины; теоцентрическое вероисповедание ослабляется детензацией религии, ее внутренней секуляризацией, усилением антропоцентризма. Не случайно ныне на Западе богословская и светская социологии религии широко заговорили о псевдорелигиях, о заменителях религии (*substitute religions*). Не случайно в Западной Европе, США и Канаде стали популярными религиозно-философские и этические идеи восточных культов (особенно буддизма, дзэн-буддизма), системы йога и т. п., в которых нет большого интереса к строгим доктринам, раздвоению мира, персонифицированному божеству, трансценденции и т. п. Не случайно одна из самых консервативных, строго дисциплинированных, нетолерантных, абсолютистских, с космополитическими претензиями, конфессиональных институций — католицизм (Ватикан, папство) — вынуждена сегодня (начиная с понтификата Иоанна XXIII и II Ватиканского собора) пересмотреть свои традиционные позиции, обратиться лицом к реальному миру, фактически признать его идеологический плюрализм, начать диалог с не католиками, с не христианами, с неверующими, отказаться от анафем, даже реабилитировать свои жертвы, признать протестантскую идею екуменизма и т. д. Не случайно в первой энциклике понтификата Иоанна-Павла II «*Redemptor hominis*» (1979 г.) сделан упор на драматическую ситуацию человека в современном мире. В ней даже употребляется основополагающий термин экзистенциализма «отчуждение» (впервые в папских энцикликах),

свидетельствующий об экзистенциалистской модификации католической концепции человека.

Для современной идеологической и социально-психологической ситуации в буржуазном обществе характерна своеобразная синкретизация традиционных, церковью регламентируемых религий и всяческих проявлений оккультизма, астрологии, гороскопии, теософии, мистики, контркультурного экстремизма. Этот процесс размывает ортодоксальные теистические традиции, перемещает акценты с теоцентризма на антропоцентризм, экзистенциализирует религию. Так теряет смысл былая объективизация и онтологизация образов религиозной фантазии и символов веры, религия все больше субъективируется во внутренних переживаниях человека, выполняя функцию некой духовно-нравственной терапии. Подчеркивая эти моменты, некоторые буржуазные религиоведы утверждают, что сущность религии совпадает с сущностью человека. Например, профессор психологии университета в Торонто Д. Бакан, пытаясь согласовать психологию, теологию и христианскую религиозную «терапию», полагает, что религия — это «психическое явление, из сущности которого следует, что корни человеческого бытия и того, что в узком смысле представляется как религия, в основном одни и те же»¹¹. Конечно, можно согласиться с тем, что сущность религии заключается в сущности человека, — только в том смысле, что религия иллюзорно восполняет нереализованную сущность человека.

Современные социально-этнические, культурные, политические и идеологические процессы в мире, деформирующие и разрушающие традиционное содержание религии, вызывающие к жизни новые идеологические феномены как признаки отчужденного сознания, дают повод для весьма широкого, расплывчатого толкования религии. Например, группа американских исследователей религии, членов Американской академии религии, исследуя «религию как основное человеческое дело во многих ее измерениях», пришла к выводу: «Религия есть всякая уверенность (надежда — *reliance*) человека в основной ценности, в которой он находит свою сущностную полноту как индивидум и как общественный человек; для него все другие ценности являются подчиненными этой главной ценности»¹². Таким аксиологическим толкованием религии авторы полагают преодолеть «западный провинциализм» (ассимилировать западные и восточные культы), учесть конфессиональный плюрализм в контексте социально-этнического, культурного и идеологического плюрализма и обеспечить прочную будущность религии в условиях дальнейшего научно-технического и социально-культурного прогресса.

В самом деле, научно-техническая революция, секуляризация и интернационализация культуры и образа жизни поставили весь комплекс этноконфессиональных структур перед лицом не апокалиптического, но естественного драматизма мировой истории, в которой судьба человека оказалась слитой с системой биотехносociоноосферы. В таких условиях, как утверждают многие зарубежные немарксистские идеологи и философы, а также некоторые теологи, необходимо глобальное, вселенское, космическое сознание — новая мировая трансконфессиональная и трансэтническая религия.

Все эти новые тенденции свидетельствуют, что в отчужденном мире антагонистического общества отчужденный человек не может преодолеть отчужденного сознания, отчужденного видения мира.

Не свидетельствует ли это о главном содержании религии?

С. А. Токарев верно подчеркивает главную ориентацию религии — ее «претензию на общее осмысление жизни, на решение кардинальных

¹¹ D. Bakan. Mensch im Zwiespalt. Psychoanalytische, soziologische und religiöse Aspekte der Anthropologie. München, 1976, S. 11.

¹² «Exploring religious meaning», p. 366.

философских и философско-этических проблем» (с. 92). Но вряд ли эти проблемы можно сводить к проблеме зла (хотя бы в самом широком смысле) как главной из них. Ибо религия эксплуатирует не только существующее зло, но и аксиологическое, нравственное и эстетическое отношение человека к действительности и стремление к ее познанию.

В религии как социальном явлении отражается не природа, не космос, не человек, не история, а отчужденное положение человека в отношениях с природой, обществом и самим собой. В нынешнюю эпоху социального динамизма и научно-технической революции на первый план все больше выдвигается отчужденность человека перед лицом противоречивых последствий его собственной деятельности, на что и ориентируется религия, эксплуатирующая всякие комплексы отчуждения.

Поэтому можно полагать, что научный атеизм должен уделять больше внимания философскому и социально-культурному исследованию проблем человека как социального субъекта, разумеется, в содружестве с другими общественными науками.

Тот факт, что религия находится в сфере идеологической борьбы двух конфронтирующих социальных систем, что ею мотивируются самые разнообразные классовые, политические, национальные интересы народов и государств, что она входит имманентно в правосознание и моральные отношения, а также в образ жизни многих обществ, свидетельствует, что такая роль религии не может исходить просто из комплекса ее фантастических и иллюзорных идей. Наконец, в вопросе об основном содержании религии весьма важно учесть, что она имеет свое прошлое в социально и культурно мало развитом, а также антагонистическом обществе, но, вероятно, не имеет будущего в коммунистическом обществе.

* * *

Итак, можно кратко подвести некоторые итоги.

Религия как социальное явление представляет собой сложный комплекс. Образы религиозной фантазии, связанные с верой в сверхъестественное, занимают в нем важное место, но они не составляют его главного содержания, ибо не обладают собственной сущностью. Притом все многообразие религиозных представлений не поддается равнозначной унификации. Однако какими бы признаками ни обладала религия, каковы бы ни были ее составные части, она во всяком случае существует в контексте познавательного и ценностного (оценочного) отношения человека как социального субъекта к действительности. Ее специфика в том, что она отражает зависимость социального субъекта от чуждого ему внешнего мира и означает его стремление суеверными средствами все же овладеть им и компенсировать свою отчужденность. В религии человек оказывается ориентированным на себя в аспекте бытия и небытия. Она есть иллюзорный способ самореализации человека при отсутствии адекватного познавательного и ценностного овладения миром и самим собой. Религиозное состояние является субъективным, психологичным, но оно объективируется в исторически конкретном контексте человека и становится определенной социально-культурной и этнической реальностью. Религия не принадлежит человеческой природе — она продукт социально-культурного развития, но лишь в исторически определенных рамках (пока человечество подвержено социальным коллизиям).

Итак, религия — это объективированный в социально-культурном процессе этнически обозначенный синкретичный духовный (интеллектуальный и эмоциональный) феномен, возникший в результате антагонизма между объективной реальностью и идеалами, интересами, стремлениями, субъективными установками и т. д. и существующий как иллюзия.

люзорная форма преодоления этого антагонизма до тех пор, пока общество не разрешит его реальными средствами. Проявляется ли религия в представлениях, образах и понятиях сверхчеловеческой субъективности или сверхъестественной объективности, бессмертия или вечности, рая или ада, божества или злого духа и т. п.— все это второстепенно.

Еще раз (вслед за С. А. Токаревым), ссылаясь на афоризм Спинозы о Петре и Павле, можно сказать, что задача религиоведов-историков, археологов и этнографов, психологов, социологов и философов имеет своего рода герменевтический характер. Она заключается в том, чтобы символический язык религиозной фантазии считать социально-содержательным, конкретно-историческим языком науки.

ON THE CONTENT OF RELIGION

The content of religion as a social phenomenon can only be understood within the context of the culture of an actual people, with its ethnic peculiarities, traditions, system of values, mental structure, its whole way of life, the ideological process of the particular period. Religion represents an intricate complex in which the images of religious fantasy are only one of its components, and not the most important one at that. The actual content of religion only becomes clear when the whole complex regarded in a structural-functional aspect is examined in the concrete historic context in which it has its existence, in a definite ethnosphere system.

In considering the integrating and the segregating functions of religion and of ethnos, present-day ethnic communities may be described according to their mono- or polydenominationalism, and present-day denominational communities as mono- or polyethnic. The interrelations and interweaving between ethnic and denominational factors affect the content of religion which is subject to change in the course of history. Currently it is being strongly influenced by the social dynamism of the contemporary period and the revolution in science and technology; it is becoming changed and modified; this reflects the new forms of alienation engendered by the social-cultural development of an antagonistic society.

In the social-cultural process religion is an objectivized ethnically marked syncretic spiritual phenomenon that has arisen as a result of an antagonism between objective reality and people's subjective attitudes, aspirations, interests, ideals; it exists as an illusory form in which this antagonism is to be overcome.

Города растут в значительной степени за счет сельского населения, и мигрант оказывается в сфере взаимодействия городского образа жизни, городских традиций, хранимых потомственными горожанами, и традиционных сельских форм культуры, приносимых выходцами из села³. Стиль поведения, структура ценностей и норм, которые мигрант воспринимает в качестве образца, зависят как от его собственного культурного потенциала, так и от влияния окружения — ближайших друзей и родственников. В той же мере, в какой индивид формирует социальную микросреду вокруг себя в соответствии со своими духовными запросами и установками, микросреда в свою очередь влияет на культурные и профессиональные ориентации личности⁴.

Предметом настоящего исследования являются структура и интенсивность общения мигрантов. Можно предположить, что особенности межличностных коммуникаций мигранта отражают его установку на освоение норм городского образа жизни либо, наоборот, — на воссоздание в условиях города привычной культурной микросреды через традиционные локально-семейные формы общения.

Процесс адаптации в определенной мере осложняется, если мигрант одновременно должен приспосабливаться к новой национально-культурной среде. Современные крупные города, притягивая к себе группы населения различных национальностей, впитывают их разнообразный культурный опыт. Однако массовая культурная информация в городах имеет отпечаток этнического большинства или основного населения данного региона; средства массовой коммуникации, как правило, в меньшей мере приспособлены к другим национальным группам.

В связи с этим представляется интересным рассмотреть особенности общения в группе ленинградских татар⁵. Данная этническая группа была выбрана в качестве объекта изучения по ряду причин. Татары существенно отличаются от основного населения города по языку и культурным традициям и вместе с тем образуют значительную этнодисперсную группу, насчитывающую 33,1 тыс. человек⁶. В ходе исследования было опрошено 720 человек, треть которых составили уроженцы Ленинграда, а две трети — мигранты из различных областей страны. Для последних процесс освоения норм образа жизни большого города, овладения городскими профессиями и т. п. тесно связан с культурной, а для некоторых и с языковой адаптацией.

Проблемы, касающиеся освоения новой культурной среды, особенно актуальны для недавних мигрантов, т. е. людей, срок проживания которых в Ленинграде меньше 10 лет. Их отличает высокая интенсивность и широта дружеского общения. Недавние мигранты имеют много друзей и по их числу опережают все другие группы мигрантов-татар. Так, коэффициент среднего числа друзей на человека (K) составляет у недавних мигрантов 1,6 (такова же величина этого коэффициента у татар — уроженцев Ленинграда), в то время как для остальных групп опрошенных K почти не варьирует в зависимости от срока проживания в городе и составляет около 1,4. На группу недавних мигрантов приходится и «пик» интенсивности дружеского общения: около 65% из них встречаются с друзьями не реже одного раза в неделю. Такой характер дружеского

³ Н. В. Юхнева. Изучение города как этнографическая проблема. — «Этнографические исследования Северо-Запада СССР». Л., 1977, с. 143. О влиянии сельских традиций на городскую культуру см. также: П. И. Симуш. Различия между городом и деревней и образ жизни. — «Вопросы философии», 1975, № 3, с. 31; Г. М. Ланно. О региональном подходе в исследовании и прогнозировании развития городов. — «Урбанизация и рабочий класс в условиях научно-технической революции», с. 354.

⁴ Е. С. Кузьмин. Основы социальной психологии. Л., 1967, с. 13, 14.

⁵ Опрос проводился в 1975—1976 гг. Сектором этнографии восточных славян Института этнографии АН СССР под руководством Г. В. Старовойтовой. Массив опрошенных составляет 2% от численности татар, проживающих в Ленинграде. По полу и возрасту отклонения от генеральной совокупности не превышают 5%.

⁶ «Ленинград и Ленинградская область в цифрах». Л., 1974, с. 19.

Интенсивность встреч с друзьями у мигрантов и уроженцев Ленинграда различных возрастных групп

Возраст	Встречаются с друзьями не реже одного раза в неделю, % к численности каждой группы		
	уроженцы Ленин- града	недавние мигранты	в среднем по массе
От 16 до 35 лет	69,5	67,5	67,5
Старше 45 лет	21,7	60,0	32,1

возраста. В этой группе опрошенных много молодых людей от 16 до 35 лет, которые, как известно, являются наиболее активными мигрантами⁷. Однако при сравнении одинаковых возрастных групп оказалось, что среди недавних мигрантов частота встреч с друзьями не зависит от возраста (см. табл. 1), в то время как для всего массива эта зависимость выражена довольно сильно ($T=0,219$)⁸.

Стабильная для всех возрастов интенсивность дружеского общения в группе недавних мигрантов подтверждает его значимость в период адаптации.

Обратные тенденции наблюдаются в сфере родственного общения. У всех респондентов с возрастом несколько повышается интенсивность родственного общения, однако статистической связи между этими факторами нет ($T=0,094$). В то же время у недавних мигрантов с возрастом резко меняется частота встреч с родственниками: не реже одного раза в неделю с ними встречается около трети респондентов моложе 45 лет и около 80% лиц старше этого возраста.

Как источник социокультурной информации дружеское общение существенно отличается от родственного. Круг друзей часто интернационален по своему составу (особенно в большом, многонациональном городе), однороднее по возрасту и, несомненно, отражает большую свободу выбора в соответствии с уровнем культурных запросов личности. Круг родственников в основном задан, он включает до трех, а иногда до четырех поколений. Интенсивные контакты между родственниками создают условия для передачи от старших поколений молодым не только национальной культурной информации, но и некоторых пережитков (религиозных, например), консервативных традиций, взглядов. Однако важнейшими критериями в сфере общения все чаще выступают «качество» и объем получаемой информации. «Поиск» новой информации является одним из фундаментальных признаков городского образа жизни⁹. Общение, ориентированное на замкнутый круг родственников, по-видимому, не способно в достаточной мере удовлетворять этому требованию. Как источник информации, основанной на «жизненном опыте», на возрастном авторитете, оно в значительной степени является элементом традиционной культуры общения¹⁰.

Так, если предложенный в анкете список возможных близких друзей проранжировать по частоте встреч с родственниками и с друзьями, то мы получим почти диаметрально противоположные структуры межличностного общения (см. табл. 2).

⁷ В каждом миграционном потоке преобладают респонденты тех возрастов, которым в период миграции было от 16 до 35—45 лет.

⁸ T — коэффициент статистической связи Чупрова.

⁹ Л. Б. Коган. Урбанизация и культура города (тенденции и механизмы). — «Урбанизация и рабочий класс в условиях научно-технической революции», с. 138—140.

¹⁰ Об этнических стандартах общения см. Б. Х. Бгажников. Коммуникативное поведение и культура. — «Сов. этнография», 1978, № 5, с. 3—17.

Соотношение структуры дружеского общения и частоты встреч с друзьями и родственниками

В качестве близких друзей были названы	Встречаются с родственниками не реже 1 раза в неделю (в %)	В качестве близких друзей были названы:	Встречаются с друзьями не реже 1 раза в неделю (в %)
1. Родственники	46,96	1. Друзья по учебе	66,07
2. Соседи по дому	37,83	2. Соседи по р-ну	55,55
3. Соседи по р-ну	37,78	3. Друзья по интересам	52,18
4. Другие (не вошедшие в перечень) друзья	37,50	4. Друзья по работе	49,09
5. Друзья по работе	35,50	5. Соседи по дому	46,84
6. Друзья по учебе	33,63	6. Родственники	40,86
7. Друзья по интересам	21,74	7. Другие (не вошедшие в перечень друзья)	40,83
В среднем встречаются с родственниками не реже 1 раза в неделю	37,87	В среднем встречаются с друзьями не реже 1 раза в неделю	47,83

Из таблицы видно, что интенсивное родственное общение связано главным образом, с «семейно-локальным» типом межличностных контактов, характерным для сельских и небольших городских поселений. Респонденты, имеющие близких друзей по работе, учебе, по интересам и любительским занятиям, в среднем реже, чем остальные опрошенные, встречаются с родственниками, но, первенствуют по частоте встреч с друзьями.

Расширение социальных связей, повышение возможностей, а отсюда и избирательности общения в большом городе приводят к падению роли «территориального» признака в межличностных коммуникациях. Повышается значимость контактов, основанных на взаимном информационном «пополнении», на общности профессиональных и внепрофессиональных интересов. Интенсивное дружеское общение связано именно с этим типом межличностных коммуникаций, требующих определенной избирательности и мобильности.

Таким образом, частота дружеского общения, с одной стороны, и родственного — с другой, может служить индикатором двух различных типов межличностных коммуникаций. Первый представляет стандарт общения в большом городе и присущ главным образом мобильным группам населения, в то время как второй соответствует «традиционно-сельскому» образцу общения с характерными для него тесными родственными и соседскими связями.

Исходя из сказанного, рассмотрим структуру дружеского общения недавних мигрантов. С изменением в зависимости от возраста частоты встреч с родственниками у таких мигрантов существенно трансформируется и структура дружеского общения. В этой группе респонденты старше 45 лет в качестве близких друзей называли родственников, товарищей по работе (по 30,8%), а также соседей по дому и по району (вместе 38,5%). Узость диапазона выбора друзей и преобладание здесь принципа родственной и территориальной близости отличает их как от более молодых респондентов с тем же сроком адаптации к городу, так и от всех остальных опрошенных татар. Например, удельный вес друзей — соседей у остальных мигрантов и уроженцев Ленинграда старше 45 лет составляет соответственно 18,8% и 11,1%; и в целом структура дружеского общения последних имеет больше общего с молодыми респондентами этих же групп, чем с недавними мигрантами старше 45 лет.

В то же время недавние мигранты моложе 45 лет по структуре дружеского общения мало отличаются от уроженцев Ленинграда этого же

**Структура дружеского общения недавних мигрантов и уроженцев Ленинграда
в возрасте от 16 до 45 лет**

Ближайшие друзья	Удельный вес каждой группы друзей, %	
	уроженцы Ленинграда	недавние мигранты
Друзья по работе	34,8	36,6
Друзья по учебе	19,9	23,6
Соседи по дому и по району	11,5	12,5
Родственники	18,8	18,1
Друзья по интересам и другие	14,9	9,7

возраста (см. табл. 3). Удельный вес родственников и соседей среди друзей у них в 2—3 раза меньше, чем у респондентов старше 45 лет. В обеих группах ведущее место занимают друзья по работе и учебе.

Недавние мигранты немного уступают татарам — уроженцам Ленинграда по числу дружеских связей, требующих определенного уровня избирательности общения: у местных уроженцев больше друзей, выбранных по интересам и любительским занятиям.

Таким образом, наиболее сильное влияние на структуру дружеского общения возраст оказывает в группе недавних мигрантов. Более молодая и, следовательно, мобильная и образованная их часть довольно легко адаптируется к различным особенностям городской культуры, в том числе и к особенностям общения. В то же время недавние мигранты пожилых возрастов выступают носителями традиционной структуры общения.

В процессе адаптации, особенно в условиях сложной культурно-национальной среды, особое значение для мигранта приобретает общение с родственниками и земляками. Влияние таких связей не однозначно: с одной стороны, они помогают индивиду освоиться, стабилизироваться в незнакомой инонациональной среде, с другой — могут способствовать созданию некоторой этноцентричности в общении, консервации отдельных традиционных форм культуры и, таким образом, замедлить процесс адаптации. Для татар, сравнительно недавно прошедших стадию урбанизации, характерна довольно высокая степень тесноты межличностных, персонифицированных контактов. Это было выявлено в результате социологического исследования в городах ТАССР¹¹, а также отмечалось самими респондентами при опросе в Ленинграде. Большинство респондентов не безразлично относится к наличию соседей одной с ними национальности и знает, живут они в их или в соседнем доме. Только 30,3% опрошенных ответили, что «не знают, не интересовались» этим вопросом. Среди остальных — 22,8% находятся с соседями-татарами в отношениях хорошего знакомства, 21,4% знают их «в лицо», соответственно 9,3 и 6,8 имеют среди них близких друзей и родственников. Можно добавить, что около 30% познакомилась с соседями-татарами через своих друзей или родственников. Такие данные характеризуют довольно высокий уровень тесноты «этнолокальных» контактов¹². С одной стороны, это может быть обусловлено традиционно крепкими родственными и дружескими связями у татар, с другой — условиями инонационального окружения, которое в силу более осознанного самовыделения этнической группы способству-

¹¹ Г. В. Старовойтова. К исследованию этнопсихологии городских жителей (по материалам опроса населения трех городов ТАССР). — «Сов этнография», 1976, № 3, с. 51. К сожалению, по Ленинграду нет аналогичного сравнительного материала.

¹² Ср. с общей оценкой соседского общения в Ленинграде, данной А. В. Барановым (указ. раб., с. 94), а также с данными по Новосибирску: М. В. Тимашевская. О некоторых социальных последствиях градостроительного эксперимента. — «Урбанизация и рабочий класс в условиях научно-технической революции», с. 289—291.

Таблица 4

Теснота общения с соседями-татарами¹³ в зависимости от предыдущего места жительства мигранта (в %)

Предыдущее место жительства	Не знают, не интересовались, живут ли рядом татары	Знают сосед-й-татар только в лицо	Немного знакомы со своими соседями-татарами	Имеют среди соседей-татар		Сумма
				близких друзей	родственников	
Село	30,2	25,2	26,6	12,2	5,8	100,0
Малый город	44,6	17,2	20,7	14,0	3,5	100,0
Крупный город	54,5	16,8	19,8	6,9	2,0	100,0

ет устойчивости этнической специфики в формах поведения и тесноте внутриэтнических контактов¹³.

По мере адаптации в городе теснота национального соседского общения падает, «смещаясь» вначале в сторону «хорошего знакомства», а затем просто визуального различения татар среди своих соседей. Интересно, что среди недавних мигрантов в 1,6 раза больше, чем в среднем по массиву опрошенных, респондентов, не интересовавшихся наличием соседей-татар (48,2%); и в то же время в этой группе в 1,9 раза больше лиц, имеющих среди последних близких друзей.

Такая «поляризация» ориентаций в отношении этнолокального типа общения, вероятно, не случайна именно в группе недавних мигрантов. Миграция в такой крупный город, как Ленинград, для подавляющего большинства является довольно резкой сменой культурной среды, что может вызывать двоякую социально-психологическую реакцию. Стремление к быстрому освоению новых форм культуры и типов общения может приводить к отрицанию (иногда демонстративному) старых, привычных норм поведения¹⁴. Эта тенденция, по-видимому, особенно характерна для молодых мигрантов, легче отказывающихся от традиционных стереотипов поведения. Вместе с тем какая-то часть мигрантов в силу возраста, сравнительно невысокого уровня образования и т. д., оказавшись в городе, видимо, стремится по возможности «реконструировать» привычную микросреду. Для них «этнолокальный» тип общения является не только знакомой моделью культурных традиций села или малого города, из которых они приехали в крупный многонациональный город, но и каналом передачи и сохранения этих традиций. Кроме того, структура общения, основанная на родственно-соседских узах, может являться своеобразным защитным механизмом, способом компенсации обезличенности и одновременно насыщенности городского общения.

Существенное влияние на стремление к этнолокальному общению оказывает величина поселения, из которого приехал мигрант (см. табл. 4).

Как видно из таблицы, степень знакомства и теснота общения со своими соседями-татарами тем меньше, чем крупнее центр, из которого прибыл мигрант. Причем, когда речь идет о близких друзьях среди соседей-татар, разрыв между мигрантами, прибывшими из крупных урбанизированных центров и малых поселений, увеличивается в 1,8 раза. Мигранты из городов быстрее и легче адаптируются и в большом, инонациональном по отношению к ним центре. Для них дружеские связи, основанные на этнолокальной близости, не имеют большого значения.

¹³ Г. В. Старовойтова. Указ. раб., с. 55.

¹⁴ Ю. Лотман, Б. Успенский. О семиотическом механизме культуры.— «Труды по знаковым системам», в. V, Тарту, 1971, с. 145.

Тем не менее в условиях иноэтнического окружения наличие соседей-татар редко остается незамеченным.

Итак, неотъемлемым аспектом адаптации к городу является освоение особенностей городского общения. Быстрее этот процесс идет среди более молодой и социально-активной части мигрантов. Носителями «традиционно-сельского» стандарта общения, с его тесными родственно-соседскими связями, выступают мигранты пожилых возрастов. Через общение, являющееся важнейшим механизмом трансляции культуры, в значительной мере познаются принятые в данной среде культурные ценности, нормы поведения. Поэтому можно предполагать, что структура общения отражает и другие аспекты процесса адаптации, связанные с профессиональной и культурно-бытовой жизнью мигранта; исследование их может быть предметом дальнейшего изучения.

А. И. Гинзбург

О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НА МИГРАЦИЮ ИЗ СЕЛА В ГОРОД

(НА МАТЕРИАЛЕ МОЛДАВСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ССР)

Процесс урбанизации, активно развивающийся в нашей стране,— один из наиболее сложных социальных процессов. Очень важным количественным показателем его является рост удельного веса городского населения во всем населении страны, который происходит как за счет естественного, механического прироста, так и в результате административных преобразований сельских населенных пунктов в городские, а также за счет миграции из села в город, вовлечения в русло городской жизни все новых слоев сельского населения.

За время, истекшее между переписями 1970 и 1979 гг., городское население СССР выросло с 56 до 62%. Численность горожан увеличилась на 27 млн. чел., а сельских жителей уменьшилась на 6,9 млн. Поэтому вполне закономерно, что интерес к проблемам миграции, и в частности к миграции из села в город, в последнее время заметно повысился. В изучении процесса урбанизации наметились различные аспекты: экономический, социальный, этнографический и др. Перед исследователями стоят задачи изучения не только самого факта механического перемещения (миграций), но и процессов закрепления мигрантов в новых для них условиях, адаптации¹ к городской жизни.

Обычно проблема адаптации рассматривается в комплексе с другими вопросами, связанными с исследованием миграционных процессов². Наиболее полно миграция сельских жителей в города исследована сибирскими учеными, которые фундаментально и разносторонне изучают миграции в связи с трудовыми проблемами Сибири³.

Другой аспект исследования предполагает изучение влияния города на мигранта, на изменение его ценностных ориентаций, установок, пси-

¹ Под адаптацией нами понимается процесс вживания в новую среду, сопровождающийся перестройкой всей системы ценностных установок и ориентаций.

² «Социальные исследования». М., 1969; В. Г. Венжер. Социально-экономические проблемы индустриализации сельскохозяйственного производства.— «Вопросы экономики», 1971; В. И. Староверов. Город и деревня. М., 1972; «Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс». М., 1972; О. В. Лармин. Методологические проблемы изучения народонаселения. М., 1974; А. Г. Антипов. Воздействие средств массовой информации на профессиональную ориентацию молодежи.— «Социологические проблемы общественного мнения и средств массовой информации», М., 1975; В. И. Переведенцев. Методы изучения миграции населения. М., 1975; В. И. Староверов. Социально-демографические проблемы деревни. М., 1975; Г. А. Слесарев. Демографические процессы и социальная структура социалистического общества. М., 1978.

³ Ж. А. Зайончковская, В. И. Переведенцев. Современная миграция населения Краснодарского края. Новосибирск, 1964; В. И. Переведенцев. Миграция населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск, 1966; Ж. А. Зайончковская. Новоселы в городах. М., 1972; Д. Л. Константиновский. Региональные и национальные особенности в профессиональных ориентациях молодежи Сибири.— «Изв. Сибирского отделения АН СССР», I, 1975; «Современная сибирская деревня». Новосибирск, 1975.

хологии. Этот аспект мало изучен, несмотря на интерес, проявленный к нему большинством ученых, занимающихся вопросами миграции.

Интенсивность миграции населения из села в город различна в отдельных регионах страны. Наименьший отток из села в 1970 г. наблюдался в Средней Азии (в среднем в год 5 чел. на 1000), а также в Молдавии и Закавказье (менее 10 чел. на 1000) ⁴.

Миграция сельского населения в города не во всех районах страны соответствует потребностям городов в рабочей силе. В связи с этим важное значение приобретает приживаемость сельских мигрантов в городе, их социальная и психологическая адаптация к новым условиям жизни.

Велико различие между мигрантами, неполностью и полностью адаптировавшимися в городе. У первых могут не происходить изменения в сознании, поведении, ориентациях, у вторых они обязательно происходят. Следовательно, если приживаемость можно условно назвать первой ступенью освоения мигрантом города, то адаптация — это вторая ступень, качественно новое состояние мигрантов. Переход мигранта из одного состояния в другое зависит как от объективных обстоятельств, связанных с уровнем его образования, специальностью, знанием условий городской жизни и его психологических особенностей, так и от среды выхода и среды, в которую он попадает в городе.

При переезде в город мигрант сталкивается с рядом трудностей психологического плана, преодоление которых зависит во многом от его адаптивных способностей. Видный американский социальный психолог Г. Шибутани, оценивая значение психологических моментов в социальной жизни, пишет: «Каждая личность характеризуется индивидуальной комбинацией приемов, позволяющих справляться с затруднениями, и эти приемы могут рассматриваться как формы адаптации. В отличие от понятия „приспособление“, которое относится к тому, как организм приспособляется к требованиям специфических ситуаций, адаптация относится к более стабильным решениям — хорошо организованным способом справляться с типическими проблемами, к приемам, которые кристаллизуются путем последовательного ряда приспособления» ⁵. Необходимость адаптации к новой ситуации держит личность в состоянии внутренней мобилизации. До тех пор пока существует это состояние, мигрант чувствует себя в новой среде дискомфортно. Переориентация и умение адаптироваться к новым городским условиям зависят от множества факторов. В данной статье мы остановимся на некоторых вопросах, связанных с влиянием специфических национальных особенностей бытового уклада на миграцию в город и на адаптацию к нему бывших сельских жителей коренной национальности ⁶ в Молдавии и Узбекистане; а также рассмотрим влияние уровня образования, социально-профессиональной принадлежности мигрантов и знания ими русского языка на миграционную активность и адаптацию мигрантов в городе. Источниками для данной работы послужили статистические сведения и некоторые материалы этносоциологических исследований, проводившихся с 1972 по 1976 г. сектором конкретно-социальных исследований Института этнографии АН СССР по теме «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» ⁷, предусматривавших получение информации и о мигрантах.

⁴ В. И. Переведенцев. Методы изучения миграции населения. М., 1975, с. 23, 64.

⁵ Г. Шибутани. Социальная психология. М., 1969, с. 78.

⁶ Под коренной национальностью понимается национальность, давшая наименование республике.

⁷ См.: Ю. В. Арутюнян. Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР. — «Сов. этнография», 1972, № 3; Ю. В. Арутюнян, В. С. Кондратьев. Об осуществлении в Молдавской ССР исследования «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР». — «Итоги полевых исследований Ин-та этнографии в 1971 г.», М., 1972.

Таблица 1

Удельный вес сельского населения Узбекистана и Молдавии
в общей численности населения республики, % *

Регион	Годы			
	1940 г.	1959 г.	1970 г.	1979 г.
Узбекская ССР	75	66	63	59
Молдавская ССР	87	78	68	61
В целом по стране	67	52	44	38

* Составлено по: «Народное хозяйство СССР». М., 1977, с. 44; «Население СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.». М., 1980, с. 4, 8—11.

В обеих республиках работа велась в городах разных типов. В Молдавии исследования проводились в Кишиневе — столице республики с населением более 300 тыс. чел., в сравнительно больших городах Бельцах и Тирасполе, в средних городах — Кагуле и Сороках и в «малых» городах — Фалешти и Калараше. Всего в городах республики было опрошено 1984 молдаванина, как выяснилось, 44,9% из них — являлись мигрантами из села.

В Узбекистане исследования проводились в столице республики Ташкенте, насчитывающей около 1,5 млн. жителей, в больших городах Самарканде и Андижане, в средних — Ангрене и Алмалыке, в «малом» — Катакургане. В городах Узбекистана был опрошен 1271 узбек, 13,9% их оказались сельскими мигрантами.

Интерес к изучению особенностей миграционной активности и адаптации сельских мигрантов в Молдавии и Узбекистане вызван прежде всего тем, что в этих республиках сельское население намного превышает средние показатели по Союзу; так, если в целом по СССР сельские жители в 1979 г. составляли 38% всего населения, то в Узбекистане их было — 59%, а в Молдавской ССР — 62%. Но, несмотря на то что доля сельского населения в Молдавии и Узбекистане почти одинакова, темпы роста в них городского населения за счет сельского коренной национальности различны. Так, в Молдавии за период с 1959 по 1979 г. удельный вес сельского населения уменьшился на 17%, а в Узбекистане — на 7% (см. табл. 1).

Данные статистики и материалов этносоциологического обследования за последние десятилетия дают основание предполагать, что в ближайшее время в Молдавии миграционная активность сельского населения будет возрастать, в Узбекистане же, по-видимому, значительных изменений не ожидается.

Больше всего различаются показатели миграции в столицы этих республик. Так, если в Кишинев (число жителей которого по Всесоюзной переписи 1970 г. составило 356 тыс. чел.) за два года перед переписью прибыло из сел Молдавии 4,3% общей численности населения города, то в Ташкент с населением 1 384 503 чел. из сел Узбекистана за то же время прибыл всего 1% общей его численности⁸.

В Узбекистане большинство сельских жителей, опрошенных нами, полностью удовлетворены условиями жизни в селе и только 5% намереваются переехать в город. Такая низкая ориентация на мобильность обусловлена исторически сложившимися национальными традициями. Подавляющее большинство узбекского населения традиционно занималось сельским хозяйством. Хлопководство — основная отрасль его — до недавнего времени требовало огромного числа рабочих рук. Научно-технический прогресс, механизация и автоматизация многих сельскохозяй-

⁸ «Народное хозяйство СССР». М., 1977, с. 44.

ственных процессов значительно сократили потребность в рабочих руках. Но привычные бытовые ориентации сельских жителей оказались устойчивыми. Узбекским сельским жителям чрезвычайно трудно преодолеть психологический барьер, связанный с национальными традициями, в первую очередь с крепкими родственными и соседскими связями, с многодетностью узбекских семей, ранними браками. Существенное значение имело и имеет недостаточное владение русским языком — языком межнационального общения, знание которого необходимо в городской среде.

В Молдавии сложились несколько иные условия. Там издавна было распространено отходничество: глава семьи, а часто и старшие дети уезжали в город на заработки. Отдельные семьи отходников со временем переезжали в город. Отходники привносили в сельскую среду те городские стандарты, которые определяли их жизнь в городе. Молдаване, как правило, не были ограничены общением только с людьми своей национальности. В деревнях рядом с ними селились русские, украинцы, евреи и др., что способствовало привыканию к многонациональной среде. Таким образом, происходящее в Молдавии перераспределение сельского и городского населения в определенной степени обусловлено традиционно сложившимся там положением.

Для различных категорий сельских жителей характерна неодинаковая миграционная активность. Неодинаковы также причины, притягивающие их в город в Молдавии и в Узбекистане. Наиболее активна в миграционном отношении молодежь, которую привлекает в город прежде всего возможность получить среднее специальное или высшее образование. Что касается социально-профессиональных групп, то миграционная активность более высока среди руководителей высшего звена и специалистов с высшим образованием, для которых город привлекателен прежде всего как культурный центр. Из числа специалистов со средним сельскохозяйственным образованием в город уезжают обычно только те, кто намерен получить высшее образование. Среди остальных категорий сельских жителей стремление переехать в город невелико. Следовательно, потенциальные мигранты — чаще всего молодые люди, имеющие сравнительно высокий образовательный уровень, для которых не всегда имеются в селе реальные возможности продолжить образование или приобрести желаемую специальность.

Адаптации к городским условиям жизни в значительной мере способствуют образование, профессиональная ориентация и психологическая подготовленность мигранта. Особенно большую роль играет знание русского языка, так как города Молдавии и Узбекистана многонациональны. В Ташкенте, например, в 1970 г. узбеки составляли 37,1% населения, русские — 40,8%; татары — 7,1%, украинцы — 2,9%, корейцы — 1,4%, армяне — 1,0%, таджики — 0,6% и т. п. В Кишиневе в том же году молдаване составляли 37,2% населения, русские — 30,7%, украинцы — 14,2%; болгары — 1,1%, белорусы — 0,7%, гагаузы — 0,7% и т. п. По существу, для жителей Ташкента и Кишинева языком межнационального общения является русский язык⁹.

Этнический состав мигрантов близок к этнической структуре городов, и это закономерно: чем шире представлены те или иные национальности в городе, тем легче мигрантам данной национальности адаптироваться в нем. Переезд будущих мигрантов в город облегчается в том случае, если в городе они могут найти привычную языковую среду, рассчитывать на помощь своих родственников в отношении трудового и бытового устройства, наконец, просто на психологическую поддержку в решении различных жизненных вопросов и т. д.

⁹ «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.». М., 1973, т. VII, с. 218, 279.

В 1970 г. в Молдавии большинство городских жителей коренной национальности — 62,5% — владело русским языком, тогда как среди узбеков доля владеющих русским языком была вдвое меньше¹⁰.

Языковая ситуация в Молдавии и Узбекистане различна. В Молдавии сельские жители коренной национальности общаются преимущественно с русскими и украинцами и поэтому в той или иной степени владеют русским и украинским языками. В Узбекистане многие узбекские кишлаки соседствуют с поселениями других среднеазиатских народов, и узбеки обычно кроме родного языка знают также язык, на котором говорят в соседнем селении. Русским языком как вторым владеют в селах Молдавии 27,5% молдаван, а в Узбекистане соответственно — 7,2% узбеков. Естественно, что, попадая в городскую среду, быстрее приспосабливаются к ней молдаване. Русским языком узбеки обычно овладевают в школе, реже в семье. Поэтому так важны степень квалификации преподавателей русского языка, особенно в национальных школах Узбекистана, и оснащение школ необходимыми учебными пособиями.

По данным этносоциологических исследований, в Молдавии первые годы жизни в городе на работе чаще всего говорят на молдавском языке — 45,6%, на русском языке — 15,3%, на обоих языках — 29,3% мигрантов; прожив в городе 5 лет и более, они уже больше пользуются русским языком — 27,5% и обоими языками — 36,1%. Овладению русским языком способствуют контакты мигрантов с представителями других народов на работе и в учебных заведениях.

Недостаточное знание русского языка узбеками — сельскими жителями затрудняет их вживание в городскую среду. Лишь в случае миграции в город с незначительными иноэтническими группами для сельского жителя не возникает сложности в языковом общении с окружающими. Обычно это старые, так называемые малые города. Сельские мигранты приживаются легче именно в таких городах, где, кроме благоприятной для них языковой ситуации, существуют еще и другие привлекательные для мигрантов черты, а именно уклад жизни, близкий к сельскому.

По-другому складывается обстановка для мигрантов в городах преимущественно с инонациональным составом. Так, в городе Тирасполе по переписи 1970 г. молдаване составляли только 15,4% населения; сходное положение в узбекском городе Ангрене (20% узбеков). Влияние традиций национальной среды в таких городах ослаблено.

Новая среда заставляет мигрантов менять какие-то нормы поведения и ценностные ориентации соответственно тем, которые существуют в данной городской среде. Особенно активно это происходит в столицах республик.

Адаптация к городскому образу жизни обусловлена многими обстоятельствами, в частности характером производства. Многое зависит и от самих мигрантов, от их «подготовленности» к условиям городской жизни, от уровня их образования (если они хотят продолжать учебу), профессиональной подготовки (если они собираются сразу начать работать) и, видимо, от каких-то индивидуальных психологических особенностей, в том числе способности легко или трудно адаптироваться в новой среде. Замечено, что если меняется только производственная сфера деятельности, а не весь образ жизни людей, то адаптация происходит быстро и почти безболезненно.

По-разному проходит адаптация мигранта к крупному и небольшому предприятию, к большому, среднему и малому городу. Более органично он входит в однопациональный коллектив, характерный для предприятий малых городов; на них, как правило, и поступают работать сельские жители коренной национальности, которые, переехав в город, оказываются в привычном этническом окружении. Однако в малом городе редко

¹⁰ Там же, с. 207, 278.

**Уровень образования сельских мигрантов и их родителей,
% к числу опрошенных**

Уровень образования	Молдаване			Узбеки		
	мигранты в момент опроса	отцы	матери	мигранты в момент опроса	отцы	матери
До 4-х классов	10,2	53,5	71,5	20,4	53,2	63,2
4—6 классов	4,8	16,1	9,2	4,7	7,0	9,4
7—9 классов	19,2	12,5	6,4	14,6	11,1	8,8
Законченное среднее	19,5	3,7	2,6	20,5	9,4	5,8
Специальное среднее	12,4	2,8	2,2	8,8	3,5	1,8
Незаконченное высшее и высшее	32,5	2,1	0,8	29,2	8,2	3,5
Не ответили	1,4	9,3	7,3	1,8	7,6	7,5
Итого:	100	100	100	100	100	100

имеются учебные заведения, и молодежь, стремящаяся продолжить образование, мигрирует в средние и особенно в большие города, несмотря на известные трудности адаптации, которые их там ожидают. Миграционные процессы, несмотря на непрерывное повышение уровня жизни сельских жителей, все более захватывают их. Сельских жителей перспективных, развивающихся районов привлекает в города обычно не желание повысить материальный уровень (в селе для этого часто больше возможностей), а именно городской образ жизни. Сельских мигрантов, в том числе молдавских и узбекских, город привлекает теми возможностями, которых недостаточно в селе.

В группе мигрантов, живущих в городе до 5 лет, абсолютное большинство составляет молодежь в возрасте 18—24 лет. Более пяти лет живут в городе в основном мигранты возрастной группы 25—49 лет. По соотношению полов обе эти возрастные группы почти равны, а по образовательному уровню заметно отличаются одна от другой. В Узбекистане преобладают мигранты до 24 лет (61,4%), среди них больше всего лиц до 18 лет — учащихся ПТУ, техникумов, вузов, а также детей, которые приехали вместе с родителями. В первые годы жизни в городе мигранты выше всего ценят его культурную среду. Это отметили в интервью более 70% бывших сельских жителей молдаван и 46,2% узбеков. С течением времени для мигрантов приобретают большее значение вопросы быта, снабжения, оплаты труда. Ценятся и широкие возможности выбора специальности для детей.

При проведении этносоциологических опросов в Узбекистане мигрантам был задан вопрос, где они работали после переезда в город. 35,7% опрошенных занимались физическим трудом, и только 5,9% были специалистами высшей и средней квалификации. Сразу после переезда стали учиться в различных специальных учебных заведениях 36,8%.

Социальные преобразования, происходящие в Молдавии и Узбекистане, отражаются на всех сторонах жизни населения, в том числе и на изменении уровня образования бывших сельских жителей. Образовательный уровень и возраст взаимозависимы. Межпоколенные различия в уровне образования наглядно прослеживаются по материалам этносоциологических исследований (см. табл. 2).

Мигранты-молдаване со средним специальным и высшим образованием составляют 44,9%, узбеки — 38,0%; как правило, они получили его в городе. Родители мигрантов, имеющих его, составляют всего около 3%. Малограмотных среди родителей мигрантов молдаван и узбеков около 60%.

Таблица 3

Социально-профессиональное положение сельских мигрантов и их родителей,
% к числу опрошенных

Социально-профессиональные группы	Молдаване			Узбеки		
	мигранты в момент опроса	отцы	матери	мигранты в момент опроса	отцы	матери
Неквалифицированные, мало-квалифицированные работники физического труда	15,3	61,5	78,9	39,2	63,7	78,9
Работники квалифицированного физического труда	26,7	6,5	1,2	21,6	5,8	1,2
Служащие	4,6	2,3	1,1	1,8	2,9	2,3
Специалисты средней квалификации	9,4	6,1	2,2	5,3	2,9	4,1
Специалисты высшей квалификации	33,8	0,9	1,1	28,1	5,8	2,3
Руководители среднего звена	2,3	3,1	0,8	3,5	2,3	0,0
Руководители высшего звена	0,8	0,9	0,2	0,0	3,5	0,0
Не ответили	7,1	18,7	14,5	0,5	13,1	11,2

Изменилось и профессиональное положение мигрирующих сельских жителей. Среди тех молдаван и узбеков, которые переехали в город еще в середине 60-х годов, не менее 50% начинали свою трудовую деятельность с малоквалифицированного труда. Большинство мигрантов 70-х годов начинали работать после получения среднего или высшего специального образования. В современных условиях молдавская и узбекская нации быстро меняют социальный облик. Эти изменения отражаются со всей очевидностью в каждой возрастной группе, что находит подтверждение в социальном статусе рассматриваемых групп мигрантов.

Социальное продвижение современных мигрантов по сравнению с их родителями идет значительно быстрее (см. табл. 3).

Анализ полученных данных со всей очевидностью показывает, как с повышением образовательного уровня мигрантов (в сравнении с их родителями) происходит их социально-профессиональный рост.

Более сложные и интересные виды деятельности, которыми занимаются мигранты, чаще создают у них ощущение удовлетворенности работой. В свою очередь удовлетворенность производственной деятельностью является одним из важнейших условий успешной адаптации мигранта в городе. Отвечая на вопрос о том, что важно, чтобы чувствовать себя счастливым, более 70% мигрантов на первое место поставили интересную работу. Неудовлетворенность работой — один из показателей дискомфорта состояния личности. Большинство мигрантов удовлетворены своей работой и не собираются ее менять, она соответствует их ожиданиям. Удовлетворенность работой связана у мигрантов с ощущением своей причастности к жизни коллектива. Об адаптации мигранта к новым условиям труда часто свидетельствует степень его участия в общественной жизни коллектива, совпадение самооценки с оценкой коллектива его общественной и производственной деятельности. В первые годы жизни в городе, а соответственно и в первые годы работы мигрант не сразу находит свое место в трудовом коллективе. Постепенно, адаптируясь на производстве, он все более активно участвует в общественной жизни. Темпы профессиональной адаптации, как правило, связаны с социальной и общественной активностью мигранта.

Сравнительный анализ данных о группах молдавских мигрантов, живущих в городе до 5 и свыше 5 лет, показал, что у последних на 22% больше лиц, участвующих в общественной жизни коллектива (55 про-

тив 33%), и почти на 20% больше удовлетворенных работой. Аналогичная картина наблюдается и среди узбекских мигрантов.

На ход адаптации благоприятно влияет совпадение социально-профессиональных ориентаций мигрантов с их реальной трудовой занятостью, создающее удовлетворенность работой.

Трудовая деятельность мигрантов в городе во многих случаях обуславливается профессиональной ориентацией, сложившейся еще до переезда в город, и зависит от многих факторов, в том числе от традиционного отношения к различным видам деятельности, престижности профессии.

Молдавские и узбекские сельские мигранты в городе вовлекаются, по существу, во все городские профессии, однако в каждой республике есть наиболее предпочтительные, конечно, со временем их набор меняется. Так, если в 1960-х годах в Молдавии на предприятиях сферы обслуживания было занято 10,9% всех прибывших сельских жителей, то к моменту обследования (1972 г.) их осталось там 4,2%. В Узбекистане же 77,8% мигрантов, работающих в сфере обслуживания, живут в городе 10 лет и более и только 16,7% живут здесь менее 5 лет. В последнее время выбор профессий у мигрантов становится все более разнообразным. Бывшие сельские жители работают во всех отраслях народного хозяйства так же, как и коренные городские жители. То, что для мигранта в городе нет ограничений в выборе рода деятельности и он чувствует себя там вполне адекватно своим ожиданиям, способствует его вживанию в новую среду. Адаптация к новым условиям трудовой деятельности, как правило, протекает легко, что свидетельствует о равных возможностях и претензиях как приехавшего в город мигранта, так и исконно городского жителя.

В многонациональном городе мигранты общаются с людьми разных национальностей, но друзей среди них чаще находят люди в возрасте до 25 лет (в Узбекистане 70%, в Молдавии — 71,2%). Молодежь быстрее включается в жизнь городов и воспринимает те ориентации на потребление культуры, которые характерны для данной среды.

Все мигранты, независимо от возраста, долго сохраняют связи с родным селом, где у них остаются близкие родственники и друзья. Но не только родственные и дружеские связи, а весь уклад прошлой сельской жизни, привычное окружение продолжают притягивать и узбекских, и молдавских мигрантов, поэтому в первое время они часто бывают в селе: более половины их — чаще одного раза в месяц. Прожив в городе свыше 5 лет, привыкнув к городскому образу жизни, адаптировавшись к новым условиям, приобретя новых друзей и товарищей, бывшие сельские жители начинают реже ездить в село (раз в месяц и чаще бывают там уже только 33,8% мигрантов-молдаван). Но и после 5 лет жизни в городе связи с селом окончательно не порываются: около половины бывших сельских жителей ездят на родину по несколько раз в год.

Мигранты, независимо от времени проживания в городе, высоко оценивают сельскую жизнь. Около 24% молдаван, живущих в городе до 5 лет, отметили, что в селе лучшие материальные условия; многие из мигрантов находят, что жизнь в деревне спокойнее. И все же большинство мигрантов не хотят менять город на село. Так, в Узбекистане городскую жизнь привлекательнее сельской считают 70,2% мигрантов.

Наиболее точным показателем адаптации к новым городским условиям служит нежелание мигрантов возвращаться в село. В Молдавии 82,2%, в Узбекистане 78,9% бывших сельских жителей не собираются уезжать в родные места. Желанию навсегда остаться в городе в немалой степени способствуют повышение образовательного уровня мигрантов и приобщение к городскому образу жизни.

Вопросы пополнения населения городов, проблемы приживаемости в них сельских мигрантов еще недостаточно изучены, особенно в аспекте социально-психологической адаптации. При разработке данной проблемы предусматривается рассмотрение условий, способствующих успешному преодолению адаптационного периода, усвоению новых для мигрантов норм поведения, что возможно только в том случае, когда снимается состояние напряжения, внутренней мобилизации.

Поскольку мы исходим из того, что темпы миграционной активности детерминируются различными объективными и субъективными факторами, выделим наиболее значимые из них. К первым относятся исторически сложившиеся социальные и этно-демографические характеристики населения и особенности его расселения в различных регионах страны. Ко вторым — главным образом психологические установки и ориентации. В целом же взаимозависимые объективные и субъективные факторы определяют специфические особенности различных национальных групп мигрантов, в данном случае молдаван и узбеков, влияющие на их миграционную активность.

Национальные бытовые традиции мигрантов, а также социальные характеристики, присущие в данный момент народу, например, уровень образования, степень урбанизации, профессиональная ориентация и т. д. оказывают влияние на продолжительность времени, необходимого для адаптации к городской среде. Для выявления роли в миграционных процессах и адаптации мигрантов к городу объективных и субъективных факторов необходимы еще конкретные сопоставимые исследования.

Актуальным является также выяснение механизма миграций и условий способствующих оптимизации этих процессов.

В данной статье подняты лишь некоторые вопросы. Их дальнейшая разработка позволит выявить как общие закономерности миграционных движений и адаптации сельских жителей к городу, так и специфически национальные и региональные их особенности.

Н. Е. Урушадзе

**СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК ИЗ ТРИАЛЕТИ
КАК ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК**

Среди памятников древнегрузинского декоративно-прикладного искусства, все еще остающихся загадочными по заложенному в них смыслу и значению, одно из видных мест занимает широко известный в научных и художественных кругах серебряный кубок из Триалети (рис. 1), найденный Б. А. Куфтиным в 1938 г. в одном из курганных захоронений древних поселенцев Южной Грузии. Кубок привлек внимание весьма своеобразным декором. Покрывающие его поверхность фризы породили большие споры, не получившие своего разрешения и по сей день. Сказанное касается прежде всего верхнего фриза, на котором изображены загадочные антропоморфные существа, нигде больше во время археологических раскопок в Грузии не обнаруженные.

Полное отсутствие прямых параллелей заставило привлечь иной сравнительный материал, и прежде всего историко-этнографические данные. Но весь вопрос заключается как раз в том, какие из данных действительно помогают решению главного вопроса: какой мир образов и представлений воплощен в этом замечательном памятнике древнегрузинской тореvтики и с какими целями.

Все исследователи сходятся в признании культово-религиозного характера действия, изображенного на верхнем фризе, трактуя его как ритуальную сцену¹. В соответствии с этой концепцией каждый из ученых стремится по-своему объяснить, какому именно божеству (центральная фигура композиции) поклоняются участники ритуальной сцены. Б. А. Куфтин считает, что это — «первоначальное охотничье божество»², В. В. Бардавелидзе усматривает в сюжете поклонение верховному божеству Мориге Гмерти³, М. Я. Чиковани — богине охоты Дали⁴, Ш. Я. Амиранашвили и П. Ушаков — хеттскому богу весны, растительности и возрождения Телепину⁵. Но основной спор разгорелся из-за трактовки остальных человекообразных фигур фриза: люди это или звери, а может быть, какие-то фантастические существа?

¹ Б. А. Куфтин. Археологические раскопки в Триалети, I. Тбилиси, 1941, с. 90; Ш. Я. Амиранашвили. История грузинского искусства. М., 1963, с. 14, 23; П. Н. Ушаков. Хеттская проблема. — «Труды Тбилисского гос. ун-та», N XVIII. Тбилиси, 1941, с. 111; В. В. Бардавелидзе. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен. Тбилиси, 1957, с. 94 и след.; М. Я. Чиковани. Народный грузинский эпос о прикованном Амирани. М., 1966, с. 36 и след.; Д. С. Джанелидзе. Истоки происхождения грузинского театра. Тбилиси, 1947 (на груз. яз.).

² Б. А. Куфтин. Указ. раб., с. 89.

³ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 249.

⁴ М. Я. Чиковани. Указ. раб., с. 41.

⁵ П. Н. Ушаков. Указ. раб., с. 111.

Мнения резко разделились. Б. А. Куфтин полагал, что это изображение рядовых участников культовой сцены в ритуальных костюмах. Волчий хвост, прикрепленный к костюму, он считал тотемным знаком, что и послужило для него главным аргументом для отнесения всего действия к охотничьим обрядам. По существу, той же точки зрения придерживается и В. В. Бардавелидзе, считающая персонажей композиции общинными божествами одного из грузинских племен⁶. М. Я. Чиковани же полагает, что «все участники носят медвежьи маски и волчьи хвосты — атрибут охотника»⁷. Ш. Я. Амиранашвили называет их жрецами в звериных масках, а П. Н. Ушаков — участниками ритуального шествия в масках кротов⁸.



Рис. 1. Серебряный кубок из Триалети

Таким образом, одни исследователи ограничиваются описанием изображения, другие пытаются раскрыть его содержание в зависимости от общего понимания смысла самого ритуального действия. Характерно, что никто, за исключением М. Я. Чиковани, по существу, не сопоставлял изображения на кубке с местным археологическим материалом с целью установления преемственности соответствующих изобразительных традиций. Между тем, как мы увидим далее, именно этот путь оказывается наиболее эффективным, исключаяющим столь большое разночтение всей композиции в целом и каждого из ее компонентов в отдельности.

Начнем с того, что если проанализировать интересующие нас персонажи с позиций художественного анализа, то нельзя будет найти сколько-нибудь убедительных доводов для того, чтобы посчитать персонажей композиции замаскированными под «медведей» (М. Я. Чиковани) или же под «кротов» (П. Н. Ушаков). И дело не только в том, что подобная манера изображения названных животных вообще не характерна для древнегрузинского искусства во всех его жанрах и видах, а в том, что древним анималистам вообще была чужда какая-либо приблизительность в изображении конкретного промыслового или тотемного зверя,

⁶ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 95, 99, 109.

⁷ М. Я. Чиковани. Указ. раб., с. 40.

⁸ Ш. Я. Амиранашвили. Указ. раб., с. 19.

что подтверждается примером самого же триалетского кубка, хотя бы всем стилем и характером изображенных на нем животных.

Однако если это маски не медведей или кротов, то, быть может, это маски каких-либо других зверей?

Правильный ответ на поставленный вопрос имеет принципиальное значение для раскрытия сюжета, т. е. выяснения ритуального назначения кубка. Поэтому так важно на данном этапе выяснить мировоззрение его создателей, на черты которого в свое время уже указывал Б. А. Куфтин, относя создание кубка к периоду разложения охотничьего уклада и видя в нем отражение волчьего тотема⁹. Того же мнения придерживается В. В. Бардавелидзе, опирающаяся на сохранившиеся сведения о древнейших религиозных верованиях и пережиточных формах мировоззрения грузинских племен, равно как и на семантический анализ целого ряда памятников материальной культуры, непосредственно



Рис. 2. Загадочные антропоморфные существа на верхнем фризе кубка из Триалети.

или косвенно относящихся к кругу указанных представлений и их дальнейшей трансформации в культ мифических собак мцеварни¹⁰. В. В. Бардавелидзе пишет, что на «основе почитания тотемного волка были созданы образы архаических антропоморфных божеств одного из грузинских племен, запечатленные на археологическом серебряном кубке»¹¹.

Но так ли это на самом деле?

На более поздних, но относящихся к тому же кругу мифологических представлений изображениях на бронзовых поясах сохранились образы антропоморфных существ со звероподобными мордами, которые вполне соответствуют характеристике, данной В. В. Бардавелидзе фигурам *хвтисивилни*, согласно которой звероподобные морды аналогичны конкретному образу, олицетворяющему стихийные силы природы. Однако можно констатировать, что триалетский художник отнюдь не ставил перед собой задачи придать персонажам композиции звероподобный облик путем воспроизведения внешних черт соответствующего зверя.

С другой стороны, как будто не столь уж безосновательно предположение о том, что в рассматриваемом нами изображении ритуального шествия имеются лица в масках. Хотя это прямо и не подтверждено археологичес-

⁹ Б. А. Куфтин. Указ. раб., с. 90.

¹⁰ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 49, 95, 104.

¹¹ Там же, с. 104.

вах, посвященных богу Дионису, которые, кстати, в своеобразном виде бытовали и в Грузии¹². Это подтверждается не только различными источниками, но и археологическими раскопками в Вани и в двуречье Ксани и Арагвы. Найденные там терракотовые маски юношей, украшенные виноградными гроздьями, считаются изображениями самого Диониса¹³.

Видимо, отголоски культа этого божества сохранились в грузинской мифологии и фольклоре, поскольку у Д. Багратиони говорится, что существует у грузин праздник, когда «танцоры пляшут с различными телодвижениями». Баснословят у нас, что сей род танцев будто остался от бога Диониса, как и пивоварение¹⁴. И все-таки, несмотря на все сказанное, мы не можем утверждать, что на триалетских кубках изображены звероподобные существа (В. В. Бардавелидзе) или же «замаскированные жрецы» (Ш. Я. Амираншвили). Начнем с того, что форма головы триалетских персонажей, а также «угол», образуемый линией лба и носа, анатомически характерны только для человека. Расположение глаз и их разрез также свидетельствуют о том, что перед нами человеческое лицо.

О том, что мастер, изготовивший кубок, хорошо владел техникой изображения человека и животных и не мог допустить какой-либо неточности в передаче деталей, убедительно свидетельствует рисунок глаз волчат и оленей на том же кубке, верно воспроизводящий характерное очертание глаз этих животных, возможно, и несколько гиперболизированное. И что это отнюдь не было случайностью, а отражало определенные изобразительные принципы, убеждают многие как синхронные, так и более ранние и более поздние примеры, в частности рисунки глаз животных на серебряном ведре из Триалети и на бронзовых поясах.

К сказанному нужно добавить, что отмеченная здесь манера изображения головы человека отчетливо прослеживается и в других памятниках, в том числе и в круглой скульптуре. В этой связи достаточно сослаться на фрагменты изображений из Арухло, Квацхела (энеолит, ранняя бронза, рис. 2, а, б), где также гиперболизированы размеры носов, по всем анатомическим характерным признакам являющихся человеческими.

Подобная манера изображения лица человека сохранялась еще долго и превратилась в известную схему. У лиц, исполненных в такой манере, сильно выступает нос (что особенно хорошо видно в профиль), а подбородок переходит в шею. Именно так изображены лица на поясах из Триалети и Самтавро, а также из Чабарухи, Пассанаури и Тлийского некрополя (рис. 2, в, г, з, и). Аналогичным образом изображены подбородок и шея у персонажей на триалетском кубке. Но для этих профилей характерны косая штриховка, имитирующая бороду, и непомерно удлиненный нос. Именно это и дало некоторым исследователям основание считать, что на кубке изображены звероподобные существа или люди в звериных масках. В свое время Б. А. Куфтин указал, что лица участников шествия, на первый взгляд кажущиеся звероподобными, на самом деле «могут являться просто грубым... воспроизведением хорошо известного по барельефам... „хеттского профиля“ с сильно выступающим носом и маленькой бородкой на уходящем назад подбородке»¹⁵. С этим нельзя не согласиться, но, конечно, не в смысле установления идентичности триалетского варианта изображения с «хеттским» или шумерским (рис. 2, д, ж), а прежде всего как с правильно подмеченным сходством

¹² К. И. Рамишвили. Терракота из Вани.— «Вани», т. II. Тбилиси, 1976.

¹³ А. В. Бохочадзе. Результаты работ археологической экспедиции на новостройках двуречья Ксани и Арагвы.— «Археологические исследования на новостройках Груз. ССР», Тбилиси, 1976, с. 73.

¹⁴ К. И. Рамишвили. Указ. раб., рис. 145; Д. Багратиони. История Грузии. Тбилиси, 1971, с. 39.

¹⁵ Б. А. Куфтин. Указ. раб., с. 90.



Рис. 3. Фрагменты изображений на предметах из Арухло, Квацхела, Самтавро, Чабарухи, Пассанаури и Тлийского некрополя

изобразительных приемов построения изображения человеческого лица.

Но данное утверждение никак не лишает права существования выдуманного В. В. Бардавелидзе положения о воплощении в фигурах на кубке определенных тотемистических представлений, в частности их связи с культом волка. Об этом заставляет думать такая деталь, как волчий хвост, прикрепленный к одежде каждой фигуры. О том, что это именно волчий хвост (а не лисий, как предполагал Ш. Я. Амиранашвили) свидетельствуют характер рисунка, а также зафиксированный в грузинской этнографической действительности, в частности в Сванетии, обычай прикреплять волчьи хвосты к одежде охотников. В той же связи особого внимания заслуживает изображение двух животных, лежащих у ног центральной фигуры.

Здесь уже не может быть никаких сомнений в том, что это волки, точнее, волки-собаки — традиционные персонажи древнегрузинской торевтики вообще, трактованные таким же образом и в композиции на серебряном ведерке, найденном в одном из Триалетских курганных погребений¹⁶. О том, что это именно волки-собаки, свидетельствует и ряд характерных черт: крупная голова хищника на короткой и сильной шее, длинные ноги с мощными когтистыми лапами и вместе с тем чисто собачья поза послушания и покорности.

Отмеченные элементы изображения, прикрепленные к одежде участников шествия волчьи хвосты, с одной стороны, и образы животных — с другой, вполне согласуются с тотемистическими представлениями древнегрузинских племен, столь подробно изученных и описанных В. В. Бардавелидзе. «В этнографических пережитках, — писала она, — обнаруживается специфическое отношение к волкам. Последним приписываются сверхъестественная физическая сила и ловкость, ум и смекалка... способность предвидеть и узнавать события, происходящие за двенадцатью горами, которые они будто бы в состоянии пробежать в одну ночь». И далее указывается, что у некоторых других хевсурских божеств, покровителей крупных территориально-общинных организаций,

¹⁶ Б. А. Куфтин. Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси, 1941, с. 89.

волки уже были превращены в собак (подчеркнуто нами.— Н. У.). Здесь преемственность неоспорима¹⁷.

В. В. Бардавелидзе обращает внимание также на то, что «в случае непредумышленного убийства волка сван-охотник приносил ему извинения, оплакивая его как члена своей семьи, и, сняв с него шкуру, хоронил в землю»¹⁸.

Данный факт можно рассматривать как подтверждение существования у всех охотничьих племен обычая умилоствления «хозяина зверей», в сравнительно недавнем прошлом бытовавшего у народов Дальнего Севера¹⁹. Но суть вопроса заключается именно в тотемном значении волка-собаки для древних грузин, уже переосмысленном с позиции культа предков. Иначе нельзя объяснить происхождение обычая посещать в определенные дни «могилы собак» в святилищах, известного не только сванам, но и хевсурам.

Уже отмечалось, что в рассматриваемой композиции в целом и в ее отдельных деталях имеется много общего с древневосточными мотивами. Сходство подчеркивается одеждой, обувью, сильно напоминающей хеттскую. Но все это отнюдь не лишает триалетскую композицию оригинальности, тех специфических черт, которые присущи именно закавказскому и прежде всего древнегрузинскому художественному стилю. Если в традиционных композициях Древнего Востока центральная фигура — божество или обожествленная личность, что подчеркивается характерными атрибутами, то в триалетской композиции решенная фактически по той же схеме центральная фигура отличается от остальных персонажей лишь позой, а не особыми атрибутами божественной или верховной власти. Примечательно при этом, что в правой руке у нее такой же кубок, как у всех остальных фигур. Однако чувствуется, что при ее исполнении художник стремился непременно следовать какому-то древневосточному образцу, видимо, довольно-таки стершемуся в памяти, о чем наглядно свидетельствует неуверенная линия рисунка, заметно отличающаяся от четких контуров всех остальных фигур. Такой же реминисценцией представляется нам изображение «дерева» за спиной центральной фигуры, в общем и целом повторяющее известный мотив «древа жизни»²⁰. В разветвленных корнях дерева Ш. Я. Амиранашвили усматривал изображение рек Тигра и Ефрата. По нашему мнению, появление этого изображения в рассматриваемой нами композиции можно считать вполне естественным, если учесть существование в древней Грузии культа «дерева» вообще и «древа жизни» как символа плодородия в частности²¹. С ним были связаны различные ритуалы и обрядовые действия, в том числе хороводные пляски тушин — *корбегела*, связанные с культом умирающей и воскресающей природы.

К тому же миру образов следует отнести помещенные перед центральным персонажем два предмета: один из них — чаша на высокой подставке с копытообразным окончанием, напоминающим известные хеттские жертвенники. Как сама чаша, так и ее подставка покрыты орнаментом, состоящим из зигзага и последовательного ряда ромбовидных фигур. Вряд ли надо доказывать, что таким образом соответственно передаются символы воды и земли²². Второй предмет напоминает урну с

¹⁷ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 48, 49.

¹⁸ Там же, с. 53.

¹⁹ W. Jochelson. The Yukaghir and the Yukaghirised Tungus.— «North Pacific expedition», v. 9. Leiden — New York, 1920—1924, p. 89, 146, 147; Л. Я. Штернберг. Гляки. «Этнографическое обозрение», № 4, 1904, с. 25, 40.

²⁰ Ш. Я. Амиранашвили. Указ. раб., с. 19.

²¹ Г. С. Читая. Мотив древа жизни на лазском орнаменте.— «Известия ИЯИМК», т. X, Тбилиси, 1941 (на груз. яз.).

²² Б. А. Рыбаков. Религия и миропонимание первых земледельцев юга Центральной Европы (IV—III в. до н. э.).— «VII Междунар. конгресс доисториков и протоисториков. Доклады и сообщения археологов». М., 1966, с. 107 и сл.; А. К. Амброз. Раннеземледельческий культовый символ «ромб с крючками».— «Сов. археология», 1965, № 3.

крестообразной орнаментальной вязью, которая также является древнеземледельческим символом.

О вероятности широких культурных связей грузинских и древневосточных племен свидетельствует и лотосовидный орнамент на нижней части триалетского кубка, который Ш. Я. Амиранашвили сравнивает с «декором шумерийских чаш»²³.

Остается еще выяснить, какой ритуал изображен на верхнем фризе и в чем состоит его конкретное назначение.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что участники шествия держат кубки по-разному и на различной высоте. И если рассмотреть фигуры в определенной последовательности, начиная с замыкающей шествие, то создается впечатление своего рода мультипликационного кадрирования рисунка: вначале кубок как бы подносится к губам, а в конце поднимается в положение «за здоровье», что особенно отчетливо выражено в противостоянии обращенных друг к другу первой и центральной фигур. В. В. Бардавелидзе, не учитывая, правда, этой бесспорно важной детали, отнесла всю сцену к ритуалу «славословия», входящему в обряды утренней и вечерней служб, исполнявшихся священнослужителями во главе с хуцесом в горских святилищах во время общинно-племенных праздников²⁴. Наряду с этим уместно было бы указать на довольно-таки часто встречающиеся в местах древних святилищ, в особенности на территории Восточной и Южной Грузии, осколки разбитых керамических питьевых сосудов. В этом плане особенный интерес представляет местность около святилища Мелигеле I (Кахетия)²⁵. Здесь на поверхности земли имеются широкие желобки, заполненные подобными осколками, смешанными с костными остатками животных и древесным углем. Примечательно, что желобки имеют контуры оленя, быка и др. животных. Судя по всем данным, здесь совершались жертвоприношения и трапезы, неременной заключительной частью которых было «испитие» с последующим выплескиванием на землю остатков напитка, после чего сосуды разбивались. Что касается напитка, то, по-видимому, это было ячменное пиво, широко распространенное у грузин-горцев²⁶.

В том же контексте следует рассматривать и сцены трапезы, несомненно, носящие ритуальный характер, изображенные на бронзовых поясах из Самтавро, Чабарухи и Тлийского могильника (рис. 2, з, и). На поясах мы видим кубки той же формы, что и на триалетском фризе.

Все сказанное — достаточное основание для вывода о том, что на интересующем нас фризе изображен аналогичный по смыслу ритуал, носящий характер священнодействия. Этот вывод подкрепляется еще одним фактом. Все участники шествия, включая центральную фигуру, изображены без головных уборов. Головные уборы отсутствуют и на изображениях других аналогичных памятников — на бронзовых поясах и скульптурах, найденных в Арухло, Квацхела, Казбеги и др., что связано, видимо, с бытующим у многих народов обычаем совершать определенные магические и ритуальные действия с непокрытой головой. В этом плане несомненный интерес представляет, например, зафиксированный в абхазской этнографической действительности обычай снимать башлык и пояс в кузне в знак того, что приступаешь к молитве с открытым сердцем и мыслями²⁷. Так же поступал и гуриец в день «бослоба». Подобных примеров можно привести множество, что еще раз заставляет видеть в рассматриваемом нами фризе изображение магического обряда, при-

²³ Ш. Я. Амиранашвили. Указ. раб., с. 16.

²⁴ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 249.

²⁵ К. Н. Пицхелаури. Восточная Грузия в конце бронзового века. Тбилиси, 1979, с. 51.

²⁶ В. В. Бардавелидзе. Указ. раб., с. 249.

²⁷ Б. Я. Деген-Ковалевский. Из истории древней металлургии Кавказа. М.—Л., 1935, с. 396.

званного пробудить силы природы к новой полнокровной жизни, умножить богатства земли и животного мира. Этот древний, уходящий корнями в охотничий быт обряд приобретает в данном случае новое, более сложное содержание, отражая земледельческие интересы, в чем убеждают не только типическая орнаментальная символика, но и специфический инвентарь²⁸, найденный археологами, в состав которого входил и заинтересовавший нас серебряный кубок из Триалети.

В совершенно иной изобразительной манере решает древний мастер композицию нижнего фриза, где чуть ли не с натуралистической точностью воссозданы образы идущих друг за другом пар животных — самок и самцов оленей. Их повадки, характерные позы и движения не оставляют сомнения в смысле изображаемой сцены — наступление периода спаривания. Эта сцена как бы дополняет и одновременно объясняет основное содержание всей композиции в целом, воплощающей идею магического воздействия на плодоносящие силы природы.

Все вместе взятое делает кубок с комплексом вычеканенных на нем изображений не только уникальным памятником древнегрузинского декоративно-прикладного искусства, но и исключительно ценным историко-этнографическим источником, помогающим воссоздать образ мыслей и представлений древних обитателей триалетского плоскогорья.

²⁸ Б. А. Куфтин. Указ. раб., с. 88.

В. И. Гохман

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СИАМЦЕВ

Все тайские народы Индокитайского полуострова весьма близки между собой как по языку, так и по культуре. Это облегчает задачу исследования их этнической истории в качестве единого целого, но затрудняет выяснение происхождения каждого народа в отдельности. Настоящая статья посвящена проблемам этнической истории сиамцев, основного тайского этноса Таиланда. Вопрос этот разработан слабо ввиду указанной выше причины, а также из-за недостатка материала. Последний ограничивается сомнительными генеалогиями тайских правящих домов, которые вряд ли могут служить надежным источником по этнической истории. Тайская эпиграфика периода сложения сиамского этноса (XIII в.) крайне скудна и содержит очень мало сведений по интересующему нас вопросу. Кое-какие факты, содержащиеся в надписях, конечно, могут и должны быть использованы. Но самым надежным источником в таких условиях оказываются особенности языка надписей, позволяющие определить место этого языка в генетической классификации тайских языков¹.

В настоящей статье под этим углом зрения рассматривается язык первого из дошедших до нас памятников тайской эпиграфики — надписи на стеле Рамакамхенга².

Надпись Рамакамхенга была создана в королевстве Сукхотхай, одном из первых тайских государств на территории Таиланда, образовавшемся в XIII в. в центральной части страны. Сукхотхай считается первым сиамским государством, и тайский период в истории Таиланда отсчитывают со времени образования этого королевства. Почти одновременно с Сукхотхаем на территории северного Таиланда образовалось другое крупное политическое объединение — королевство Ланна, или Чиенгмай (1292 г.). Эти два государства включали в себя большую часть территории современного Таиланда. Но если мы знаем, что в государстве Ланна сформировался народ тай ныа — северные тай, называемые сиамцами также юан, то соотносительность государства Сукхотхай с сиамским этносом носит в значительной степени умозрительный характер и пока еще не подтверждена конкретными доказательствами. Дело в том, что в отличие от Ланна, сохранявшего самостоятельность от Сиам до конца XVIII в., Сукхотхай в середине XIV в. вошел в состав нового государства Аютия (Сиам), центр которого располагался значительно южнее Сукхотхая. Аютию уже со всей определенностью можно считать тем государством, где сформировался сиамский этнос. Но воп-

¹ Согласно классификации Ли Фан-гуя собственно тайские языки делятся на три группы — юго-западную, центральную и северную. См.: *Li Fang-kuei. Classification by vocabulary: Tai dialects.* — «*Anthropological Linguistics*», v. 1/2, 1959, p. 15—21. В данной статье рассматриваются только языки юго-западной подгруппы.

² См. публикацию текста стелы Рамакамхенга: *C. B. Bradley. The oldest known writing in Siamese.* — «*The Journal of the Siam Society*», v. VI, pt. 1, 1909; *G. Coedes. Recueil des inscriptions du Siam. I. Inscription du Sukhodaya.* Bangkok, 1924.

рос о том, к какой из современных тайских этнических групп было наиболее близко население Сукхотхая, пока остается открытым³.

Определить генетическую принадлежность языка Сукхотхая можно на основе сопоставления его лексики и фонетики с лексикой и фонетикой других тайских языков. Но лексика в данном случае не позволяет дать точного ответа, так как число слов, содержащихся в надписи, невелико. В свое время К. Б. Брэдли выявил все лексические параллели ее словарного списка⁴. Оказалось, что в нем содержится несколько слов, общих с языками лао и юан, но не родственных сиамскому. Однако таких слов очень мало, возможно, они исчезли из сиамского позднее. Кроме того, не ясно, к какому из языков — юан или лао — ближе язык стелы. Лексически языки юан и лао очень близки, а генетически расхождения между ними значительны.

Наиболее значимой генетически изоглоссой для классификации современных тайских языков является придыхательность/непридыхательность прототайских звонких *b, d, g*. Эти фонемы реконструированы на основании сопоставления фонетики современных тайских языков и с учетом чтения соответствующих букв индийского алфавита, от которого тайский алфавит ведет свое происхождение⁵. Позже в тайских языках произошло оглушение этих звонких и переход их соответственно в глухие придыхательные в одних языках либо в глухие непридыхательные — в других. Согласно этому признаку тайские языки юго-западной подгруппы делятся на две ветви. К первой относятся сиамский и лаосский языки: *[b], [d], [g] → [ph], [th], [kh]*, ко второй — все остальные языки юго-западной подгруппы (юан, лы, кхын, шанский, ахом, языки черных и белых тай): *[b], [d], [g] → [p], [t], [k]*.

Абсолютная датировка оглушения звонких согласных неизвестна. А. Одриккур полагает, что это произошло до XIII в. Он привел в пользу такого мнения ряд аргументов, но не доказал его окончательно⁶. М. Браун также полагает, что оглушение произошло до XIII в. во всех языках, кроме языка надписи Рамакамхенга, который якобы сохранил исконные звуки дольше остальных⁷, однако своего мнения достаточно серьезными доводами не подтвердил. Он считает, что язык Сукхотхая — наиболее отклоняющийся из всех близкородственных тайских языков: сиамского, лао, юан и шанского. По мнению М. Брауна, от него ведут происхождение современные южные диалекты сиамского языка. На мой взгляд, эти предположения аргументированы слабо. Как будет показано ниже, в предлагаемой М. Брауном схеме эволюции тайских диалектов вообще много схематизма или просто неправильных утверждений.

Иногда можно встретить безапелляционные высказывания относительно классификационной принадлежности языка стелы Рамакамхенга. Например, Л. Бриггс утверждает: «Сиамский язык, для которого была создана письменность Рамакамхенга, выгравированная на стеле в 1292 г., должен был быть шанским, так как нет доказательств того, что лао проникали в долину р. Менам в предшествующий период»⁸. В под-

³ Даже происхождение династии, правящей в Сукхотхае, не известно. В отличие от династии, правившей в Аюттии и возводимой к княжескому роду Чиенгмая, сукхотхайская династия не имела никаких родственных связей с чиенгмайским правящим домом. См. G. Coedes. The origins of the Sukhodaya dynasty.— «The Journal of the Siam Society», v. XIV, pt. 1, 1921.

⁴ C. B. Bradley. Указ. раб.

⁵ A. G. Haudricourt. Les phonèmes et vocabulaire de Thai Commun.— «Journal asiatique», t. 236, 1948, p. 197—238; H. Maspéro. Contribution à l'étude du système phonétique des langues Thai.— «Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient», t. XI, 1911, p. 152—169.

⁶ A. G. Haudricourt. Les arguments géographiques, écologiques et sémantiques pour les origines des Thai.— «Readings on Asian Topics», Lund, 1970.

⁷ J. M. Brown. From ancient Thai to modern dialects. Bangkok, 1965.

⁸ L. Briggs. The appearance and the historical usage of the terms Tai, Thai, Siamese and Lao.— «Journal of the American Oriental Society», v. 69, № 2, 1949.

крепление своего предположения этот автор не приводит ни одного лингвистического доказательства.

Ответ на интересующий нас вопрос дает исследование особенностей письменности стелы Рамакамхенга. Тайские письменности индийского происхождения типологически делятся на две группы, условно называемые «восточная» и «западная»⁹. Восточные письменности, к которым относятся сиамская, лаосская, юан и ряд других, сохраняют этимологический принцип в орфографии. Многие буквы в них произносятся в настоящее время не так, как они произносились во время создания этих письменностей. В частности, сиамские буквы, которые в прошлом обозначали два разных звука — g и kh, сейчас читаются одинаково kh. Это объясняется тем, что восточные письменности были созданы до вышеупомянутого процесса оглушения звонких согласных. Письменности западного типа (шанская и ахом) возникли после этого фонетического сдвига и поэтому отражают произношение, близкое или идентичное современному. Письменность Сукхотхая относится к письменностям восточного типа. Именно поэтому мы и не можем сказать, как произносились в языке стелы Рамакамхенга те звуки, которые существенны для определения его классификационной принадлежности. Мы не можем ответить также на вопрос, произошло ли вообще оглушение начальных звонких в языке государства Сукхотхай. Так, если бы мы не знали, как произносятся в современном сиамском языке буквы «кхо кхуй», «тхо тхахан» и «бо баймай»¹⁰ (современные kh, th, ph нижнего класса), мы должны были бы произносить их как g, d, b, т. е. так, как они действительно произносились во время создания сиамской письменности. Язык стелы Рамакамхенга находился бы как раз в таком положении, если бы в нем не было одного отклонения от этимологического принципа в орфографии, которое позволяет определить место этого языка в классификации. Это можно сделать вне зависимости от того, произошло ли к XIII в. оглушение начальных звонких во всех тайских языках, и вне зависимости от того, затронуло ли это явление язык Сукхотхая.

Рассмотрим систему заднеязычных начальных прототайского языка. Этот ряд состоял из пяти фонем: [k], [kh], [x], [g], [ɣ], которые передавались соответственно буквами «ко кай», «кхо кхай», «кхо кхуй» и «кхо кхон»¹¹. В современных тайских диалектах существует лишь две фонемы этого ряда (в языке белых тай — три). Однако процесс слияния фонем проходил в различных диалектах по-разному. В сиамско-лаосской подгруппе четырем фонемам [kh], [g], [x], [ɣ] соответствует придыхательная [kh], которая передается буквами «кхо кхай» и «кхо кхуй». «Кхо кхай» используется с тонами высокой серии, а «кхо кхуй» — с тонами низкой. В шанском языке сиамским словам с «кхо кхай» соответствует [kh], а сиамским словам с «кхо кхуй» — [k]. Но некоторым сиамским словам с «кхо кхуй» соответствуют шанские формы с [kh]. Это те слова, которые в прототайском языке имели начальный [ɣ] («кхо кхон»). В языке юан ситуация точно такая же, как в шанском, но смычному шанскому [kh] там соответствует щелевой [x].

Каким образом мог проходить процесс слияния фонем в этих языках и диалектах? В каждой подгруппе он протекал по-разному, причем если для сиамско-лаосской подгруппы возможны три теоретических варианта, то для шанско-юанской — лишь один. Начнем с последнего.

I Шанско-юанская подгруппа

⁹ A. G. Haudricourt. Les phonèmes et vocabulaire du Thai Commun, p. 203.

¹⁰ Здесь и далее буквы переданы в традиционных тайских названиях, которые можно найти в любом словаре или учебнике.

¹¹ О реконструкции прототайской фонетической системы см.: J. Burney, G. Goedes. Note sur les tons et initiales du vieux siamois a l'époque de Sukhodaya. — «The Journal of the Siam Society», v. XXI, 1928, p. 103—117; A. G. Haudricourt. Les phonèmes et vocabulaire du Thai Commun; R. Shafer. Introduction to Sino-Tibetan, pt. V. Wiesbaden, 1974.

а. Звонкие перешли в глухие непридыхательные

$[\gamma] \rightarrow [x]$

$[g] \rightarrow [k]$

б. Щелевые перешли в смычные

$[x] \rightarrow [kh]$ (шанский) или $[kh] \rightarrow [x]$ (юан). Второй этап (б) не затронул язык белых тай, где $[kh] \neq [x]$. Средневековый (XVI в.) язык юан, известный из китайских записей как «ба бай», также не претерпел еще этого второго изменения, о чем свидетельствует произношение китайских иероглифов, передающих слова с соответствующими звуками языка «ба бай»¹². Этот факт доказывает, что реконструкция М. Брауном этапов фонетической эволюции чиенгмайского диалекта не соответствует действительности. М. Браун предположил, что переход $[kh]$ в $[x]$ в чиенгмайском диалекте относился к самым ранним периодам его эволюции (до XIII в.)¹³.

II. Сиамско-лаосская подгруппа¹⁴

1

а. Звонкие перешли в глухие придыхательные

$[\gamma] \rightarrow [x]$

$[g] \rightarrow [kh]$

б. Щелевые перешли в смычные

$[x] \rightarrow [kh]$

2

а. Щелевые перешли в смычные

$[\gamma] \rightarrow [g]$

$[x] \rightarrow [kh]$

б. Звонкие перешли в глухие придыхательные

$[g] \rightarrow [kh]$

3

а. Звонкие смычные перешли в щелевые

$[g] \rightarrow [\gamma]$

б. Щелевые перешли в глухие придыхательные

$[\gamma] \rightarrow [kh]$

$[x] \rightarrow [kh]$ ¹⁵

Реальный путь эволюции фонетической системы сиамско-лаосской подгруппы неизвестен. Не исключено, что различные языки и диалекты

¹² Материал по языку «ба бай» опубликован в работе: *H. Izui. Decipherment of the Pa-Po vocabulary and the epistles.*— «Memoirs of the Department of Literature. Kyoto University», № 2, Kyoto, 1953.

¹³ *J. M. Brown. Указ. раб.*

¹⁴ В 1 и 2 необходимо предположить еще промежуточный этап: $[g] \rightarrow [gh]$, так как глухим соответствием $[g]$ является $[k]$, а не $[kh]$. Уже после этого $[gh] \rightarrow [kh]$. В перечисленных выше вариантах этот этап опущен для упрощения схем. В случае 3 переход $[g] \rightarrow [\gamma]$, возможно, тоже осуществлялся через этот промежуточный этап.

¹⁵ В принципе возможен еще и 4-й вариант:

а. $[\gamma] \rightarrow [g]$

б. $[g] \rightarrow [kh]$

$[x] \rightarrow [kh]$

Но он маловероятен, так как здесь трудно объяснить несимметричность процесса. Этот вариант по выводам не отличается от 3-го.

этой подгруппы претерпевали фонетические изменения по-разному. Однако 3-й вариант имеет прямое отношение к интересующей нас теме.

Дело в том, что в письменности стелы Рамакамхенга встречаются лишь четыре из пяти вышеприведенных букв, передающих начальные заднеязычные. Буква «кхо кхон», передающая звук [ɣ], в ней отсутствует, а слова, где должна быть «кхо кхон», пишутся с начальной «кхо кхуай». Здесь важно отметить следующее. В надписи говорится о том, что кхун (король) Рамакамхенг является создателем первой тайской письменности. Но как показали Д. Барней, Ж. Седес и А. Одрикур, письменность Рамакамхенга появилась в результате реформы более ранней тайской письменности¹⁶. Наиболее вероятно поэтому, что в числе других нововведений Рамакамхенга было устранение лишней для языка Сукхотхая буквы «кхо кхон», так как [g] и [ɣ] в этом языке представляли собой одну фонему (скорее всего [ɣ]). Буква «кхо кхон» представляет собой графический вариант буквы «кхо кхуай», введенный в тайскую письменность, но отсутствующий в индийской и кхмерской письменностях. Можно было бы предположить поэтому, что буква «кхо кхон» еще просто отсутствовала в письменности Рамакамхенга и была введена позже. Но такое утверждение опровергается тем, что буква «кхо кхуат» представляет собой подобный же графический вариант буквы «кхо кхуай», которая в алфавите надписи Рамакамхенга имеется.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

Язык стелы Рамакамхенга не мог принадлежать к диалектам шанско-юанской подгруппы, где звуки [g] и [ɣ] имели разную историю и дали в современных диалектах разные фонемы. Он мог принадлежать лишь к тем диалектам, где [g] и [ɣ] превратились в одну фонему, т. е. к сямско-лаосской подгруппе. Путь фонетической трансформации в языке стелы соответствует 3-му варианту, релевантному для сямско-лаосской подгруппы.

Теоретически не исключено, что язык стелы Рамакамхенга представлял собой какую-то самостоятельную подгруппу, где [ɣ]→[g], а затем [g]→[k], т. е. глухой непридыхательный. Однако поскольку не известен ни один тайский язык юго-западной подгруппы, в котором можно было бы наблюдать подобный путь фонетического изменения инициалей, такая возможность маловероятна.

Следовательно, язык стелы Рамакамхенга относился к сямско-лаосской подгруппе юго-западной ветви тайских языков. Вопрос о том, был ли он непосредственным предшественником сямского языка, пока остается открытым. В более поздних памятниках письменности государства Сукхотхай (а также Аюттии) мы находим уже обе буквы, «кхо кхуай» и «кхо кхон». Неизвестно, было ли появление «кхо кхон» в этих письменностях простой данью традиции или отражало смену диалекта.

То, что государство Сукхотхай было связано в первую очередь с лаосским этническим компонентом, подтверждается и рядом исторических данных. Как известно из надписи на стеле Рамакамхенга, в состав государства Сукхотхай входили территории по р. Меконг и его притоку р. У, а также княжества Ман, Пхла, Пхлау и Чава (Луанг-Прабанг)¹⁷. Все эти территории были населены лао.

Таким образом, два крупнейших государства, образовавшихся в XIII в. на территории Таиланда, — Сукхотхай и Чиенгмай — уже в тот период несколько различались по этнической принадлежности тайского населения этих государств. Формирование двух центров государственности в долине р. Менам объясняется, по-видимому, не только политическими, но в какой-то мере и этническими причинами.

¹⁶ J. Burney, G. Coedes. The origin of the Sukhodaya script.— «The Journal of the Siam Society», v. XXI, 1928, p. 87—102; A. G. Haudricourt. Les arguments géographiques, écologique, et sémantiques pour les origines des Thai.

¹⁷ C. B. Bradley, Указ. раб., p. 36.

Ф. Фёрстер

**К ИЗУЧЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ
В НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННОМ РАЙОНЕ
ЛУЖИЦКОГО БУРОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА (ГДР)**

Благодаря марксистско-ленинской национальной политике СЕПГ лужицкие сербы, славянская часть населения Лужицы и одновременно единственное в ГДР национальное меньшинство, превратились в равноправных членов развитого социалистического общества¹. С основанием в 1951 г. Института сербоведения в Баутцене, подчиненного Центральному институту истории АН ГДР, лужицкие сербы впервые получили государственное научное учреждение для исследования своей истории, культуры и языка. В то время как исследования в области общественных наук, проводившиеся Институтами, сосредоточивались раньше на проблематике, связанной с прошедшими эпохами, в последние годы современной тематика начинает систематически внедряться в научные планы.

В последние десятилетия под влиянием научно-технического прогресса во всех отраслях хозяйства существенно изменилась социальная структура как немецкой, так и серболужицкой части населения Лужицы. Решающим аспектом этого процесса представляется численный рост рабочего класса в связи с развитием угледобывающей промышленности — наиболее важной отрасли экономики этого региона. Специфические особенности добычи бурого угля позволяют значительному числу рабочих жить в сельской местности. Поскольку подавляющее большинство лужицких сербов традиционно являются сельскими жителями, доля серболужичан среди рабочих буроугольных карьеров в национально-смешанных серболужицких районах оказывается достаточно высокой. Этим и объясняется особая заинтересованность Института серболужицкой этнографии в исследовании сельских промышленных рабочих, занятых в буроугольной промышленности Лужицы.

Границы лужицкого буроугольного бассейна и национально-смешанной части Лужицы не совпадают друг с другом. Смешанный немецко-серболужицкий район имеет, грубо говоря, форму эллипса, вытянутого с севера на юг, фокусами которого являются районный центр Котбус и окружной центр Баутцен. Центр эллипса располагается приблизительно в окружном центре Хойерсверда. Лужицкий же буроугольный бассейн образует примерно равновеликий эллипс с тем же центром, но вытянутый вдоль оси восток — запад от автостреды Берлин — Дрезден на западе до границы с Польской Народной Республикой на востоке. Соответственно национально-смешанный район лужицкого буроугольного бассейна приходится на территорию, общую для обоих эллипсов.

В качестве объекта исследования был выбран коллектив действующего уже более 20 лет буроугольного карьера в округе Хойерсверда. Сбор данных проводился в августе — сентябре 1972 г. и был разбит на два

¹ «Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands». Berlin, 1976, S. 57.

этапа. Завершился он занесением материала на перфокарты для последующей механизированной обработки.

На первом этапе изучалась документация. Были отобраны послужные личные карточки в отделе кадров соответствующего карьера. Сведения о месте жительства позволяют отнести 93,5% рабочих к сельским жителям. Затем рассматривались карточки рационализаторов из числа выбранных по первой картотеке лиц. Наконец, были определены численность и профессиональная структура населения тех местностей, в которых проживали сельские рабочие карьера. Оценка произведена по данным государственной переписи населения 1971 г.²

На втором этапе проводился анкетный опрос сельских рабочих бурогольного карьера по темам, не раскрытым в процессе анализа документов. Бланки анкет с напечатанными на них возможными вариантами ответов раздавались респондентам и возвращались обратно по служебным каналам, что позволило добиться 100%-ного сбора розданных анкет. Анкеты уволившихся и временно отсутствовавших на рабочем месте вернулись незаполненными (9,4% от общего числа розданных анкет). На вопросы остальных анкет были даны достаточно полные ответы. В итоге проанализировано более 700 анкет.

Демографическое изучение этой общей совокупности выявило прежде всего половой состав респондентов: 78,8% мужчин и 21,2% женщин. Низкая доля женского труда объясняется главным образом спецификой работы на бурогольных карьерах, однако в перспективе следует ожидать повышения занятости женщин в этой отрасли промышленности. Исследование возрастного состава показало, что наиболее велика доля группы 36—45-летних рабочих (27,5%), что отражает определенное «постарение» коллектива.

Далее анализировалось семейное положение респондентов. Наиболее многочисленной и демографически наиболее важной оказалась группа состоящих в браке лиц обоего пола — 79,6% от общей совокупности. Исследование этой группы выявило величины хозяйств и число детей на семью. При этом зафиксирована тенденция к семье с двумя детьми и двухпоколенной семье. Заметное место в общей совокупности составляют также трехпоколенные семьи. Как правило, на женщин от 29 до 39 лет ложится двойная нагрузка: работа на предприятии и в домашнем хозяйстве.

Анализ социального состава общей совокупности показал, что, кроме представителей производственно-технической интеллигенции, составивших 3,3%, все остальные опрошенные лица относятся к рабочему классу и, значит, к сельским промышленным рабочим, исследованию которых был посвящен наш проект. Представители ИТР, попавшие в выборку, однако, не исключались из анализа; изучение этой категории проводилось с точки зрения установления специфических форм сближения интеллигенции с рабочим классом.

Анализ анкет проводился по следующим параметрам: рабочее место, жилое помещение, путь на работу и доля лужичских сербов. Результаты исследования по первым трем названным параметрам представляют интерес главным образом с точки зрения хозяйственно-политической, и поэтому мы коснемся их только в самых общих чертах. Выявилось, что сельские промышленные рабочие, а также проживающие на селе представители инженерно-технической интеллигенции подолгу работают на одном предприятии: 80,4% от общей совокупности — более 5 лет. Это соответствует также исключительно высокой стабильности проживания в одном и том же месте. Не менее чем 92,7% респондентов проживают в своих селах более 5 лет. В качестве факторов, способствующих ста-

² Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung vom 1. Januar 1971 der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR.

бильности проживания, можно указать на владение собственным домом, общественную работу в соответствующих селах, а также возможность содержания приусадебного садово-огородного участка и мелкого домашнего скота. Побочный доход от сельскохозяйственного производства — явление, широко распространенное среди лужицких горняков вплоть до 50-х годов, — в настоящее время занимает весьма скромное место среди факторов, способствующих стабильности проживания на одном месте.

Лишь 12% всех опрошенных (причем только рабочие) получали какой-то дополнительный доход от сельскохозяйственных работ. Из них 69,3% были заняты в личном хозяйстве членов сельскохозяйственных артелей в социально-смешанных семьях. И только оставшиеся 30,7% сами имели по мелкому участку полезной площадью, не превышающей 1 га. Таким образом, как исторически, так и статистически владельцы земельных участков, приносящих дополнительный доход, представляют среди исследованных сельских промышленных рабочих реликтовую группу³.

Очень интересной оказалась профессиональная структура населения местностей, в которых проживали опрошенные лица. Всего были охвачены исследованием 49 поселений и 21 часть обособленных поселений в округах Хойерсверда, Вейсвассер, Шпремберг и Форст района Котбус и в округах Баутцен, Каменц и Ниски района Дрезден. В 42 из 49 поселений и в 20 из 21 обособленной части поселений живут как немцы, так и серболужичане. Хотя подавляющее большинство всех этих населенных пунктов производит до сих пор впечатление крестьянских поселений, в 1971 г. 82,7% самодеятельного населения были уже заняты не в сельскохозяйственном или лесном производстве, а главным образом в промышленности⁴. Это указывает на быстрое изменение социальной структуры в этих населенных пунктах под влиянием научно-технического прогресса. Большое значение придают сельские промышленные рабочие пути на работу. Благодаря широкомасштабному урегулированию транспортной проблемы на предприятиях и организации доставки рабочих к месту работы и обратно большими автобусами, группа респондентов, тратящих много времени на то, чтобы добраться до работы (более 45 минут), и составляющая 27,6% от общей совокупности опрошенных, может быть еще сокращена при помощи мер, предпринимаемых администрацией и общественностью.

Заключительная часть нашего исследования посвящена доле серболужичан, к числу которых мы отнесли респондентов, указавших в заполненных ими анкетах серболужицкий язык в качестве родного. В соответствии с этим критерием, обеспечившим достаточно надежные результаты, серболужичане составили 35% от всех опрошенных, или 35,8% от всех мужчин и 31,6% от всех женщин, участвовавших в эксперименте. Как среди мужчин, так и среди женщин доля серболужичан повышалась с возрастом. Среди исследованных представителей инженерно-технической интеллигенции, живущих в сельской местности, серболужичане составили 25%, а среди сельских промышленных рабочих — 35,3%.

Граждане серболужицкой национальности обладают реальным национальным, социально-экономическим и государственно-политическим равноправием и сознательно участвуют во всестороннем развитии и укреплении Германской Демократической Республики, в принятии и выполнении решений на производстве и по месту жительства. Этим они вносят вклад в осуществление исторической миссии своего класса. О степени общественной активности серболужичан можно судить по данным о том, насколько они охвачены рационализаторским движением на про-

³ См. также Н. А. Аутов. Общее и особенное в классовой структуре стран социалистической системы. — «Философские науки», в. 3, М., 1970, с. 84.

⁴ Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung vom 1. Januar 1971 der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR.

изводстве и общественно-политической работой по месту жительства. 50% всех опрошенных серболужичан оказались рационализаторами, в то время как доля рационализаторов в общей совокупности составила 47,6%. Кроме того, 66,4% респондентов-серболужичан вели общественную и политическую работу по месту жительства (против 60,5% от общей совокупности). Приведенные нами цифры свидетельствуют о том, что обследованные серболужицкие трудящиеся вообще, и особенно серболужицкие рабочие, пользуются равноправием и имеют те же, что и рабочие-немцы права и обязанности, как на производстве, так и по месту жительства.

В работе, на основе которой написана настоящая статья⁵, приведен комплексный статистический анализ сложившейся ситуации, что важно с методической точки зрения и способствует организации научно обоснованного политического руководства. Проведенное исследование имеет следующие основные аспекты:

1. Его результаты направлены на то, чтобы более выпукло представить облик серболужицкого рабочего при социализме, имея в виду, что основная масса серболужичан-рабочих проживает в сельской местности.

2. Результаты, полученные на относительно узкой национально-смешанной немецко-серболужицкой территории, представляют собой первый шаг в изучении группы сельских промышленных рабочих как особого составного элемента социалистического рабочего класса в ГДР.

3. В практических целях были рассмотрены некоторые проблемы, по которым выработаны конкретные рекомендации. В целом же проведенный анализ способствует ознакомлению с великими процессами сближения, происходящими в нашу эпоху: сближения классов и социальных прослоек, преодоления существенных различий между умственным и физическим трудом, между городом и деревней, сближения национальностей, т. е. тех самых процессов, которым придается столь большое значение в Программе Социалистической Единой партии Германии, принятой на ее IX партийном съезде⁶.

⁵ F. Förster. Ländliche Industriearbeiter in deutsch-sorbischen Teil des Lausitzer Kohlen- und Energiereviere. Dresden, 1975 (рукопись дисс.).

⁶ «Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands».



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Н. П. Колпакова

СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

(ИЗ ДНЕВНИКА СЕКРЕТАРЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ГИТМИК)

7 июля 1947 г.
г. Луга. Гостиница

Вот уже четвертый год подряд наш Институт театра, музыки и кинематографии организует экспедиции, занимающиеся сбором фольклора Ленинградской области¹. В годы войны территория наших поездок в силу блокады и общих условий военного времени была очень ограничена. Но уже в 1944 г. мы впервые снова выехали «в поле».

Мы знали — надо торопиться: нельзя упускать ничего из того материала, который появился в связи со второй мировой войной. В народе — на фронте, по деревням, по городам, по заводам с первых же военных дней звучали песни, частушки, фронтовые рассказы; надо было записать их, пока они были ярки в памяти народной. И вот теперь, после Волховского и Новолодожского районов, мы едем в Лужский, находившийся какое-то время в оккупации.

Отправились мы на собственном транспорте — институтской грузовой машине. Дорога предстояла не очень дальняя — около 130 километров до Луги; а дальше надо было искать уже местные средства передвижения по району.

Без особых приключений прибыли вчера в Лугу около семи часов вечера. Дорога была местами хорошая, местами отвратительная (следы войны!), но тем не менее доехали благополучно. Пошли в райисполком за дальнейшими советами и указаниями. Нам хотелось направиться в деревни, где можно было наверняка встретить следы войны в фольклоре. Работники райисполкома посоветовали нам ехать в Поддубье, где много и рассказов, и песен, и партизанских воспоминаний, и людей, возвратившихся из плена.

9 июля 1947.
Дер. Большие Озерцы Поддубского
сельсовета

Вчера к вечеру, проехав 20 километров по приличной дороге до деревни Городец, мы свернули на колдобины и ухабы проселка. Еще километров через 15 уткнулись в околицу деревни Большие Озерцы.

Она стоит на озере. Воображения у местных жителей, по-видимому, мало, и поэтому особого имени у озера нет: оно называется просто... Мокрое. Живописное, тихое и очень привлекательное. Большие Озерцы —

¹ В состав экспедиции 1947 г. входили музыковеды Н. И. Жемчужина, О. К. Соловьева, В. Ф. Коукаль, Г. М. Пайкин и словесник Н. П. Колпакова.

последняя деревня Лужского района и вообще Ленинградской области в этом направлении — дальше идет уже Псковщина.

У каждой избы — пышные огороды: у многих хозяев — ульи, яблони, грядки с садовой земляникой. Во время войны население отсюда уходило, оставались лишь немногие. Сейчас, вернувшись на прежние места, жители спешно приводят в порядок свои хозяйства, вскапывают гряды, восстанавливают разрушенное. Очень жалуются на голод и на наши просьбы продать хоть немного картошки отзываются сдержанно. Мы живем в просторной избе у тети Тани Прокофьевой, добродушной бабки лет под 70. Отсюда бегаем в разные концы деревни, раздобываем первые сведения о микрорайоне и его фольклорном репертуаре; так как сведения эти берутся торопливо и относятся к различным категориям наших интересов, а записывается все узнаваемое в записные книжки подряд, то сегодня, например, после беседы с местной учительницей и другими старожилками Больших Озерец в моем блокноте стояло: «тетя Наташа Громова — песни и, возможно, картошка; тетя Нюша Березкина — картошка; Настя Козлова — частушки и, возможно, яйца; Соня Алексеева, бывшая партизанка, — молоко, возможно, песни и частушки; тетя Дуня Прокофьева — старая свадьба и, возможно, огурцы; тут же рядом через забор дед Василий — молоко вряд ли, но наверняка песни и, возможно, огурцы; тетя Таня Вересова — наверняка яйца и, возможно, партизанские рассказы», — и т. д. Ничего не поделаешь, ведь приходится помнить, что военное время еще не изжито и что мы живем по карточкам...

10 июля 1947.

Дер. Большие Озерцы

Так как кроме Больших Озерцов тут есть еще и Малые, то сегодня мы два раза бегали туда и заводили знакомства. Начали запись первых частушек от местной молодежи. Привычные темы молодежной лирики тесно переплетаются в них с темой войны, а зачастую и совершенно уступают ей:

Ой, война, война, война,
Война во всю газетину!
Пойду скорее собирать
Я котомку Петину.

Понапрасну на морозы
Гитлер обижается:
Не морозы, а колхозы
С фрицами сражаются.

Распроклятая Германия
Затягла войну.
Взяли милого в солдатики,
Оставили одну.

Сколько ягод, сколько ягод,
В цело лето не собрать.
Сколько фрицев пало за год —
В целый год не сосчитать!

Ой, девочки, война, война,
Зашумели елочки.
Прилетели самолеты,
Улетели дрочечки.

Села птичка на окошко,
Мне известье принесла:
Через Ладогу дорожка
В город хлеба привезла.

Распроклятые фашисты,
Перестаньте воевать!
Всех своих вы потеряете,
А нас не запугать.

Много лесу на угоре,
Много вересинок,
С-за проклятого фашиста
Много сиротинок.

В дни войны в районе было очень много партизан. Частушки рассказывают:

Птичка села и запела
На густу смородину.
Мой миленок в партизанах
Защищает Родину.

Мой миленок в партизанах,
Его ранили в лесу.
На груди четыре раны,
Он сказал — «перенесу!»

Дайте девочке винтовку,
Буду партизаночка.
Стану с фрицами сражаться
Так же, как забавочка.

Я не по лесу гуляла,
Я не рыжики брала:
Диверсанта повстречала,
На заставу привела.

Много горя пришлось пережить лужанам, как и всей стране, в военные годы, но даже в самые тяжелые месяцы местные жители держались героями и были совершенно уверены в будущей победе:

Скоро Гитлера не будет,
Скоро Гитлеру капут.
Куды руки, куды ноги
Наши пули разнесут.

Скоро вражки сапоги
Об нашу землю сносятся,
Скоро подлые враги
От нас домой запросятся.

Скоро, скоро лед на морюшке
Растает и сойдет.
Будет время — наше горюшко
Как льдинка уплывет.

Алы цветики пушисты
На ветру качаются.
Бьем проклятого фашиста,
Его дни кончаются.

В небе тученьки затучили,
Темнеет в синеве.
Измотали мы, измучили
Фашиста на Неве.

Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут.
Скоро русские машины
По Берлину побегут.

С молодежью работаем где придется, пожилых записываем преимущественно во время работ на огороде. Бабушки сегодня утром пололи морковь, пели, а мы, сев на корточки между грядками, медленно передвигались за ними и записывали; ведь если встречаются хорошие традиционные песни — их тоже надо удержать!

12 июля 1947. Там же

Сегодня с утра ходили за восемь километров в деревушку Борьки и обратно — искали партизанский материал. Чудесная узкая лесная дорожка. Тихо, глухо, никого нет. Жужжат шмели, пахнет цветами и нагретым хвойным лесом. За поворотом тропинки внезапно — ржавый разбитый фашистский танк, весь заросший кустами спелой малины. Странно представить себе, что этот танк остался здесь после боя... А между тем это так.

По пути — две маленькие деревушки. Они выгорели при фашистах, теперь спешно отстраиваются. Стоят они на открытых солнечных полянах, сверкают свежим деревом, яркими чистыми окнами. Люди работают в поле и издали слышно — поют. Возрождение, возрождение!

Мы подходим к работающим, здороваемся, присаживаемся рядом с ними «на перекурку», которую они время от времени себе позволяют. Народ приветливый, к нашей работе относятся очень сочувственно. Сразу же предлагают частушку:

Гитлер немец, сатана,
Из-за тебя идет война.

Какбы ты не сатана —
Давно бы кончилась она!

— Ну, очень хорошо, это все — частушки, — говорим мы, — а не было ли у вас длинных песен про войну, которые были бы сложены в военное время?

— Как не быть, — отвечали нам, — вот хорошую песню с Ладоги привезли.
И запевают:

Сквозь ветры, шторм и через все преграды
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь проходит сквозь блокаду,
Другой дороги не найти.

Эх, Ладога, родная Ладога,
Метель, и шторм, и грозная волна!
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Пусть ветры Ладоги поведают народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в дождь, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.

(Припев)

Зимой машины мчались вереницей
И лед на Ладоге трещал.
Грузили хлеб для северной столицы,
И Ленинград нас радостно встречал.

(Припев)

Но знали мы — кровавая блокада
Минует скоро, словно тень.
Росли и крепили силы Ленинграда,
Росли и крепили каждый день.

(Припев)

И вот пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнет — и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной.

(Припев)

— Это так во время войны пели,— поясняют нам,— а когда победа пришла — конец-то изменили маленько, стали петь:

И вот прошли года войны суровой,
Опять прекрасен город мой,
Народ вздохнул — и песню с силой новой
Запел о Ладоге родной.

Эту песню мы уже слышали в Волховском районе в 1946 г., но здесь ее пели с вариантами и потому, конечно, мы записали ее еще раз.

— А то еще другая была, которую сами в партизанском отряде сложили,— сообщают нам колхозники,— ее тоже очень любили. Ее все в Уторгашском районе пели.

— Какая же, какая же? — жадно допытываемся мы. И записываем:

Шли на врага полки бригады пятой,
Немцев сметал народный ураган.
Рельсы рвались, трещали автоматы
Там, где легла дорога партизан.

Путь по тылам всегда суров и труден,
Но сквозь огонь прошли наши полки.
В бой нас вели Карельский и Сергунин,
В бой нас вели орлы-большевики.

Нам не забыть Дертынские болота,
Враг нас сжимал в железное кольцо.
Лезли на нас и танки, и пехота,
Но не сдались отряды храбрейших.

Сила наша крепка, и ноги наши быстры,
Мы не страшась кидались в жаркий бой.
Бились с врагом на берегу Шапрони
И водрузили флаг наш боевой.

Все, как один, поднялись в бой суровый,
Сын и отец с винтовкой на плече.
В темных лесах от Луги и до Пскова
Смерть настигла немцев-палачей.

Но день придет — мы выйдем из засады,
В город родной мы выйдем на парад:
Прими привет от войновой бригады
Наш дорогой, любимый Ленинград!

14 июля 1947. Там же

Наши упорные поиски продолжаются — и не без результатов. С утра до ночи записываем то, что отыскивали. Масса песен, связанных с тематикой недавней войны!

В Малых Озерцах, которые стоят в двух шагах от Больших, мы нашли очень интересного и ценного для нас человека — бывшую партизанку, Александру Евстафьевну Алексееву, сорокапятилетнюю женщину, которая прошла вместе с лужским партизанским отрядом весь его славный путь и теперь очень довольна, что кто-то хочет записать ее рассказы и песни. Она сообщила нам, что в Лужском районе был сильный партизанский отряд, во главе которого стояли товарищи Карельский и Сергунин; партизаны совершали смелые вылазки, где могли подрывали работу врагов, вредили им, вели агитацию среди населения. Луга была занята фашистами. Под самый Новый год партизаны пробрались в Лугу и на главном здании ухитрились вывесить красный флаг с надписью: «С новым годом, с новым счастьем! Смерть немецким захватчикам!» А ниже висела надпись: «Осторожно, заминировано!» Немцы плевались, ругались и со страхом смотрели на флаг, а подступить боялись. На самом деле никаких мин там не было, но партизаны из засады наблюдали и потешались над тем, с какими предосторожностями фашисты наконец полезли снимать флаг...

Время от времени в Лугу, в фашистскую комендатуру, собирали местных жителей и выстраивали их в два ряда вдоль коридора. Выходил немецкий офицер и раздавал им агитационные картинки и портреты Гитлера, отпечатанные на прекрасной меловой бумаге. На картинках было изображено, как немцы якобы побеждают отряды русских, как они взрывают русские корабли, как расправляются с пленными — грубые агитки, бездарные и в политическом и, конечно, в художественном отношении. Население издевалось над этими «произведениями искусства», но, так как бумаги не было, использовало ее. Одна колхозница принесла портрет Гитлера домой, разрежала пополам и положила на полку под кастрюли изображением вниз («этак морду не видать, а бумага крепкая, пригодится»). Другая сделала из этой бумаги выкройку кофточки, но местная портниха отказалась шить по ней, чтобы «не поганиться»...

Фашисты заставили мельника работать по-прежнему на мельнице. Он работал днем, а ночью встречал партизанские подводы и молол партизанам зерно, которое они потом тайком увозили в леса. Немцы же, ничего не подозревая, видели его усердную работу и были очень довольны.

Партизаны жили в лесу, в длинных благоустроенных окопах. Сверху окопы были покрыты досками, закиданы снегом и мохом, летом — зелеными ветками. Обнаружить их было очень трудно. В окопах были печи, даже бани и пекарни. Выпекали до 400 буханок хлеба каждый день.

Парни-партизаны приходили по вечерам на гулянки в деревню и во время танцев незаметно передавали девушкам записки с поручениями и заданиями. Выследить их было невозможно.

В деревне Борьки пропала четырнадцатилетняя девочка. Мать убивалась и изводилась от горя — была уверена, что девочка погибла у фашистов. Но как-то в осеннюю ночь она услышала под окном тихий стук — Открой, мама! Это я, Верочка.

Мать кинулась к двери. Девочка вошла, робко озираясь. Она скрывалась у партизан и ни за что не хотела вернуться в деревню. Она научила мать, как и куда приходиться в лес, приносить партизанам передачи, что делать в деревне по их указанию. Вместе со своими товарищами в лесу на глухой горе девочка по ночам поджидала мать и носила в окоп картошку. Она вернулась домой только через два года.

Партизаны взрывали поезда между Лугой и Плюссой. Закладывали мины, сами прятались недалеко от полотна и наблюдали за взрывами.

Приятельница А. Е. Алексеевой, Анна Ивановна Карпова, молодая двадцатилетняя ее соратница по отряду, часто приходит из деревни Борьки в наши Озерцы. Люба Попова, Соня Сергеева, Валя Котикова и другие девушки и подростки — все знают песни, которые пелись в дни войны. И мы работаем сейчас с ними по целым дням.

В их репертуаре есть разные произведения. Все эти песни созданы уже в профессиональной литературной манере, но имена их авторов не сохранились и песни считаются «нашими общими», «народными». Мы записали пока следующие:

«Прощай же, девушка, прощай же, русая» — о воине, уходящем на фронт; пелась в партизанском отряде в 1943 г. в районе Уторгоши;

«Тихо ночь над деревней спустилась» — о тоске матери, ожидающей сына с фронта и не знающей о его гибели;

«На горизонте заря разгоралась» — о медицинской сестре, которая узнает в умирающем раненом своего родного брата;

«Машина по полю клубится» — о танкисте, погибающем в горящем танке; «В том краю под Ленинградом» — о погибшей семье воина; «Огонь горит, в вагоне тихо» — о воине, раненом в бою;

«Скучно, грустно, моя дорогая» — воспоминание бойца о любимой девушке и просьба сохранить верность ему в разлуке;

«Раскинулись рельсы широко» — о девушках, увозимых насильно в неволю; пелась на мотив «Раскинулось море широко» в партизанских отрядах в районе Луги и Плюссы;

«Раскинулся лагерь широко» — на тот же напев, сложенная в 1943 г. в фашистском концлагере; подробное описание быта заключенных;

«Этот случай совсем был недавно» — якобы подлинный рассказ о герое, который нарочно написал жене, будто стал калекой, получил от нее жестокое письмо («а она в том письме намекает, чтоб навек я ее позабыл»), вернулся в Ленинград и был встречен дочерью-подростком («офицер из вагона выходит, его грудь вся горит в орденах»); отец с дочерью отказываются от неверной жены и матери и начинают новую жизнь.

Особенно популярной была песня, которую хорошо помнят в районе и сегодня. Она была сложена во время увоза русских девушек в Германию в 1943 г.:

Раскинулся лагерь широко,
Кругом все бараки стоят,

.

Не слышно по лагерю песен,
Лишь слышатся крики детей.

По комнатам слышны рыданья
Безвинных отцов, матерей.

Нечаянно в лагерь попали
Мы, жители разных сторон.
Безвинно сидим за решеткой
Не знает никто, что нас ждет.

Ах, злые хозяева немцы,
Зачем привезли нас сюда!
Зачем нас закрыли решеткой
И выхода нет никуда.

И гибнут безвинные люди
Под плетью лихих палачей,
За каждый малейший проступок
Нас хлещут десятком ремней.

А дверь за водою откроют —
В дверях патрули все стоят,
Стоят полицаи в нашивках,
За нами все время следят.

Но мы патрули перехитрим,
И все-таки в город уйдем.
И, жизни своей не жалея,
Решетку железную рвем.

И если мы здесь не погибнем
И сможем войну пережить —
В родные края мы вернемся
И будем про все говорить.

Родным и друзьям мы расскажем,
Есть много, о чем рассказать,
А сами мы будем трудиться
И новую жизнь добывать.

15 июля 1947. Там же

Очень много частушек о войне и фашистском плене.

Фашисты в лагерь нас загнали
Близ самого озерышка.
Кто не пожил в лагерях,
Тот не знает горяшка.

У фашистов ну ты, ну ты,
Все у нас заучено,
Как молоденькие девушки
В лесу замучены.

Утром рано на работу
Полицай колотится.
На фашистскую работу
Нам идти не хочется.

Молодые годы в лагере
Печально провожу.
В холод, зной и непогоду
На работу я хожу.

Но вместе с тем звучат и бодрые, насмешливые мотивы:

Распроклятые вы немцы,
Бросьте с нами воевать:
Ленинграда вам не видывать
И чай там не пивать!

Все морошка, все морошка,
Да никак не виноград.
Есть для Гитлера дорожка,
Да никак не в Ленинград!

Песни на военные темы складываются из куплетов «Семеновны» и других общеизвестных частушечных напевов. Они частью были привезе-

ны вернувшимися из фашистских лагерей, частью сложены в деревнях, откуда людей угоняли в Германию.

16 июля 1947.
Дер. Бор

Наша институтская машина давно вернулась в Ленинград. Пешком, сопровождая лошадь с нашими пожитками, перебрались мы сегодня на новую базу, в деревню Бор. Остановились в доме колхозницы Насти Павловой. Вернее, оставили в ее избе весь багаж, а сами устроились рядом на колхозном сеновале, где можно очень удобно ночевать на сене почти под самой крышей. Главное наше рабочее время — вечер, часов с 11 и далее. Днем наши певцы заняты, а вечерами они очень охотно приходят к нам, приносят балалайку, устраивают танцы, поют, и мы подолгу записываем их. Председатель колхоза весьма нами доволен.

20 июля 1947 г.
Дер. Бор

Записи мы проводим при свете маленькой керосиновой лампочки, которую нам одолжила местная учительница. Поддубская школа расположена у самой церкви. Церковь старая, полуразрушенная фашистами. В садике учительницы — громадные красные маки; их дикие родичи оплели все входы в церковь, запутались в траве вокруг церковных стен — точно красные огоньки горят повсюду. Громадные дубы осеняют церковь; под дубами — тенистые живописные полянки, к которым надо пробираться с большой дороги по узким заросшим дорожкам. Местечко удивительно красивое.

Днем, как было и в Озерцах, ходим на поле — ползаем по грядам за певичками и, сидя на карачках между капустными кочанами и морковной зеленью, записываем песни, свадебные причеты и многое другое. Всех жанров — и поэтических, и прозаических — столько, что рук не хватает все записать. Эмоциональный тон наших записей различен — от трагического до комического.

21 июля 1947.
Дер. Бор

Наряду с материалами военных лет мы записываем и произведения традиционного фольклора. Расспрашиваем, в частности, о старом обряде свадьбы. Узнаем, что здесь он, как и в Больших и Малых Озерцах, в цельном виде давно уже не существует, но что много старых свадебных песен еще помнится и исполняется на всех колхозных свадьбах. Схема свадебного обряда Лужского района прежде включала в себя следующие моменты: 1 — сватовство; 2 — езда родных невесты к жениху «смотреть дом»; 3 — приезд жениха к невесте на «богомолье» (или «порученье»); 4 — езда жениха к невесте на неделе, молодежные вечеринки; 5 — приезд жениха к невесте накануне девишника «на яшню»; 6 — девишник накануне свадьбы и расплетанье косы; 7 — баня; 8 — утро свадьбы, приезд жениха за невестой; 9 — венчанье, надевание бабьего поворника; 10 — встреча от венца; 11 — «малый стол» молодых без гостей; 12 — «большой стол» — свадебный пир; 13 — утренние обряды; 14 — поездка молодых к родителям невесты; 15 — прием молодыми у себя родни невесты и угощение всей деревни. В наши дни, конечно, сохраняется только свадебный пир, а если какие-нибудь старые обряды и выполняются, то только в порядке шуток.

Здесь много традиционных загадок, пословиц, примет и т. п. Но хотя мы по возможности берем и все это — основной наш материал относится к военным годам. В целом получается очень пестрое сочетание старины со страшной новизной военной эпохи.

23 июля 1947.
Дер. Бор

Работа наша тут закончена. На прощанье записали бойкие частушки сложенные сразу после войны:

Вышиваю полотенце —
Лебедя крылатого.
Всем колхозом гнали фрица —
Выгнали проклятого!

Вот и кончилась война,
Дождались победушки.
Скоро дролечки придут,
Дорогие девушки!

Не калина, не малина,
Не цветок меня завлек,
А завлек меня, девчонку,
С орденами паренек.

Говорил мне старший брат:
— Любите раненых ребят.
Они не в драке, а в бою
Сгубили молодость свою.

Вот и кончилась война,
Идут ребята ротами.
Я своего дорогого
Встречу за воротами.

Вот спасибо тебе, милый,
Что меня не огорчил:
За великое геройство
Орден Славы получил

Настало времечко — в Германии
Все стали горевать:
— И зачем же мы, Германия,
Полезли воевать!

24 июля 1947.
Дер. Бор

Сроки экспедиции истекают. Завтра утром мы должны отбыть отсюда в Городецкий сельсовет. Так как на лошади ехать нельзя — здесь объявлен какой-то лошадиный карантин, — то наши вещи поедут на... корове, а мы пойдем пешком.

25 июля 1947.
Поезд Луга — Ленинград

Сегодня утром отбыли из уютного, гостеприимного Бора. Лучшие наши певички, колхозные скотницы, прибежали со скотного двора провожать нас. После теплых объятий и всевозможных добрых пожеланий с обеих сторон мы зашагали вслед за удивленной коровой. Шагать нам надо было 15 километров; около полудня мы были уже в Городце. Местный автобус довез нас до Луги.

А от Луги до Ленинграда — тут уж все просто.

Конечно, в эти торопливые записки попало далеко не все, что мы видели, слышали и собрали. Большие папки с новыми музыкальными и словесными текстами лягут завтра в шкафы нашего фольклорного кабинета. Кое-что постараемся напечатать, кое-что пойдет на радио, многое используем в отчетных статьях.

Что могли в эту поездку — сделали. На будущий год надо непременно продолжать. Теперь на очереди — Оятский район.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»

17—19 сентября 1979 г. в Чернигове состоялась конференция «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы», организованная Институтом этнографии им. Н. И. Миклухо-Маклая АН СССР и Черниговским государственным педагогическим институтом им. Т. Г. Шевченко. В ее работе приняли участие ученые СССР и ряда европейских социалистических стран.

Конференция явилась одним из научных мероприятий, проведенных советской общественностью в связи с подготовкой к празднованию 325-летия воссоединения Украины с Россией.

Научные учреждения Советского Союза были представлены сотрудниками московской и ленинградской частей Института этнографии АН СССР, а также Академий наук, высших учебных заведений и музеев УССР и БССР. В подготовке и проведении конференции активное участие приняли научные сотрудники и преподаватели Черниговского пединститута.

Академии наук и университеты социалистических стран были представлены учеными из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СФРЮ и ЧССР.

В докладах участников конференции был освещен широкий круг проблем этнокультурной истории славянских народов. При этом главное внимание было уделено связям славян между собой и с соседними народами. Доклады основывались на разнообразных источниках и материалах — как письменных документах и литературе, так и данных этнографии и фольклора.

Конференцию открыл председатель исполкома Черниговского областного Совета народных депутатов В. Л. Филоненко. В своем вступительном слове он подчеркнул символический смысл проведения в Чернигове конференции, посвященной 325-летию воссоединения Украины с Россией. Черниговщина расположена на стыке трех советских республик, образовавшихся на территории исконного расселения восточнославянских народов — русских, украинцев, белорусов. Партийными организациями области накоплен большой опыт братского сотрудничества с другими народами нашей страны: В. Л. Филоненко пригласил участников конференции ознакомиться с практикой такого сотрудничества, вдохновленного принципами ленинской национальной политики.

Академик Ю. В. Бромлей (Москва) в докладе «Дружба народов СССР — торжество ленинской национальной политики КПСС» отметил, что 325-летний юбилей воссоединения Украины с Россией представляет собой по существу общий праздник всех народов нашей страны. Дружба народов СССР имеет глубокую историческую основу, давние и прочные традиции, в исследование которых призвана внести свой вклад конференция. Но одних исторических традиций было бы недостаточно для того, чтобы возникло и развивалось дружеское сотрудничество нескольких десятков наций и народностей, сплоченных в пределах единого государства. Дружба народов СССР — феномен, подобного которому не знала всемирная история, — окрепла и упрочилась в условиях социализма и стала одним из мощных ускорителей коммунистического строительства. Это историческое явление вошло в жизнь как закономерное следствие интернационалистской природы социалистического строя в многонациональных странах. Вместе с тем, существенная роль принадлежит и субъективным факторам: дружба народов Советского

Союза — результат целенаправленной повседневной деятельности КПСС. Ю. В. Бромлей детально охарактеризовал общие и специфические черты двух основных диалектически взаимосвязанных тенденций в этнических процессах, протекающих в нашей стране, — дальнейшего развития наций и их все большего сближения.

Академик АН УССР П. Т. Тронько (Киев) в докладе «Историческое значение воссоединения Украины с Россией» рассмотрел экономические, политические и культурные факторы, создавшие объективные предпосылки для знаменательного события, навеки объединившего два братских славянских народа. Докладчик подробно остановился на последующих периодах истории, ставшей отныне единой для украинцев и русских. П. Т. Тронько, в частности, осветил тесные культурные взаимосвязи украинского и русского народов, благодаря которым творчество виднейших писателей, поэтов, художников Украины быстро становилось достоянием и русской культуры. Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новому, более высокому этапу в развитии дружеского сотрудничества братских народов. Объективной основой для дальнейшего укрепления дружбы украинцев и русских, как и всех народов СССР, являются происшедшие за годы Советской власти преобразования, создавшие оптимальные условия для развития наций и тем самым способствовавшие их сближению.

М. Г. Рабинович (Москва) и К. В. Чистов (Ленинград) в докладе «Важнейшие особенности этнической истории восточных славян» подвергли анализу основные тенденции этнического развития восточных славян от раннего средневековья до современной эпохи. Докладчики отметили, что одной из характерных черт этнической истории русских следует считать сочетание относительно рано начавшейся внутренней этнической и этнокультурной консолидации, приведшей к выработке общих особенностей традиционной культуры русских, с продолжавшимися до XIX и даже XX в. процессом формирования новых локальных групп. Одна из важнейших специфических черт этнической истории украинцев, белорусов и русских заключается в их многовековой тесной взаимосвязи и взаимодействии. В отдельные исторические периоды соотношение двух тенденций — этнической дифференциации восточнославянских народов и их сближения на основе не только близкого родства, но и переплетения исторических судеб — было различным. Формирование трех восточнославянских народов обуславливалось прежде всего причинами политическими и социально-экономическими. При этом процесс этнической консолидации украинцев, белорусов и русских проходил в неодинаковом темпе. В советский период этноконсолидационные процессы развиваются в сочетании с процессами межэтнического сближения на разных уровнях.

М. Гладыш (Краков) в докладе «Из этнокультурных проблем западных славян» осветил некоторые вопросы этнической истории поляков, словаков и чехов, сформировавшихся из разных племенных и локальных групп, которые имели культурные и языковые различия. Несмотря на многовековой процесс этнической консолидации, особенности исторического развития народов способствовали тому, что вплоть до наших дней можно выявить в традиционной культуре отчетливые следы былого деления западных славян на локальные группы.

Э. Хорватова (Братислава) выступила на конференции с докладом «Проблематика этнических процессов в связи с мировоззренческими представлениями славян в период раннего и средневекового феодализма». Она рассмотрела, в частности, процесс возникновения самоназвания словаков, подчеркнув, что самоназвание народа в известной мере отражает степень развития этнического самосознания и степень консолидации этноса.

В. М. Мельник (Чернигов) в докладе «Некоторые моменты ранней этнической истории карпатских украинцев», опираясь на свидетельства русской летописи и венгерских хроник, а также исторические песни, народные предания и легенды закарпатских украинцев, показал, что в конце IX в. Среднее Подунавье было населено славянами. Предками современных карпатских украинцев были прикарпатские и закарпатские восточнославянские племена русинов и белых хорватов.

Л. Н. Чижикова (Москва) в докладе «Русско-украинские этнокультурные связи в контактных этнических зонах» показала закономерности процессов сближения русских и украинцев в районах их смешанного расселения на территории Курской и Белгородской областей РСФСР, в Сумской, Харьковской и Ворошиловградской областях УССР. В контактных этнических зонах происходят сложные взаимодействия между русскими

и украинцами, что оказывает большое влияние на бытовую культуру, язык и национальное самосознание. В результате взаимодействия разнообразных факторов в быту русских и украинских групп формировалось сложное сочетание общих и этноспецифических особенностей, по-разному выраженных в отдельных сферах материальной и духовной культуры. Многие черты культурно-бытовой общности, характерные для этих районов, были свойственны всем восточным славянам, они восходят еще к периодам раннего и развитого феодализма. Другие, общие для русских и украинцев, сложились сравнительно поздно, после заселения русско-украинского пограничья в XVI—XVII вв. С развитием капиталистических отношений в деревне наряду с продолжающейся унификацией многих культурно-бытовых особенностей появляются новые черты культуры, общие для широкого круга народов. В годы Советской власти этот процесс происходит особенно быстрыми темпами.

М. Маркович (Загреб) в докладе «Некоторые проблемы этногенеза хорватов» рассмотрел узловые моменты процесса формирования хорватского народа. В его докладе были выделены основные этапы сложения хорватского народа, показаны его давние и тесные связи с другими славянскими народами, ярко проявляющиеся, в частности, в сфере традиционной культуры.

К. Фойтик (Брно) доклад «Формирование и развитие этнокультурных связей чехов с народами Восточной и Центральной Европы» посвятил проблеме влияния регулярных экономических связей на развитие этнического самосознания. В городах Чехии, Моравии и Силезии, сказал докладчик, в XIV—XVIII вв. сознание этнической принадлежности отступало на задний план в сравнении с сознанием местной и религиозной принадлежности; оно приобрело главное значение во второй половине XVIII в. К. Фойтик отметил, что имеется возможность расширить круг материалов, привлекаемых для изучения этнокультурных процессов. В его докладе впервые были широко использованы хроникальные записи грамотных крестьян и горожан.

В. Хаджиниколов (София) представил для обсуждения доклад «Некоторые проблемы формирования болгарской нации». Процесс преобразования болгарской народности в буржуазную нацию, по мнению докладчика, развивался в первой половине XIX в. и завершился накануне русско-турецкой войны (1877—1878 гг.), приведшей к освобождению Болгарии от османского ига. Этот процесс имеет прямую связь с развитием капитализма в юго-восточной Европе. Докладчик подробно рассмотрел признаки зарождения капиталистических отношений в Болгарии. Формирование болгарской нации со сложившимся национальным самосознанием сопровождалось интенсивными культурными процессами. По мере формирования болгарской нации развивалась общенародная борьба за национальную независимость и свободу.

С. Генчев (София), выступивший с докладом «К вопросу о роли народной культуры в формировании болгарской нации», показал, что в процессе становления нации традиционная народная культура болгар ярко проявила свои этноинтегрирующие и этнодифференцирующие функции. С. Генчев подчеркнул значительную социальную однородность болгарской народной культуры, ее единство в пределах этнической территории, что позволяет народному самосознанию осмысливать ее как специфическое для болгар явление. Народная культура была фактором, укреплявшим национальное самосознание и вместе с ней наряду с языком и религией имела большое значение для укрепления идеи о принадлежности болгарского этноса к более широкой общности народов — к славянству.

О. Ю. Мельник (Чернигов) выступила с докладом «Проблемы этномузыкологии восточных славян». Она обратила особое внимание на календарно-обрядовые песни, сохранившие архаический облик в большей мере, чем песни других жанров. Наибольшей арханкой отмечены белорусские календарные песни; календарный мелос белорусов можно признать общим для всех восточных славян, отражающим начальный этап интонационного развития восточнославянской народной музыки. В числе задач, стоящих перед современной этномузыкологией, докладчица выделила реконструкцию песенных архетипов, дающих представление о древнерусской народной музыке.

А. Робек (Прага) выступил с докладом «Современные этнические процессы в ЧССР». Опираясь большим фактическим материалом, он обосновал вывод, что в настоящее время в Чехии, как и в других странах, происходит процесс этнической консо-

лидации, сопровождаемый процессом урбанизации и исчезновения многих элементов традиционной культуры.

В. К. Бондарчик и Л. И. Тегак (Минск) в докладе «К вопросу о динамике межнациональных браков в Белоруссии» продемонстрировали данные, собранные в ходе исследования современных этнокультурных процессов в республике. Анализ более чем 300 тыс. актов о заключении брака показал, что основная масса межнациональных браков приходится на городское население, особенно промышленных центров (Минск, Гомель, Гродно, Витебск), где они составляют половину всех браков. В целом частота межнациональных браков среди городского и сельского населения продолжает возрастать.

Н. К. Бойко (Чернигов) представил доклад «Влияние социалистической индустриализации на национальный состав рабочих и служащих Украины (1926—1929 гг.)», в котором показал, что уже в начальный период социалистической индустриализации на промышленных предприятиях Украины сложились интернациональные коллективы. Перепись 1929 г. отражает возрастание количества рабочих-украинцев за первые годы социалистической индустриализации (с 49,9 до 57,2%) и свидетельствует о быстром процессе распространения двуязычия. Формирование рабочего класса Украины имело непосредственную связь с развитием этнических процессов в республике.

А. Н. Уманец (Чернигов) в докладе «Воспитание рабочего класса Украины в духе коммунистического отношения к труду (1956—1961 гг.)» рассказал о систематической и кропотливой работе партийных организаций республики по трудовому воспитанию масс. Эта работа является необходимым элементом успешного строительства развитого социалистического общества, стимулирующим современные экономические, социальные и этнокультурные процессы.

Обсуждение докладов, в ряде случаев вылившееся в оживленную дискуссию, способствовало уточнению и детализации положений, высказанных докладчиками. Оживленное участие в дискуссии приняли: акад. М. Апостольский (Скопье), акад. Д. Неделькович (Белград), М. Янушев (Белград), М. Гладышева (Краков), Л. Н. Терентьева (Москва), М. С. Кашуба (Москва), Л. В. Маркова (Москва).

Проблематика конференции была тесно связана с направлением работы международного авторского коллектива по созданию трехтомника «Этнография славян», в подготовке которого участвуют ученые СССР и ряда социалистических стран. Поэтому логическим продолжением конференции явилось заседание международной редколлегии трехтомника (19 и 20 сентября).

На заседании было отмечено, что в 1979 г. успешно продолжалась работа по учету замечаний, высказанных на заседании редколлегии, состоявшемся в 1978 г.; произведена доработка и частичная замена текста ряда разделов, вызванная необходимостью обновления материалов в связи с появлением новой литературы. Были рассмотрены состояние работы по разделам и меры по завершению подготовки трехтомника. Международная редколлегия подчеркнула важность проведенной в Чернигове конференции и рекомендовала авторам использовать ряд материалов, представленных докладчиками. Полезно и в будущем проводить одновременно с заседаниями редколлегии теоретические конференции. Было решено организовать в 1981 г. конференцию (симпозиум) «Этнические традиции и современность».

К работе конференции «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы» был приурочен и международный симпозиум «Роль семьи в этнокультурных процессах в условиях социализма», организованный по инициативе Международного комитета по этнографическому изучению современности¹.

Проведенная в г. Чернигове конференция «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы» имела большое общественно-политическое и научное значение. Посвященная 325-летию воссоединения Украины с Россией, конференция вновь привлекла внимание общественности к фактам давнего единства основ культуры и исторических судеб родственных славянских народов. В представленных на конференцию докладах были освещены узловые проблемы этнической истории славян, их разносторонних контактов с соседними народами.

¹ Л. М. Дробижева. Международный симпозиум «Роль семьи в этнокультурных процессах в условиях социализма». — «Сов. этнография», 1979, № 3.

Очень эффективным оказалось сочетание конференции с заседанием международной редколлегии трехтомника «Этнография славян» и симпозиумом «Роль семьи в этнокультурных процессах в условиях социализма», поскольку большинство участников конференции входит в авторский коллектив «Этнографии славян» и изучает различные аспекты современных этнокультурных процессов. В течение одной встречи удалось решить ряд важных вопросов научного сотрудничества ученых социалистических стран.

И. А. Кремлева

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Проблемы этногенеза и этнической истории, требующие привлечения разнообразных и многочисленных источников не только исторического характера, но и из смежных научных областей, обычно привлекают внимание широкого круга ученых.

Убедительным подтверждением этого явилась состоявшаяся 19—22 ноября 1979 г. в Омске конференция «Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий». В ее работе приняли участие сотрудники ряда научно-исследовательских учреждений АН СССР: Института этнографии (Москва, Ленинград), Института археологии (Москва, Ленинград), Института истории (Москва), Института языка, литературы, истории Казанского филиала (Казань), Института языка, литературы, истории Башкирского филиала (Уфа), Института истории, филологии и философии Сибирского отделения (Новосибирск), Бурятского института общественных наук Сибирского отделения (Улан-Удэ), а также Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР (Алма-Ата), Хакасского (Абакан) и Калмыцкого (Элиста) НИИ языка, литературы и истории. Учебные заведения были представлены университетами Москвы, Ленинграда, Омска, Томска, Кемерово, Караганды, Уфы и Калинин, педагогическими институтами Томска, Новосибирска, Омска, Свердловска, Тобольска, Абакана, Ферганы. Среди участников конференции были также научные сотрудники Государственного музея этнографии народов СССР (Ленинград), Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и других учреждений Министерства культуры СССР.

Организаторы конференции — Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, Омский государственный университет и Томский государственный педагогический институт имени Ленинского комсомола — провели большую подготовительную работу. Расширенные тезисы докладов были предварительно опубликованы и разосланы участникам¹. Это дало возможность докладчикам уделить большее внимание демонстрации материалов, иллюстрирующих их основные положения, и увеличило время, отведенное на прения. Обсуждению докладов было отведено три заседания из восьми, в ходе развернувшейся дискуссии выступило 36 человек.

Вступительное слово на открытии конференции произнес проректор Омского государственного университета Б. А. Луговик.

Все заседания, на которых зачитывались доклады, проходили как пленарные, и тем не менее было заслушано и обсуждено 60 докладов по этнографии, археологии, антропологии и лингвистике. В них нашли отражение различные подходы к проблемам этногенеза и этнической истории тюркоязычных народов. Большинство докладов отличалось высоким научным уровнем, вызвало большой интерес, плодотворный и оживленный обмен мнениями.

В настоящем обзоре мы коснемся главным образом этнографо-антропологической тематики конференции, тем более что она была представлена наиболее весомо.

¹ «Этногенез и этническая история тюркоязычного населения народов Сибири и сопредельных территорий». Омск, 1979.

Заслушанные доклады можно, хотя и с обычной в таких случаях долей условности, подразделить на три группы. В первую, наиболее значительную, следует включить доклады, посвященные этногенетической проблематике. С обобщающим докладом «Этническая дифференциация тюркского населения Западно-Сибирской равнины» выступил Н. А. Томилов (Омск). На основе использования широкого круга архивных источников и материалов полевых записей, в том числе генеалогических таблиц, он предложил схему классификации внутри тюркоязычных этнических образований степной и лесостепной полосы Западной Сибири (сибирские татары, чулымские турки, бухарцы, поволжско-приуральские татары—переселенцы из-за Урала, казахи). По мнению докладчика, эта классификация, для дальнейшей разработки, конкретизации и уточнения которой предполагается использование данных не только этнографии, но и антропологии, археологии и других смежных дисциплин, позволит более плодотворно и глубоко исследовать вопросы этнического формирования различных групп тюркского населения Западной Сибири.

Роли кыпчакского компонента в этногенезе сибирских татар, в формировании их языка и культуры были посвящены доклады Ф. Т. Валеева (Казань) и С. М. Исхаковой (Казань). Эта же проблема на казахском этническом материале рассматривалась в сообщении Ю. А. Евстигнеева (Караганда).

Этнографические данные были положены в основу доклада В. П. Дьяконовой (Ленинград). Осуществленный ею этногенетический анализ ряда элементов материальной культуры теленгитов позволил по-новому осветить некоторые вопросы, связанные с формированием этой этнотерриториальной группы современных алтайцев. Основные черты систем родства тюркоязычных народов Сибири рассмотрел М. А. Членов (Москва). Согласно его концепции, границы структурных типов систем родства во многих случаях совпадают с границами этнолингвистических общностей. Это не только открывает широкие возможности для реконструкции протосистем родства, но и позволяет использовать их в качестве источника для изучения проблем этногенеза. Исследованию этногенетических ракурсов терминологии родства и свойства тарских, тобольских и тюменских татар был посвящен доклад Ф. Т. Валеева. Проблему древних связей тюркских и монгольских народов (в частности, калмыков) на материалах тотемной этнонимии рассмотрел в своем выступлении Г. О. Авляев (Элиста).

Роль фольклорных материалов, важность привлечения этого вида источников для исследования проблем этногенеза была охарактеризована в докладах И. А. Сыркиной (Тобольск) и В. Я. Бутанаева (Абакан). В первом докладе были привлечены материалы по тобольским татарам, во втором — по хакасам. Доклад В. Я. Бутанаева вызвал оживленные прения. Как отметила Э. Л. Львова (Томск) этноним хоорай (хори, хорай), фигурирующий в хакаских исторических преданиях, находит аналогии у якутов и бурят. В. И. Васильев (Москва) указал на возможную генетическую связь этнонимов хоорай (хори) и харю (кара) у сибирских тундровых ненцев. Л. Р. Кызласов (Москва) не согласился с точкой зрения докладчика о том, что этноним хоорай можно рассматривать как самоназвание средневековых хакасов, и призвал к более осторожному использованию исторических преданий для этногенетических реконструкций.

Большой интерес вызвал у аудитории доклад известного лингвиста-тюрколога Е. И. Убрятовой (Новосибирск) «Данные языка как исторический источник». Докладчица поставила вопрос о важности объединения усилий специалистов разных наук, работающих в области этногенетики, и осветила некоторые вопросы формирования ряда тюркских языков. Лингвистические материалы были положены в основу докладов Т. И. Поротовой (Томск) и В. А. Полякова (Таганрог), в которых затрагивались вопросы кетско-тюркских языковых контактов.

Высокую оценку участников конференции получил доклад Г. Л. Хитъ (Москва), посвященный результатам исследования расогенетических связей ряда этнических групп Саяно-Алтая: хакасов, северных и южных алтайцев, шорцев, тувинцев на основе данных дерматоглифики. Как подчеркнула докладчица, у большинства перечисленных популяций выявляются метисные черты. Но некоторые популяции (например, челканцы) не имеют аналогий в пределах Сибири. Этногенез народов того же этногеографического региона послужил темой еще для одного антропологического доклада, сделанного А. Р. Кимом (Томск). По данным краниологических материалов докладчик пришел к выводу, что

современные тюркоязычные народности Кузнецкой котловины генетически связаны с местным средневековым населением.

Этногенетическим и этноисторическим процессам в древности было посвящено и большинство выступлений археологов. Обзорный доклад «Этногенетические аспекты истории тюрков в археологических исследованиях Сибири» сделал В. И. М а т ю щ е н к о (Омск). Вопросы этнической привязки археологических культур лесостепной и степной полосы Западной и Средней Сибири и пограничных областей, этнических передвижений и этнических контактов населения этого региона во второй половине I — начале II тысячелетия н. э. были рассмотрены в докладах Л. Р. Қызласова, И. Л. Қызласова (Москва), В. А. Могильников (Москва), Ф. Х. Арслановой (Калинин), Е. П. Казакова (Казань), Ю. С. Худякова (Новосибирск) и др. Ряд теоретических проблем поднял в докладе «Об этническом аспекте образования раннеклассовых государств в Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего средневековья» Д. Г. Савинов (Ленинград). Все государственные образования тюркоязычных народов этой эпохи он определил как полиэтнические и подразделил их на разнопорядковые общности трех видов: одноплеменные, или этнолингвистические; многоплеменные, или этнокультурные; государственные, или этносоциальные. Выступившие в прениях В. И. Васильев, Н. А. Томилов и др. оценили этот доклад как определенный вклад в теорию этнической общности.

Древние этнические связи, устанавливаемые по палеоантропологическим материалам, послужили темой докладов Н. Н. Мамоновой и М. М. Герасимовой (Москва).

Вторую группу составили доклады, посвященные различным аспектам проблемы этноисторического развития тюркоязычных народов Сибири.

Этническая карта Башкирии конца XVIII — начала XIX в. была представлена в докладе Р. З. Янгузина (Уфа). По его мнению, именно к указанному времени в результате интенсивного продвижения в северо-западные районы телярей, мишарей и татар, а в северные и северо-восточные районы русских, этническая карта Башкирии претерпела существенные изменения. Выявлению основных этапов расселения башкир на восточной стороне Урала посвятила свое выступление Н. Н. Моисеева (Уфа).

В ряде докладов были затронуты проблемы этнических контактов между различными тюркоязычными группами и их соседями. В. И. Васильев рассмотрел энецко-и нганасано-долганские контакты, развивавшиеся на протяжении XIX — начала XX столетий. А. В. Коновалов (Ленинград) выступил с докладом «Этнокультурные контакты кош-агачских казахов и теленгитов». А. В. Смоляк (Москва) показала сходство стедьных элементов материальной культуры (одежда, обувь, приемы вышивания, техника обработки металлов и кожи) у народов Нижнего Амура и тюркских народов. Этнокультурные связи уральского казачества с соседними тюрко- и монголоязычными народами, и в первую очередь с татарами, казахами и калмыками, рассмотрел Н. М. Щербанов (Уральск).

Большой материал о характере ранних этнических контактов населения Среднего Поволжья, Приуралья и Западной Сибири в I тысячелетии н. э. был приведен в докладе Ш. Ф. Мухамедьярова (Москва). Начало проникновения тюркских этнических элементов за Урал он связал с миграцией хуннов, а активную тюркизацию местного населения отнес ко второй половине VII — началу VIII в., т. е. ко времени прихода в Поволжье с юга, из районов Приазовья, предков булгар.

Несколько докладов было посвящено характеристике различных категорий источников, привлекаемых для решения проблем этнической истории тюркоязычных народов. Н. В. Кузнецова (Омск) и Н. А. Томилов в докладе «Генеалогии как историко-этнографический источник (по материалам тюркоязычного населения Барабинской степи)» показали значение полевых записей родословных для этноисторических реконструкций. По мнению докладчиков, при отсутствии или неполноте архивных данных генеалогический материал становится первоисточником для решения проблем этнической истории (особенно поздних ее этапов — XIX — начала XX в.). Значение орнамента как историко-этнографического источника по материалам, собранным у барабинских татар показал В. В. Богомолов (Омск). Как считает докладчик, основные орнаментальные комплексы барабинских татар сложились в эпоху средневековья и несут в себе черты культуры тюркского населения, занимавшего территории к югу и к западу от них. Ме

нее выражено в барабинском орнаменте обско-угорское влияние. Н. И. Новикова (Омск) в докладе «Некоторые южные черты в духовной культуре манси» обратила внимание на типологические параллели в религиозных представлениях и обрядах кондинских манси, сибирских татар и алтайцев, объяснив их контактами этноисторического характера.

Роль топонимических материалов как надежного этноисторического источника показала С. С. Губаева (Фергана), выступившая с докладом «Роль и место этнонимов в образовании географических названий (на материале топонимии Ферганской долины)». В. И. Богданова (Ленинград), проводившая в течение ряда лет обследование коренного населения Тувинской автономной республики, отметила важность комплексного использования антропологических данных (антропометрические измерения и морфологическое описание, изучение кожных узоров ладоней и пальцев, распределение групповых факторов крови по системе АВО, одонтологические характеристики) для решения проблем формирования современных популяций.

Современные этнические процессы, протекающие в среде хакасов и шорцев, осветили в своих выступлениях В. П. Кривоногов (Абакан) и Г. М. Патрушева (Омск).

К третьей группе можно отнести доклады, посвященные исследованию формирования культурных комплексов и отдельных культурных явлений у тюркоязычных народов и выявлению ареалов их распространения. С докладом «О единстве типа и распространении форм пахотного орудия Средней и Центральной Азии» выступил Б. З. Гамбург (Ленинград). На основе сопоставления традиционных пахотных орудий с археологическими материалами докладчик пришел к выводу о бытовании у населения указанного региона с древнейших времен (III—II тысячелетия до н. э.) единого типа рала. В докладе И. В. Захаровой (Омск) «Классификация и картографирование казахских головных уборов (XIX — начало XX в.)» были изложены результаты работы, сделанной автором в процессе подготовки «Историко-этнографического атласа народов Средней Азии и Казахстана», показан процесс эволюции этого элемента национального костюма казахов и влияние на него урбанистических тенденций, этнических заимствований и т. п.

Д. Д. Шалхakov (Элиста) прочел доклад «К вопросу о форме и структуре семьи у тюрко-монгольских кочевых скотоводческих народов», в котором поддержал разделяемое многими тюркологами мнение об универсальности малой семьи как основного типа социальной ячейки кочевников Азии, подтверждая свою точку зрения калмыцким этнографическим материалом.

В ряде докладов рассматривались религиозные представления и обрядовые комплексы у отдельных тюркоязычных народов и выявлялись их параллели. Этим вопросам были посвящены доклады Б. Х. Кармышевой (Москва) «Некоторые элементы древних верований и представлений в поминальных обрядах узбеков Ферганы», М. Н. Себряковой (Ленинград) «К характеристике духа Албасты у турок и некоторые параллели в верованиях других народов», Э. Л. Львовой и М. С. Усмановой (Томск) «Представления о мировом дереве в традиционной обрядности народов Саяно-Алтая» и некоторые другие.

В ходе итоговой дискуссии затрагивались не только конкретные вопросы, но и общетеоретические проблемы этнографической и археологической наук, уточнялось содержание некоторых научных понятий и терминов. Ш. Ф. Мухамедьяров и Н. А. Томилов, например, подняли вопрос о необходимости различать понятия «этногенез» и «этническая история», с чем согласны уже многие исследователи. В. И. Васильев призвал осторожнее пользоваться термином «племя» в отношении этнических образований древности, средневековья и тем более нового времени, поскольку племя прежде всего представляет собою социальный организм. Л. Р. Кызласов предложил отказаться от использования в науке понятия «древнетюркское время». В ходе дискуссии высказывались предложения о проведении совместных комплексных археолого-антрополого-этнографических экспедиций.

Конференция подвела некоторые итоги работы советских ученых в области изучения этногенеза и этнической истории тюркского населения Сибири и наметила пути дальнейших исследований, в том числе проведение комплексных работ. Участники конференции высказались за укрепление сотрудничества этнографов, антропологов, архео-

логов, историков и лингвистов в деле решения проблем происхождения и этнического развития тюркоязычных народов Сибири и соседних территорий. В итоговом документе было записано пожелание проводить такие конференции-дискуссии регулярно через 4—5 лет.

В. И. Васильев, Н. А. Томилов

СИМПОЗИУМ ФОЛЬКЛОРИСТОВ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА

22—23 ноября 1979 г. в Казани состоялся региональный симпозиум «Межэтнические общности и взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала (итоги и задачи изучения проблемы)», организованный научным советом по фольклору при Отделении литературы и языка АН СССР, Институтом мировой литературы им. А. М. Горького, Советским комитетом тюркологов и Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР. В работе симпозиума приняли участие руководители отделов и секторов фольклора научно-исследовательских институтов, заведующие фольклорно-литературными кафедрами вузов Поволжья и Урала, ученые академических учреждений Москвы и Ленинграда — всего более 100 фольклористов. Это первое рабочее совещание специалистов обширного многонационального региона, объединяющего 18 автономных республик и областей РСФСР.

Симпозиум открыл директор Института ЯЛИ им. Г. Ибрагимова М. К. Мухарямов. Затем были прослушаны и обсуждены 17 докладов. В докладах фольклористов В. М. Гацака, Х. Г. Короглы (Москва), Б. Н. Путилова (Ленинград), В. П. Кругляшовой (Свердловск) и других были освещены общие проблемы и перспективы изучения межэтнических общностей и взаимосвязей фольклора народов СССР, а также некоторые теоретические вопросы методологии и методики изучения данного круга проблем.

В докладе Б. Н. Путилова рассматривались вопросы типологии контактных фольклорных межэтнических связей, подчеркивалась значимость историко-типологического изучения природы и механизма фольклорных контактов, выявления закономерностей, регулирующих эти процессы, и типовых ситуаций, способствующих или препятствующих контактам, а также уяснения роли в этих процессах таких специфических особенностей фольклора, как бытовая обусловленность, функциональные связи и коллективный характер.

В. П. Кругляшова говорила о том, что для объяснения различных типов фольклорных межэтнических контактов и связей (близость, общность, сходство, частичная аналогия, полная аналогия) необходимо совершенствовать методику изучения, предполагающую обязательное выяснение национального своеобразия произведений, типов сходства и объяснение его. Основные методические подходы (генетический, типологический, контактный), подчеркнула докладчица, необходимо применять в комплексе.

Значительная часть докладов была построена на материале отдельных фольклорных жанров. А. С. Мирбадалева (Москва), говоря об издании Академической серии «Эпос народов СССР» в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, указала на особое значение и трудности определения исторических, социальных и культурных основ публикуемых эпических произведений, отражения в них процесса взаимодействий и взаимообмена, обусловленных общностью этнической, племенной и государственной консолидации, контактными связями, общностью общественно-исторического и культурного развития. Разрешение всех этих вопросов необходимо для того, чтобы основное внимание направить на показ и раскрытие специфики и самобытности эпического наследия каждого народа.

И. Н. Надиров (Казань) говорил о межэтнических взаимосвязях песенного фольклора народов Среднего Поволжья и Приуралья. Он сделал вывод о том, что виды и

жанры песенной лирики у народов исследуемого региона в основных формах совпадают. При сравнительном изучении нетрудно заметить близость не только внутрижанровых подразделений, но и сюжетов, образов, мотивов и художественных форм. Длительные исторические и культурные контакты, сходство общественно-исторических условий, с одной стороны, привели к типологической и структурной близости, общности песенного фольклора, с другой — создали благодатную почву для процессов взаимовлияния и заимствования в фольклоре тюркоязычных и финно-угорских народов региона.

Доклад М. Н. Ожеговой (Пермь) был посвящен типологическому изучению коми-пермяцких преданий. Такое изучение, по мнению докладчицы, помогает убедиться в том, что одинаковые экономические и политические условия, сходный во многом культурный уровень объясняют близость коми-пермяцких преданий к аналогичным или близким жанрам, бытующим среди русских, коми-зырян, мордвы, мари, удмуртов и карелов.

Н. И. Егоров (Чебоксары) в докладе «Образ животного-предводителя в генеалогической мифологии тюркоязычных народов Поволжья и Урала» раскрыл древние межэтнические фольклорные связи народов этого региона путем исследования генеалогических сказаний башкир, татар, чувашей, калмыков и других родственных и контактировавших с ними народов. В докладе Л. Г. Барага (Уфа) «Межнациональные связи башкирских новеллистических сказок» рассматривались соотношения сюжетов башкирских сказок с сюжетами памятников древней литературы и фольклора Востока. Было обращено внимание на ряд новеллистических сюжетов, которые встречаются только в сказках башкир и других тюркоязычных народов СССР.

В ряде докладов и выступлений подробно говорилось о состоянии изучения межнациональных связей и о планируемых исследованиях по данной проблеме в автономных республиках Поволжья и Урала. Выразив уверенность в том, что симпозиум будет способствовать дальнейшему расширению и углублению изучения меэтнических общностей и взаимосвязей фольклора, М. К. Мухарямов подчеркнул, что для этого подготовлена солидная база в виде научных сборников, а также рукописных фондов. В результате многолетних экспедиций в Институте им. Г. Ибрагимова создан богатый фольклорный фонд, в котором хранятся записи около 1500 сказок, 500 преданий и легенд, 2000 образцов, игровых и лирических песен, более 100 000 коротких песен (четверостиший), 15 000 пословиц и др. Этот фонд служит основной базой для подготовки и издания 12-томного свода татарского фольклора, 5 томов которого уже вышли из печати. Параллельно с завершением подготовки многотомного свода в Институте решено подготовить пятитомное издание татарского фольклора на русском языке.

Аналогичные вопросы рассматривались и в докладах А. Е. Китикова (Йошкар-Ола), Т. Г. Перевозчиковой (Ижевск), Н. Т. Зарипова (Уфа). В последние два десятилетия фольклористы Башкирской АССР значительно активнее, чем в предыдущие десятилетия, собирают и публикуют народные устно-поэтические произведения. Все большее признание среди специалистов получает межвузовский сборник «Фольклор народов РСФСР», выпускаемый при Башкирском государственном университете. С 1974 г. выпущено уже пять книг этой научной серии, и все они в основном посвящены вопросам изучения своеобразия и меэтнических связей фольклора народов Российской Федерации.

Участники симпозиума с интересом прослушали также доклады Ф. В. Ахметовой (Казань) «О жанровых границах татарского эпоса в сравнении с эпосом тюркоязычных и угро-финских народов», Л. Ш. Замалетдинова (Казань) «Общность мотивов в сказках народов Среднего Поволжья и Приуралья», С. А. Галина (Стерлитамак) «Эпические традиции в татарских байтах и башкирских исторических песнях», А. Ш. Кичикова (Элиста) «Башкирские мотивы в калмыцкой историко-эпической поэзии», С. Х. Акбиева (Махачкала) «Татари-кумыкские фольклорные связи».

Симпозиум, как это подчеркивается в принятой резолюции, выявил и закрепил два принципиально важных момента в изучении фольклорных взаимосвязей региона. Во-первых, успешно преодолевается односторонняя ориентация лишь на генетическое родство и осуществляется переход к широкому изучению процессов, исторически объединяющих народы родственные и неродственные (особенно показательно в этом отношении раскрытие русских и инонациональных взаимодействий в фольклоре). Во-вторых, с изучения фольклорных взаимосвязей доисторических периодов акцент перенесен на

исследование процессов нового и новейшего времени, включая их современное состояние и проявление.

В ходе дискуссии на симпозиуме были высказаны новые научные идеи и намечены перспективы дальнейшей разработки проблемы.

Х. Ш. Махмутов

КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР «ЭТНОГЕНЕЗ ЛИТОВЦЕВ»

Уже несколько лет при Институте истории АН ЛитССР проводится комплексное изучение этногенеза литовцев. 20 ноября 1979 г. в Вильнюсе состоялась конференция, посвященная первым результатам этой работы. В ней принимали участие видные археологи, антропологи, лингвисты, медиевисты, этнографы.

Во вступительной речи руководитель исследований Р. К. Куликаускаене-Болкайте (Ин-т истории АН ЛитССР) охарактеризовала направление и задачи проводимой работы.

Большое внимание на конференции уделялось межэтническим связям и контактам балтов с другими племенными объединениями, сыгравшими определенную роль в процессе формирования литовской народности.

В. П. Мажюлис (Вильнюсский гос. ун-т) в докладе «О древних связях западных балтов со славянами и германцами» на основе лингвистических данных доказал, что до середины I тысячелетия н. э. из западных балтов — куршей (куронов), пруссов и ятвягов, непосредственные контакты со славянами имели пруссы. Эти связи особенно усилились с III в. н. э. Контакты западных балтов с венетами, которые в I тысячелетии до н. э. еще могли быть посредниками между балтскими и германскими племенами, продолжались до II в. н. э.

В. П. Римша (Каунасский медицинский ин-т) пытался доказать этнические связи балтов и траков путем сопоставления многочисленных лексем балтских языков с румынским, венгерским, украинским языками.

Ю. М. Юргинис (Ин-т истории АН ЛитССР) охарактеризовал предпосылки возникновения теории об аланском происхождении литовцев, доказал ее несостоятельность и аргументировал мнение об автохтонности балтов в Прибалтике.

Э. С. Гудавичюс (Ин-т истории АН ЛитССР) на основе археологических, исторических и лингвистических материалов пытался обосновать связь между описанными Тацитом лемовиями и упомянутой в источниках XIII в. Землей Ламата. В докладе приводились некоторые параллели между готской культурой и культурой жителей литовского взморья, однако вопрос об этнических связях лемовиев и германцев остался открытым.

Антропологи в своих докладах также привели материалы, касавшиеся контактов балтских племен. Г. А. Чеснис (Вильнюсский гос. ун-т), выступивший с докладом «Антропология ятвягов», доказывал, что в первой половине I тысячелетия н. э. ятвяги имели не менее двух антропологических типов: более грацильный, мезокранный с относительно узким лицом и более массивный, резко долихокранный с относительно широким лицом.

И. А. Папрецкене (Вильнюсский гос. ун-т) в докладе «Население северной Литвы в аспекте этнической одонтологии» указала на генетическое родство населения этого региона и отнесла его к одонтологическому типу средней Европы.

Этногенезу жемайтов были посвящены 3 доклада, в которых рассматривались следующие проблемы: формирование этого племенного союза, его этнические границы и образование жемайтского диалекта.

А. З. Таутавичюс (Ин-т истории АН ЛитССР) в докладе «Этногенез жемайтов (по данным археологии)» показал, что процесс выделения жемайтов из среды других балтов прошел два этапа. Первый этап охватывал II—IV вв. н. э., второй — конец IV—

V в. Докладчик высказал предположение, что сильное влияние на развитие жемайтского языка могла оказать миграция населения с периферии в центральную часть Жемайтии, усилившаяся в XIII—XIV вв.

З. П. Зинкявичюс (Вильнюсский гос. ун-т) в докладе «К вопросу о происхождении жемайтского диалекта» говорил о том, что главным экстралингвистическим фактором, вызвавшим формирование жемайтского диалекта, явился куршский (куронский) субстрат, окончательно ассимилированный литовцами в середине XVI в.

М. А. Ючас (Ин-т истории АН ЛитССР) в докладе «К вопросу о западных и северных границах жемайтов» высказал предположение, что в XIII—XVI вв. на литовском взморье проживали не куршские племена, а жемайты, к которым с юга примыкали литовцы.

Во многих докладах затрагивался вопрос об этнической территории литовцев, устанавливались южные и восточные границы их расселения.

Ф. Д. Климчук (Ин-т языкознания АН БССР, Минск) и А. Ю. Видугирис (Ин-т Литовского языка и литературы АН ЛитССР) в докладе «К истории этнолингвистических и религиозных отношений в зоне балто-восточнославянского пограничья» высказали предположение, что в XIII—XIV вв. юго-восточная граница литовцев почти соответствовала юго-восточной границе поселений тех древних католиков, которых не коснулась церковная уния. Однако с течением времени эта граница продвинулась к северо-западу.

В докладе П. Й. Гаучаса (Вильнюсский гос. ун-т) «К вопросу о южных и восточных границах литовской этнической территории в конце XIV в.» была предпринята попытка установить южные и восточные границы литовской этнической территории в конце XIV в. путем анализа ареалов распространения балтских и славянских топонимов, с одной, и конфессиональной принадлежности населения, с другой стороны.

Р. В. Меркене (Ин-т истории АН ЛитССР) в докладе «Аналогии ритуалов выпаса скота и их ареалы в Литве и в Западной Белоруссии (вторая половина XIX — первая половина XX в.)» показала, что комплекс этих ритуалов на литовско-белорусском пограничье отражает столкновение двух культур. Образовавшиеся в изучаемый период антагонистические зоны, в которых одному и тому же ритуалу придавалось противоположное или иное значение, чем в ареале его распространения, не соответствовали границам расселения этносов.

В. К. Милюс (Ин-т истории АН ЛитССР) охарактеризовал деятельность Литовского литературного общества по изучению этнических границ литовцев, а также этнической истории литовцев Восточной Пруссии в XIX в.

В дискуссиях наибольшее внимание было уделено вопросу о времени генезиса жемайтов и образования жемайтского диалекта. Итоги конференции подвел В. П. Мажюлис, который, высоко оценив прочитанные доклады, отметил, что в будущем следует проводить более целенаправленные исследования, касающиеся проблем этногенеза литовцев. Ведущая роль в них должна принадлежать лингвистам, археологам и антропологам.

Р. В. Меркене

ВЫСТАВКА «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ»

В сентябре-октябре 1979 г. в Москве в Государственном музее искусства народов Востока экспонировалась выставка «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии». Она была организована Министерством культуры СССР совместно с Международной ассоциацией по искусству (Япония) при содействии японской художественной галереи Геккосо. Свои экспонаты на выставку прислали: Государственный музей современного искусства в Киото, Художественный музей Сэйбу — Таканава

(Токио), Художественный музей Ицуоо (Осака), Художественный музей Тэкусуй (Кобэ). Участниками выставки стали и члены Ассоциации мастеров современной каллиграфии. К выставке были подготовлены два каталога¹, которые открываются приветствиями заместителя министра культуры СССР Г. А. Иванова и президента галерей Геккосо, члена Правления Международной ассоциации по искусству Накамура Йоко.

Проблема сочетания традиционного и нового в современной культуре, быту и искусстве японского народа давно привлекает внимание ученых многих стран — этнографов, искусствоведов, историков, социологов, культурологов.

Устроители выставки «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии» подошли к этой проблеме на материале тех видов декоративно-прикладного искусства, которые как в прошлом, так и в наши дни наиболее тесно связаны с повседневным бытом. Вот почему эта выставка представила огромный интерес не только для искусствоведов, но и для этнографов.

Прекрасно используя средства и приемы современной и традиционной музейной экспозиции, устроители выставки как бы пригласили нас посетить японский дом для того, чтобы увидеть те предметы, которые окружали и окружают японцев в их повседневной жизни, почувствовать очарование и особую привлекательность этих вещей. Иллюзию присутствия в японском доме создавали *сёдзи* (оклеенные белой бумагой прямоугольные решетчатые рамы, служащие стенами или перегородками в японском доме); они были и частью экспозиции и ее своеобразным фоном. Золотистые и зеленые стволы бамбука напоминали о саде, который откроется перед взором, если раздвинуть перегородчатые сёдзи. А вот и уголок чайного домика (*тясицу*). У входа в него — бронзовый сосуд-колодец (*цукубаи*), спрятавшийся в тени деревьев. Бегущая по бамбуковому желобу вода, ниспадая в колодец, своими всплесками неторопливо отмеряет ход времени...

Как отмечает японский искусствовед Фукунага Сигэки, «традиции, наблюдаемые в жизни и культуре современной Японии, сформировались в конце эпохи Муромати (1333—1573), т. е. в период зрелости эпохи Хигасияма»². Именно в этот период сложились такие виды классического японского искусства, как театр Но, чайная церемония, живопись тушью *суми-э*, аранжировка цветов *икэбана*, стихи *рэнга*, архитектурный стиль *сёин-дзюкурри*, дзен-буддийские сады из камня. Эстетические воззрения этой эпохи, в основе которых лежало особое отношение японского народа к природе, а также философия дзен-буддизма оказали влияние и на развитие декоративно-прикладного искусства. Предметы повседневного быта создавались мастерами с особой любовью, с желанием передать тому, кто соприкоснется с ними, свой душевный настрой.

Известно, что прославленный художник Огата Корин (1658—1712) был не только замечательным мастером лаковых и керамических изделий, но и создателем наиболее изысканных кимоно³.

Большая часть кимоно, представленных на выставке (из частного собрания Нисимура), датируется второй половиной XVII — началом XVIII в. Именно в этот период широкое распространение получает термин *кимоно* как общее обозначение японской национальной одежды. Термин этот восходит к выражению *киру моно* («надеваемая вещь»). Наиболее нарядные кимоно создавались по авторским эскизам, и хотя имена многих авторов не дошли до нашего времени, сами их работы говорят о высоком художественном вкусе и мастерстве их создателей. На выставке, например, экспонировалось женское парадное кимоно типа *фурикодэ* («длинные рукава», «летающие рукава»). Фасон фурикодэ возник в театре Но. По красно-белому фону вытканы изображения танцующих аистов, ветвей сосны, бамбука, цветущей сливы. Это — символы-пожелания долгой жизни, счастья, благополучия (рис. 1).

Начиная с XVII в. в украшении кимоно большую роль стал играть сюжетный узор. С помощью узорчатой ткани и вышивки мастера создавали целые картины, излюбленные пейзажи, сюжетные композиции. На выставке мы видели темно-синее шелковое кимоно

¹ Иллюстрации к данной статье взяты из этих каталогов.

² Фукунага Сигэки. Особенности традиций и культуры в жизни Японии. — «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии. Каталог выставки». М., 1979, с. 5. Хигасияма — название горы и одного из районов Киото, ставшее также наименованием исторического периода.

³ О. Н. Глухарева. Огата Корин. — «Искусство Японии». М., 1965, с. 87, 88; М. В. Воробьев, Г. А. Соколова. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. М., 1976, с. 164.

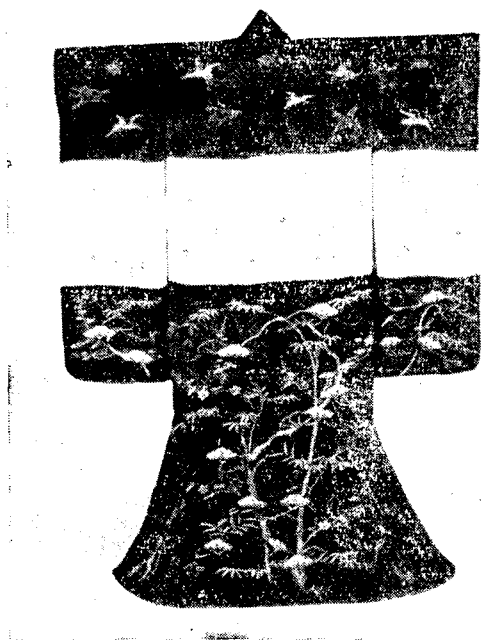


Рис. 1. Женское нарядное кимоно типа фури-содэ. Вторая половина XVII в. Автор неизвестен

(тип фурисодэ) с изображением крестьянских жилищ на фоне деревьев цветущей сакуры, вечнозеленой сосны и бамбука (вторая половина XVIII в.).

Еще в XIII—XIV вв. сложился тип кимоно *косодэ* («короткие рукава»). В XVII—XVIII вв. этот покрой получил широкое распространение. На выставке экспонировалось летнее полотняное косодэ, сшитое из ткани, украшенной изображением сети и креветок.

Мужские кимоно, как правило, шили из тканей темных тонов, иногда черный шелк комбинировали с клетчатым.

Мужские и женские парадные кимоно представителей знати украшались изображением фамильного знака *мон*. Такие кимоно назывались *монцуки*. В Москве было показано несколько образцов монцуки. Мужские кимоно украшались пятью монами, а женские — тремя. Как известно, фамильный мон у императора — 16-лепестковая хризантема, мон императрицы — цветок павлонии.

Интересна представленная на выставке подставка-вешалка для хранения парадных кимоно в домах знати.

В период средневековья женщины из богатых семейств, выходя на улицу, нередко набрасывали на голову легкие кимоно-накидки (*кацуги*). Кацуги шились из «газа» темных оттенков. Одна из таких накидок, датируемая второй половиной XVII в., была представлена на выставке.

Для изучения быта XVIII—XIX вв. особый интерес представляют также вышитые шелковые платки, предназначенные для заворачивания свадебных подарков (из частного собрания Нисимура). На выставке экспонировалось три таких платка. Их сюжетные композиции связаны с благожелательной символикой. На одном платке (первая половина XVIII в., автор неизвестен) изображены две красивые коробки, до краев наполненные съедобными ракушками *кайкэ* — символ пожелания богатства. На другом платке (середина XVIII в.) неизвестный автор изобразил нарядную шкатулку среди гирлянд крупноцветного японского колокольчика (*кикэ*). Благопожелательную символику имеет и жанровая сценка, вышитая на третьем платке (первая половина XIX в.) — подношение крестьянами подарков своему господину.

Сложившийся к XVI в. архитектурный стиль сёин-дзукури оказал большое влияние на развитие интерьера японского жилища. С этого времени своеобразным эстетическим



Рис. 2. Чаша для чайной церемонии типа раку. Первая половина XVII в.

центром японского дома становится *токонома* — специальная ниша, в которой вывешивался живописный свиток либо свиток с каллиграфической надписью. На выставке представлено несколько таких свитков, например работа художника школы *укие-э* Миягава Тёсюн (1682—1752) «Красавица», изображающая жанровую сценку. Глубоко лиричны по настроению свитки Хисида Сюнсо (1874—1911) «Весеннее утро» и Ёкояма Тайкан (1869—1958) «Осенний вечер». В интерьере японского дома (в прошлом в основном в домах знати) важную роль играла и играет складная ширма. Помимо своего утилитарного назначения она является и декоративным предметом. На выставке была представлена ширма «Батальная сцена», расписанная художником Кано Ёсэн Корэнобу (1752—1808).

В традиционном и современном быту японцев особое место занимают изделия из лака: шкатулки, наборы для письменных принадлежностей, футляры, чайницы, сосуды, вазы, письменные и обеденные столики. Многовековая история этого вида декоративно-прикладного искусства позволяла и позволяет японским мастерам достигать высокого совершенства. В период Эдо широкое распространение получает техника *маки-э* — роспись по лаку золотым или серебряным порошком. В этой технике выполнены почти все показанные на выставке вещи: тушечницы (*судзурибако*), коробочки для хранения медикаментов и печати (*инро*), футляры для хранения кисти и туши для письма (*ятатэ*), курильницы (*коро*), шкатулки (*кобако*), ящички для хранения продуктов (*дзюбако*); шкатулки для хранения писем (*тэбако*).

На выставке экспонировалась работа Огата Корина — чайница (*тяирё*), украшенная изображением пятнистых оленей и алых листьев клена. Интересны шкатулка и прибор для письменных принадлежностей Огава Сёмина (1847—1891). Прекрасно передано настроение осеннего пейзажа неизвестным художником, расписавшим двухъярусный небольшой лаковый столик для письма. В правом (от зрителя) углу верхнего яруса одинокая нахохлившаяся птица, стоя на одной ноге, примостилась на самом краю перил небольшого мостика перекинутого через реку. В левом углу нижнего яруса гнутся под порывом холодного ветра травы, набегают на берег холодные волны. Роспись эта выполнена в лучших традициях дальневосточной пейзажной живописи.

Достижения мастеров прошлого получают свое развитие в работах современных художников. Примером может служить миниатюрная лаковая коробочка для хранения благовоний, выполненная Роккаку Сисул (1887—1950). Крышка шкатулки украшена изображением цветов сакуры — символа весны — а внутри коробочка расписана алыми и золотыми листьями клена, символом осенней поры. И в этом сочетании весенней сакуры и осеннего клена, несмотря на известное противоречие, есть своя красота, свой глубокий подтекст. Работа выполнена техникой *маки-э*, лаковая роспись дополнена инкрустацией перламутром.

Традиции и инновации наиболее интересно проявляются в развитии керамического искусства. В XVI в. многие виды декоративно-прикладного искусства, в первую очередь производство керамики, были связаны с эстетикой и философией чайной церемонии. Прекрасна представленная на выставке чаша (конец XVI в.) для чайной церемонии типа

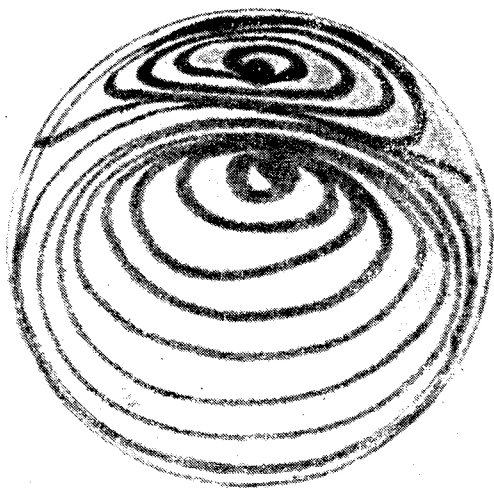


Рис. 3. Каван Кандзио. Блюдо «Спирали трепанга». Керамика, 1925 г.

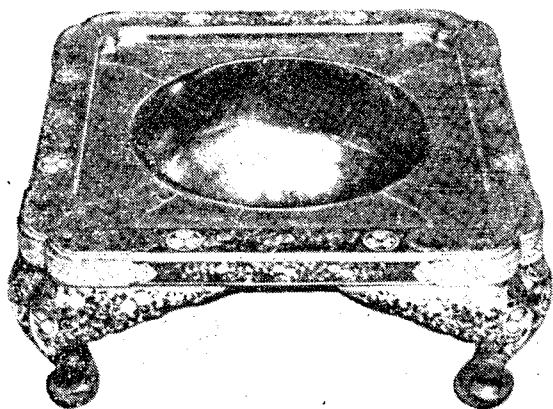


Рис. 4. Жаровня (хибати). Период Эдо. Лак, металл. Автор неизвестен

«этогуро», а также чаши, выполненные мастерами школы *раку* (XVII—XVIII вв.). Вылепляя (без гончарного круга) простые по форме чаши, с чуть неровными краями, мастера школы *раку* создавали сосуды, выразительные для глаз, удобные для рук и для губ (рис. 2). Для этих чаш характерно сочетание красоты и утилитарности, в них в наибольшей степени выразился эстетический принцип *саби* («скрытая красота»). Интересны две тарелки, расписанные Огата Кэндзаном (1664—1743), прославленным керамистом⁴. Их золотистый фон прекрасно гармонирует с коричневыми знаками каллиграфических надписей.

Из собрания Художественного музея Тэкусуй (Кобэ) на выставке была представлена богатая коллекция керамической мастерской Киёмидзу (Киото), датируемая

⁴ См. Н. С. Николаева. Декоративное искусство Японии. М., 1972, с. 65.



Рис. 5. Нагано Тэпуси. Котел для кипячения воды. Чугун. 1972 г.

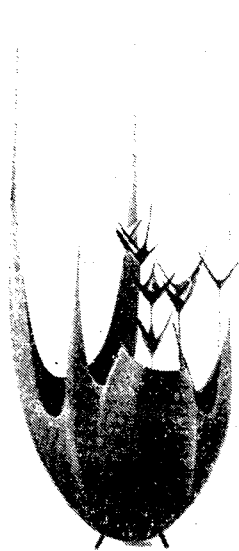


Рис. 6. Оти Кэндзо. Ваза в виде цветка. Металл. 1967 г.

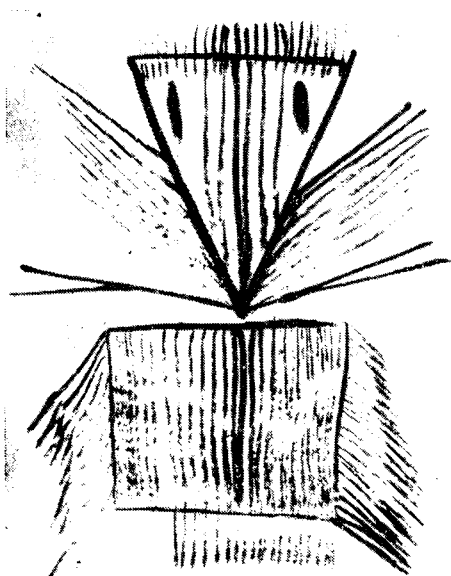


Рис. 7. Такэси Соофу. Дитя. Каллиграфия

XVIII — первой половиной XIX в. Здесь и курильница с изображением осенних трав и цветов; украшенные узорами из хризантем и слив чаши с крышками; сосуды для саке в форме ствола бамбука или тыквы-горлянки.

Лучшие традиции керамического и фарфорового производства развиваются современными мастерами. Таковы работы Хамада Сёдзи — ваза в форме *токури* («бутылочка для саке»), и Каваи Кандзи — фарфоровый сосуд, украшенный иероглифами «счастье» и «долголетие». Другие работы этих же мастеров отмечены поиском новых путей в орнаментике и форме сосудов. Например, тарелка «Мисудзимон» («Узор бамбуковой шторы»), выполненная Хамада Седзи, и блюдо «Намако удзумаки» («Спираль трепангов»), исполненное Каваи Кандзи (рис. 3). Великолепна небольшая курильница Томимото Кэнкити, украшенная изображением золотых и серебряных листьев папоротника.

С чайной церемонией было связано и дальнейшее развитие производства художественных изделий из металла. Таков, например, представленный на выставке набор для

чайной церемонии: жаровня, котел, сосуд для горячей воды, полоскательница, ваза, подставка для черпака, палочки для углей (*хибаси*), выполненный Нагоси Ягоро (1886 г.), а также жаровня *хибати* (рис. 4).

Традиционные приемы создания и украшения изделий из металла сохраняются современными мастерами. Среди их работ и сосуд для кипячения воды (автор Нагано Тэцуси, 1972 г.) (рис. 5) и экран для письменного стола (автор Симидзу Нандзан, 1936 г.), и ваза для цветов в форме ствола бамбука (автор Такамура Тоиотика, 1963 г.), и тушечница с изображением ящерицы (автор Ямаваки Едзи, 1947 г.). Поиском современных форм отмечена великолепная работа Оти Кэндзо — ваза в форме фантастического цветка (1967 г.) (рис. 6).

Одним из видов изобразительного искусства в странах Восточной Азии с глубокой древности является каллиграфия.

На выставке была представлена также большая коллекция работ участников Ассоциации мастеров современной каллиграфии (создана в 1948 г.). Среди экспонированных работ были каллиграфические копии со старинных оригиналов начиная с древнейших надписей на черепаших пластинках, на камне и металле. Другую большую группу составляли произведения, в которых художники выражали свое художественное понимание и видение отдельных иероглифов. Среди многих прекрасных работ хочется отметить свиток, принадлежащий кисти Такэси Соофу, «Дитя» (рис. 7).

Во время работы выставки приехавшие из Японии участники Ассоциации мастеров каллиграфии дали для советских зрителей несколько сеансов каллиграфического письма. В одном из залов демонстрировалась также чайная церемония.

Касаясь проблемы соотношения традиционного и нового в декоративно-прикладном искусстве Японии, Фукунага Сигэки справедливо замечает, что его сохранение и развитие объясняются тем, что на протяжении многих веков крупнейшие мастера осуществляли «революционные попытки к прогрессу и совершенствованию»⁵. Наконец, выставка убеждает: традиции декоративного искусства живы и благодаря тому, что лучшие произведения народных мастеров стали непременной принадлежностью повседневного быта японского народа.

Прошедшая в Москве с большим успехом выставка «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии» способствовала дальнейшему укреплению культурных контактов между нашими странами и народами.

Р. Ш. Джарылгасинова

⁵ Фукунага Сигэки. Указ. раб., с. 5.

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В июле — августе 1979 г. состоялась антрополого-этнографическая экспедиция кафедры этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова в Мордовскую АССР. Цель работы — сбор этнографического материала по теме «Обряды и представления, связанные с жилищем», а также антропологическое изучение коренного населения.

В экспедиции приняли участие: Н. Н. Цветкова (начальник экспедиции) и студенты исторического факультета ЛГУ: Ю. Ботяков, П. Горегляд, О. Кириллова, Н. Кирюхина, Л. Курбанов, И. Поляков, С. Поляков, Л. Попова, Т. Щепанская.

Экспедиция работала в шести районах Мордовской АССР — трех эрзянских и трех мокшанских, в селах: Мокшалай и

Пянгилай Чамзинского района, Шугурово Большеберезниковского, Сабаево Кочкуровского, Колопино Краснослободского, Старая Теризморга Старо-Шайговского и Болдово Рузаевского районов. Это крупные села, в которых коренное население численно преобладает и до сих пор сохраняет своеобразие в этнографическом облике и языке.

Экспедиционный отряд был разделен на две группы: одна проводила антропологическое обследование, другая, совершая подворный обход, собирала этнографический материал и экспонаты для музея при кафедре, делала выписки из похозяйственных книг сельских советов.

Все участники этнографической группы вели полевые дневники, где фиксировались материалы по духовной культуре, прежде

всего по дохристианским верованиям мордвы. Кое-где в обследованных районах среди представителей старшего поколения еще сохраняется вера в колдунов, ведунов и ворожеек, которых информаторы четко дифференцируют.

Члены экспедиции записали также сказания о хозяйках — «матерях» леса (Вирь-ава), поля (Паксяава), воды (Ведьава). Собраны материалы по верованиям и обрядам, связанным с выбором места для жилища и материалов для дома. Описаны обряды, сопровождавшие строительство дома в целом («помочь», закладка дома) и отдельные его этапы (укладка первого венца, «матки» и оформление красного угла и т. д.), оставление старого дома, обряды, предшествующие въезду в новый дом, переезд в новый дом (вход в новый дом и его обживание), а также представления о домовом. Собраны сведения о связи обрядов семейного цикла (рождения, свадебных, погребальных) с жилищем.

Участники этнографической группы стремились фиксировать как степень сохранности национальных черт в культуре и быту мокши и эрзи, так и изменения, произошедшие в них за последние 15 лет. Однако задача сбора массового материала по современности перед нами не ставилась.

Программа антропологического обследования включала антропоскопию и антропометрию головы, лица и тела, получение отпечатков ладоней и пальцев, а также зубных слепков, антропологическую фотографию. Всего было обследовано около 600 человек, принадлежавших к 6 этно-территориальным группам, 3 из которых изучались впервые. Эти материалы позволяют по-новому осветить ряд проблем и прежде всего вопрос о влиянии смещения эрзи и мокши на формирование антропологического облика мордвы.

Все собранные материалы — полевые дневники, небольшая коллекция утвари, фотоматериалы (30 черно-белых пленок), 589 отпечатков ладоней и пальцев, 77 зубных слепков — сданы в архив кафедры этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ.

Н. Н. Цветкова

* * *

С 29 августа по 15 сентября 1979 г. сотрудники Ошского областного историко-краеведческого музея С. Асанканова (руководитель экспедиции), Б. Исамбаева и Э. Шамилов, Э. Сулайманов (Ин-т истории АН Киргизской ССР) и фотограф Р. Абдрасулов провели полевые исследования в отдаленных селениях Фрунзенского, Баткенского и Советского районов Ошской области. Цель экспедиции — выявление и сбор этнографических коллекций для вновь организуемого Музея декоративно-прикладного искусства киргизского народа, который должен открыться на горе Сулайман.

Работа велась в селах, среди жителей которых преобладают киргизы. Во Фрунзенском районе — это села Пульгон, Орозбеково (бывш. Охна), Зар, Учкун; в Баткенском — Кара-Бак, Палал, Роут, Ак-Татыр; в Советском¹ — Кара-Кулджа, Кара-Кочкор, Сары-Булак, Тоготой, Чалма, Арал, Өрүк, Ак-Күңгөй, Беш-Кемпир и Сары-Камыш.

Во всех населенных пунктах члены экспедиции в первую очередь старались установить контакты с известными народными мастерами и мастерицами — ковровщицами и ткачихами, плетельщиками и вышивальщицами, ювелирами и деревообделочниками, а также с теми, кто бережно сохранил до наших дней предметы традиционного быта и изделия прикладного искусства киргизов.

Полевые исследования велись путем непосредственного наблюдения, встреч и бесед с народными умельцами и информаторами. В селе Орозбеково Фрунзенского района нам удалось приобрести обильно украшенный вышивкой подвесной мешочек для хранения посуды — *баштык*, образец домотканнины — *терме*, изготовленную из домотканнины и украшенную вышивкой конскую попону — *дикек*, подседельник — *ширдак*, вышитую полоску для украшения интерьера юрты — *ашкана башы* и другие предметы. В этом же селе мы нашли множество предметов традиционного киргизского быта: различной формы и назначения деревянную утварь, инструменты ювелира и деревообделочника, действующий ткацкий станок — *ормок*, огниво — *чакмак*, старинную мужскую верхнюю одежду из домотканнины — *чепкен*, ковровую полосу — *чавадан*, различного вида накосные украшения из бахромы с нанизанными на

¹ В Советском районе работали два сотрудника — Э. Шамилов и Э. Сулайманов.

них штампованными серебряными пластинами и др. А в селе Кара-Бак Баткенского района мы нашли ряд оригинальных изделий прикладного искусства: вышитую с лицевой стороны подушку—*сайма балыш*, декоративную полосу из домотканины—*каджары боо*, надседельник из ковра—*килем копчйк*. Мастерница Маткадырова Бўсайра из села Кара-Кулджа Советского района в фонд музея передала различные женские украшения—несколько старин-

ных колец, серебряный браслет и накосное украшение из серебра и бахромы.

В итоге члены экспедиции собрали около ста предметов, характеризующих декоративно-прикладное искусство киргизов. После соответствующей обработки (научное описание, паспортизация) коллекции займут достойное место в залах нового музея.

Э. Сулайманов



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

НОВОЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ДРЕВНЕЙШИХ РИТУАЛОВ

(О книге Н. Н. Велецкой. «Языческая символика славянских архаических ритуалов», М., 1978, 239 с.)

Изучение славянского язычества остается актуальной проблемой отечественной исторической науки. Несмотря на значительные успехи, достигнутые советскими учеными в исследовании дохристианских воззрений и обрядности славян за последние десятилетия, большой круг вопросов еще не получил должного освещения. Поэтому книга Н. Н. Велецкой, предпринявшей попытку реконструировать один из архаических ритуалов и показать его важную роль в древней религии славян, привлечет к себе внимание специалистов.

Н. Н. Велецкая доказывает, что предки славян знали обычай отправления на «тот свет». Этот обычай, по мнению автора, был вызван к жизни убеждением, что ушедшие на «тот свет» сумеют благотворно повлиять на ход дел тех, кто остался в живых. Отправление к праотцам у древних славян имело тот же смысл, что и описанный Геродотом обычай гетов посылать «вестника... с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время» (с. 135). «...Благополучие общества представлялось зависимым от покровительства предков; одряхлевшие и ослабленные, они казались недостаточно могущественными и в качестве потусторонних покровителей общины и семьи. Их отправляли (на «тот свет». — В. Б.) находящимися в расцвете сил, при признаках наступающей старости» (с. 161).

«Духи предков-покровителей представлялись связанными с природой, способными властвовать или управлять стихиями» (с. 59), и обычай отправлять посланцев на «тот свет» имел тесную связь с сельскохозяйственными нуждами общества. Очевидно, в эпоху когда были в силе идеи, породившие ритуал, этот обряд совершался как важнейшее общественное действо и имел «специальное приурочение...» (с. 83). «Это ритуальное действо могло отправляться как определенное число раз в году, так и при экстраординарных обстоятельствах...» (с. 84). Обосновать такую концепцию — нелегкая задача и Н. Н. Велецкая использует в своей работе широкий круг самых разнообразных данных, собирая воедино, как отмечает в предисловии к книге С. А. Плетнева, следы и отголоски этого до сих пор не интерпретированного ритуала (с. 8). Основной метод исследования Н. Н. Велецкой — сравнительно-исторический анализ археологических, фольклорно-этнографических и средневековых письменных источников. Гипотеза о связи ритуала отправления на «тот свет» с аграрными культами позволяет ей обратиться к рассмотрению календарной обрядности в поисках данных, которые можно было бы привлечь для реконструкции древнего обычая.

Свою работу Н. Н. Велецкая начинает с рассмотрения языческих представлений славян о смерти и потустороннем мире. Состояние источников не дает возможности полно и детально воссоздать древние воззрения, видимо, всегда бывшие противоречивыми и непоследовательными. Тем не менее автор выявляет в погребальной символике и свидетельствах фольклора следы представлений о космическом характере загробного мира, о связи душ умерших с небесными светилами, о мировом дереве, соединяющем земной и иные миры, о посмертном существовании души на земле, в могиле или близ нее. «Древнеиндоевропейское представление о жизни и смерти как извечном кругообороте превращений ясного выражения у славян не получило» (с. 13), но рудименты его обнаруживаются в фольклорной традиции. При всем своем многообразии древнеславянские воззрения о мире предков были пронизаны идеей взаимосвязанности земного и иных миров.

Во второй главе рассматриваются предания и легенды об отмене обычая убивать стариков, а также сказки, пословицы, поговорки, отразившие этот обычай. На основе материала легенд, по мнению автора, можно установить, что ритуал, во-первых, совершался в разных формах, во-вторых, был общественным установлением, в-третьих, пре-

терпевал длительную трансформацию и позднейшую деградацию. Интересна интерпретация отдельных деталей, позволившая автору извлечь из преданий гораздо больше сведений, чем дало бы одно буквальное их понимание. Так, Н. Н. Велецкая считает, что убежища спрятанного сыном старика — «зерновая яма, амбар, гумно, погреб, или же подполье, особое укрытие под коморой и т. п.» (с. 53) — места отправления ритуала в прошлом.

Немногочисленные свидетельства средневековых письменных источников позволяют заключить, что в X—XIII вв. балтийские славяне предавали старых людей смерти, причем дети или заживо погребали родителей, или убивали их, варили и съедали. Как указывает Н. Н. Велецкая, обычай ритуального съедения предков, уже объяснен: его смысл «заключается преимущественно в приобщении к силе предков, удержании этой силы в своей среде» (с. 63). По ее мнению, и два упоминания в русских летописях о волхвах, которые умерщвляли наиболее почитаемых представителей старшего поколения, якобы задерживающих созревание хлебов (Ипатьевская летопись, 1024 г.; «Повесть временных лет», 1071 г.), могут быть поняты как свидетельства бытования исследуемого ритуала. В «Повести временных лет» под 1071 г. описывается деятельность двух волхвов из Ярославля, заявлявших, что знают людей, «кто обилье держит». Появившись в поволжских деревнях, они приказывали привести «лучших жен», утверждая, что одна «жито держит», другая — мед, третья — рыбу и т. п. «И убивашета мнози жены...» (с. 65—68). Автор считает, что в «Повести временных лет» отражена более поздняя ступень обычая, исполнявшегося уже только в женской среде. Разложение ритуала привело к тому, что в этот период причина его исполнения стала восприниматься как следствие (с. 70). В виде пережитка он сохраняется еще некоторое время. Естественно, что угасание обычая происходило неравномерно не только у разных славянских народов, но и у разных групп одной и той же этнической общности.

Наиболее полно ритуал проводов на «тот свет» запечатлен в традиционной календарной обрядности. Очевидно, на том этапе развития религиозных воззрений, когда отправление на «тот свет» перестало пониматься как необходимое условие ожидаемого плодородия земли и устойчивого благополучия общества и уже не совершалось постоянно в архаических формах, аграрная календарная обрядность подверглась значительным изменениям. Ритуал еще жил, но действия календарной обрядности стали приобретать знаковую сущность. Календарная обрядность, освободившись от акта умерщвления людей, сохранила былые формы ритуала, с заменой человека чучелом. При этом обряды календарного цикла претерпели переосмысление и значительную деградацию: направление их дальнейшего развития во многом определялось зрелищной, игровой функцией. Таким образом, календарные обряды и народные игры отнюдь не тождественны архаическому ритуалу — они лишь содержат в себе элементы, позволяющие воссоздать ритуал.

Анализу календарной обрядности и посвящена третья глава книги. В ней Н. Н. Велецкая подвергает разбору различные обрядовые действия славян, состоящие в уничтожении чучела или его знака, предмета-символа (сноп, колос, ветка и т. п.). Это — различные игрища: «проводы весны», «похороны Костромы», «Ярило», «Кострубочко» и др., купальская обрядность, осенние «похороны Кузмы и Демьяна», обряды масленичного цикла. Развивая взгляды В. Я. Проппа, который отверг привычное истолкование похоронных мотивов в календарной обрядности как пережитков культа умирающего и воскресающего божества и заключил: «Никакого празднования воскресения в русских обрядах и праздниках нет. Праздник состоит не в воскресении, а в умерщвлении»¹, Н. Н. Велецкая высказывает убеждение, что рассмотренные ею обряды являются реликтами ритуала проводов на «тот свет», совершавшегося в разное время года. Отдельные детали календарных обрядов воспроизводят, по мнению автора, не только способы лишения жизни «посланника» (так, в «проводах весны» чучело бросали в воду), но и многие другие действия участников архаического ритуала (переходжение из одного колоса деревьев в другой «поезда», состоящего из связанных телег, в «проводах весны»; почтительное прощание с «посланником», ритуальные состязания перед преданием огню или воде, оплакивание в «похоронах Костромы»). Небезынтересно впервые предложенное Н. Н. Велецкой толкование смысла прыжков через огонь в купальской обрядности. Не отклоняя традиционного объяснения этого акта как очистительного, она предлагает видеть в прыжках через огонь замену архаического ритуального сожжения. «В пламени сгорало символическое изображение «посланника», сам же он... совершал символический прыжок через него...» (с. 99). В своих предположениях о смысле купальских игрищ автор опирается также на тексты и характер мелодики обрядовых купальских песен, которые звучали грустно, исполнялись «своеобразным напевом, однообразным, протяженным и „архаическим“» (с. 105).

Жатвенная обрядность представляется Н. Н. Велецкой особенно существенной для понимания функциональной направленности ритуала проводов в иной мир. Но, хотя автор и утверждает, что в ней запечатлены разные пережиточные формы древнего ритуала, приведенные в книге материалы говорят об ином: в народных традициях, связанных с жатвой, прежние обрядовые формы не сохранены. Действия с оставленными на поле колосьями («бородой») содержат лишь рудимент символического обозначения самого предмета (если считать, что некогда эти действия производились с живым человеком). Это не значит, что гипотеза Н. Н. Велецкой неверна; однако аргументом в ее

¹ В. Я. Пропп. Русские аграрные праздники. Л., 1963, с. 95.

пользу может служить, пожалуй, только мелодика жатвенных песен, напоминавших похоронные плачи и причитания. Что же касается масленичной обрядности, то Н. Н. Велецкая, несомненно, права, распознав в ней «наиболее важные данные для реконструкции ритуала умерщвления при признаках старости у древних славян и выявлении идейного смысла сроков календарного приурочения ритуального действия» (с. 114). Действительно, многие черты обрядов масленицы вполне объяснимы как отголоски исследуемого ритуала. «В масленичной обрядности отчетливо выражен круг действий, вызывающих ассоциации с языческой похоронной тризной» (с. 123). К ритуалу проводов на «тот свет», очевидно, восходят облик и действия ряженных. Наконец, масленичные напевы своим звучанием также напоминают похоронные плачи (с. 136).

В этой же главе рассматриваются некоторые особенности погребальной обрядности и обычаи, имеющие связь с исследуемым ритуалом. Особый раздел посвящен связи аграрных культов с почитанием предков. Таково в самых общих чертах содержание рецензируемой книги.

Основная концепция автора, утверждающая важную роль ритуала отправления на «тот свет» в древней религии славян, обоснована вполне убедительно и, несомненно, привлечет внимание специалистов. Н. Н. Велецкая сумела свести воедино итоги исследований различных верований и обрядов славян и выявить их органическую связь между собой. Это дало ей возможность разглядеть разрозненные признаки архаического ритуала в явлениях, которые в народном восприятии уже не имели между собой ничего общего. Удачей автора следует признать введение календарной обрядности в круг материалов, содержащих данные для реконструкции ритуала проводов на «тот свет». Плодотворен анализ символов (знаков) того или иного обряда, помогающих раскрыть его смысл. Наконец, к достоинствам книги надо отнести насыщенность обширным сравнительным материалом, без привлечения которого исследование на избранную тему невозможно.

Отдельные частные выводы автора, очевидно, будут оспариваться. Не все истолкования конкретных черт обрядности одинаково удачны. Н. Н. Велецкая, в общем чрезвычайно тщательно отбирающая из совокупности обрядовых действий элементы, которые могут восходить к исследуемому ритуалу, в ряде случаев относит к нему детали скорее всего иного происхождения. Так, трудно принять такую ее интерпретацию масленичного «поезда» из саней: «предназначенные к отправлению на „тот свет“ составляли ритуальную процессию» (с. 119). Вереница саней совсем не обязательно должна быть воспоминанием о проводах в мир предков *группы* людей.

Пытаясь разгадать забытый смысл обрядов, автор не всегда учитывает многообразие возможных истолкований. Так, отмечая, что в масленичных играх отражены разные формы отправления на «тот свет» (сожжение, спускание на санях с горы в овраг и др.), Н. Н. Велецкая воспринимает их как «равновидности в формах» (с. 131), которые, возможно, совмещались в обряде (с. 120). Между тем в данном случае вполне допустимы и иные объяснения. Скорее всего, на позднем этапе существования исследуемого ритуала ряд действий был уже чисто символическим, сохраняясь как воспоминание о более ранней, уже пройденной стадии. Так как способ умерщвления определялся взглядами на характер потусторонней жизни, то к древнейшим формам проводов на «тот свет» следует отнести потопление в воде или сбрасывание с горы в пропасть (овраг), связанные с представлениями о местонахождении загробного мира под водой или под землей. В частности, сбрасывание человека вниз начинало и воспроизводило в ритуале его дальнейший путь в подземный мир предков. С перемещением мира предков на небеса обряд, очевидно, включил в себя другой способ проводов в потусторонний мир — сожжение, а прежние способы уже лишь обозначались в обряде, но не совершались. Нельзя исключить также, что способ отправления зависел от времени года, от того, к какому божеству направлялся посланец.

В книге Н. Н. Велецкой остались неосвоенными некоторые вопросы, имеющие теснейшую связь с ее исследованием. Так, не объяснен смысл названий чучела. Автор не опровергает предположения, что названия типа Кострома и Купала могут быть именами божеств (с. 90), допускает, что «в основе названия лежит имя собственное» (с. 103). Но почему в календарных обрядах чучело — «заместитель» посылаемого в иной мир предка — носит название божества? На этот вопрос в книге нет ответа. Читатель, несомненно, заметит повторы и отдельные неточности (на с. 98, например, говорится, что геты своих посланников к богам бросали на *мечи*, хотя Геродот пишет о копьях, — ср. с. 135). Однако для правильной оценки рецензируемой работы важнее не выискивать в тексте погрешности и частные спорные положения, а попытаться указать на круг проблем, для дальнейшей разработки которых исследование Н. Н. Велецкой открывает новые возможности.

Работа Н. Н. Велецкой имеет непосредственную связь с известной книгой В. Я. Проппа «Русские аграрные праздники». В этой книге В. Я. Пропп подтвердил правильность трудовой теории происхождения календарных обрядов и обычаев, вскрыл их сельскохозяйственное содержание, а также показал, что по своей структуре, по характеру и смыслу обрядовых действий календарные празднества русских, совершавшиеся в разные сезоны, похожи друг на друга. В. Я. Пропп пришел к выводу, что особенности аграрных праздников во многом определены культом предков. Рассматривая вопрос о первооснове календарной обрядности, он отверг концепцию Дж. Фрезера, согласно которой истоки календарных празднеств следует искать прежде всего в культе уми-

рающего и воскресающего божества растительности. «Применение теории умирающего и воскресающего божества к русским аграрным праздникам объясняет многое, но далеко не все», — писал В. Я. Пропп². «Русский обряд по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточные и античные культы... Он показывает земледельческую религию в ее исконных, древнейших формах»³.

По мнению В. Я. Проппа, существа, уничтожаемые в русском обряде, не принадлежат к числу божеств. Они являются воплощением растительной силы земли. «Можно сказать, что существа, представляющие собой растительную силу, — недоразвившиеся божества... Древнейшая фаза состоит в том, что воплощением силы является дерево». Затем силы отделяются от дерева, народная фантазия придает им облик человеческого существа, впоследствии антропоморфное существо получает имя. «Это еще не обожествление, но ступень к нему»⁴. Русские праздники, как считает В. Я. Пропп, запечатлели в себе стадию, предшествующую культу самостоятельных божеств плодородия, которые представлялись умирающими и вновь возвращавшимися к жизни.

Путь эволюции русского обряда в том виде, в каком его наметил В. Я. Пропп, выглядит чрезмерно упрощенным. Трудно согласиться и с мнением, что уничтожаемое в обряде существо не было божеством; очевидно, в какой-то момент обряда его с божеством отождествляли. Однако главное в книге В. Я. Проппа — не эти спорные заключения. Новаторское значение его работы состоит в обосновании вывода большой научной важности: русские обряды нельзя понять, если их интерпретировать как пережитки культа умирающего и воскресающего божества. При этом В. Я. Пропп вовсе не отбрасывает теорию Дж. Фрезера. По существу он скорее развивает ее, характеризуя отраженные в русской обрядности ритуалы как более раннюю ступень рассмотренного английским ученым явления. Концепция В. Я. Проппа делает понятными многие специфические черты календарных празднеств, но не объясняет саму ритуальную канву. Почему убивалось воплощающее растительную силу существо? Мы не находим ответа на этот вопрос в книге В. Я. Проппа, как не находим и объяснения первоначального смысла целого ряда обрядов, которые он рассматривает в ходе исследования (например, катания с гор, качания на качелях и др.)⁵. Очевидно, исследователь сам ощущал, что ритуальная сторона аграрных праздников пока остается загадкой. «Хотя работа внешне закончена, по существу еще далеко не все решено до конца», — писал он в заключении своей книги.⁶

Н. Н. Велецкая, приняв многие выводы В. Я. Проппа, и, что важнее всего, его методический подход к изучению календарных праздников, пошла значительно дальше в анализе одного из самых главных элементов праздничного ритуала — уничтожения существа, изображенного чучелом или его заменителем-знаком. Она предложила свое решение вопроса, впервые выдвинув концепцию ритуала проводов на «тот свет» как архаической формы культа предков. Если В. Я. Пропп не нашел места для почитаемых предков в своей схеме эволюции от дерева, воплощавшего растительную силу, до аграрного божества, то Н. Н. Велецкая увидела в идеологии культа предков первооснову праздников, определившую их обрядовую специфику.

Повторим, что Н. Н. Велецкая не сводит всю календарную обрядность к ритуалу отправления на «тот свет». Увлеченная целью выявить аргументы для подтверждения своих выводов, она, естественно, анализирует те черты календарной обрядности, которые могут быть объяснены как следы рассматриваемого ритуала, однако этими чертами обряд для нее не исчерпывается. «Ритуалом проводов „посланных“ в значительной мере определялось формирование структуры и знаковой символики обрядового цикла языческих славян...», — вот позиция автора (с. 203). Н. Н. Велецкая подчеркивает, что рудименты интересующего ее обряда «трудноуловимы под пластом длительных и разнородных наслоений» (с. 76; см. также с. 129) и т. п. И все же, чтобы исключить возможность быть понятой неверно, ей следовало бы с большей ясностью сформулировать свое понимание обрядности как синкретического явления, вобравшего в себя отголоски разных культов, разных форм религии, указать, что ее концепция не противоречит выводам ученых, которые обоснованно отмечают пестроту элементов календарной обрядности, ее насыщенность магическими действиями, пережитками почитания земли, культа плодородия⁷.

Значение гипотезы ритуала проводов на «тот свет» не сводится лишь к новой трактовке исконного смысла одного из существенных элементов календарных аграрных праздников. Исследование Н. Н. Велецкой позволяет по-новому взглянуть на ряд других явлений. Ее работа, в частности, вскрывает еще неизученный пласт в древних верованиях не только славян, но и широкого круга народов Евразии и тем самым способствует более глубокому пониманию раннего этапа формирования религиозных верований значительной части человечества. Книга показывает, что традиционная характеристика культа предков, казалось бы, хорошо изученного уже в прошлом веке, нуждается в существенном пересмотре и дополнении результатами тщательного иссле-

² В. Я. Пропп. Указ. раб., с. 94.

³ Там же, с. 98.

⁴ Там же, с. 98—99.

⁵ Там же, с. 126—127.

⁶ Там же, с. 136.

⁷ В. К. Соколова. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX — начало XX в. М., 1979, с. 262—272.

дования архаических форм этого культа. В книге Н. Н. Велецкой также освещены истоки рассмотренной Дж. Фрезером традиции ритуального умерщвления царей-жрецов; теперь нет сомнения в том, что начальный смысл обычая восходит к идеологии культа предков. Древняя традиция предавать смерти людей при первых признаках старения со временем утратила всеобщее применение и закрепились лишь за узким кругом лиц, наделенных функциями жрецов.

Есть ли генетическая связь между реконструированным Н. Н. Велецкой ритуалом и культом умирающего и воскресающего божества? В рецензируемой книге не ставился этот вопрос, однако нельзя исключать, что при более детальном изучении ранних форм аграрных культов, на почве которых впоследствии сформировалось почитание земледельческих божеств, эта связь может быть установлена.

В книге Н. Н. Велецкой освещена большая и интересная проблема. Нетрудно предвидеть, что в ближайшее время появится ряд работ, подтверждающих концепции Н. Н. Велецкой или вносящих поправки в ее положения на основе новых фактов. Хочется надеяться, что и сама Н. Н. Велецкая продолжит свою работу, выйдя за границы славянского материала. Ближайшей задачей исследования является смелое расширение региона, в пределах которого следует разыскивать необходимые сведения. Уже использованные в книге сравнительные данные показывают, что ритуал был известен на большей части Евразии, причем не только у индоевропейских народов. Однако сравнительный материал привлекался автором лишь для уточнения и разъяснения славянских обычаев и поверий. Теперь, на следующем этапе работы, надо развернуть тщательное изучение традиций других народов; есть все основания полагать, что могут выявиться данные, не сохранившиеся в обычаях славян.

Бесспорно, богатый материал даст Средняя Азия. Легенды о прекращении обычая убивать стариков хорошо известны в этом регионе. Ряд вариантов такой легенды записал у таджиков Н. А. Кисляков; Н. Н. Велецкая использует его материалы. Добавим, что эта легенда характерна не только для таджикского, но и для казахского⁸, узбекского⁹ фольклора; по сообщению Г. П. Снесарева, легенду о том, что в глубокой древности дряхлых стариков отводили умирать в горы, знают в Хорезмском оазисе; я слышал ее у узбеков Зеравшанской долины и юго-западных туркмен. Правда, Н. Н. Велецкая упоминает в своей работе об одном среднеазиатском обычае (с. 69—79), однако эти сведения нуждаются в серьезной перепроверке. Гораздо большие результаты принесет анализ жатвенной обрядности (в частности, таджиков и узбеков), в которой прослеживаются черты погребального ритуала¹⁰. Ритуальные маслянные состязания могут стать более ясными, если их рассматривать на фоне данных о ритуальных новгородных состязаниях у народов Средней Азии¹¹. В свете выводов Н. Н. Велецкой следует проанализировать бытовавший в Средней Азии в прошлом обычай человеческого жертвоприношения реке при трудностях в проведении оросительных каналов. Известно, что в воду сталкивали безродных людей, чья смерть останется незаметной, но шуточная традиция сталкивать в воду мираба, распорядителя воды, позволяет допускать, что некогда в жертву реке приносили не случайных прохожих¹². На берегах Сыр-Дарьи бытовало предание о том, что в старину при сооружении арыков убивали людей, «преимуществом стариков», чтобы «вода пошла». Убитого зарывали в голову арыка¹³. Быть может, среднеазиатский материал позволит понять, почему чуло в обряде иногда носит название божества. Так, у таджиков и узбеков опытный и уважаемый крестьянин, совершавший ритуальную первую весеннюю вспашку, считался во время обряда воплощением святого, покровителя земледелия. Не отождествлялся ли и в ритуале отправления на «тот свет» убиваемый с божеством?

Весьма плодотворным будет изучение обряда вызывания дождя, состоящего в потоплении чула, которое прежде носят по деревне с пением особых песен и сбором продуктов для коллективной трапезы. Этот обряд в различных локальных формах был широко распространен в Средней Азии, на Кавказе, в Восточной Европе. Некоторые ученые возводили его к человеческим жертвоприношениям древности, но не объясняли, какими воззрениями оправдывалась необходимость жертвы. Н. Н. Велецкая ясно го-

⁸ Г. Н. Потанин. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки. — «Живая старина», в. II—III, 1916, с. 157—158; С. А. Каскабасов. Казахская волшебная сказка. Алма-Ата, 1972, с. 90—91.

⁹ Сказка «Жестокий шах». — «Узбекские народные сказки», Ташкент, 1955, с. 321—324; «Узбекские народные сказки». Ташкент, 1976, с. 304—308.

¹⁰ И. Мухиддинов. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима. М., 1975, с. 103; «Таджики Каратегина и Дарваза», ч. I. Душанбе, 1966, с. 130; М. Р. Рахимов. Земледелие таджиков бассейна р. Хингу в дореволюционный период. Сталинабад, 1957, с. 213—215.

¹¹ См., например, С. П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, с. 282 и др.

¹² Г. П. Снесарев. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969, с. 238; С. М. Абрамзон. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971, с. 295; И. Мухиддинов. Указ. раб., с. 100—101; Н. Г. Петрушевич. Краткие сведения о туркменском населении между старым руслом Аму-Дарьи (Узбосом) и северными окраинами Персии. — «Изв. Кавказского отдела Имп. РГО», т. VI, Тифлис, 1879—1881, с. 58.

¹³ Н. Дингельштедт. Опыт изучения ирригации Туркестанского края. Сыр-Дарьинская область, т. I. СПб., 1893, с. 121, примеч. 1.

ворит о том, что такой обряд (болгарская додола и т. п.) является результатом «трансформации ритуального потопления отправлявшихся на «тот свет» предков...» (с. 66). Правда, в своей книге она лишь однажды обратилась к материалам обрядности вызывания дождя (с. 161—162). Между тем рассмотрение указанных действий направленных на изменение погоды, по праву должно быть выделено в особый раздел исследования. В разных формах обряда распознаются разные черты ритуала отправления на «тот свет». В среднеазиатских обрядах («ашаглон», «сус-хотин» и др.) чучело изображало старуху; кое-где вместо чучела процессия вела женщину, которую впоследствии заставляли купаться в реке до тех пор, пока она не начинала громко плакать¹⁴. У гагаузов для обряда делалось изображение человека, на голову и руки которого ставили свечи. Его оплакивали, как мертвеца, и погребали на берегу реки или источника. Смысл действий понимался так: «Мы тебя оплакиваем, а ты скажи богу — пусть даст нам дождь»¹⁵.

Другим отголоском ритуала отправления на «тот свет», связанного с вызыванием дождя, является распространенное у многих народов поверье, что мертвые могут повлиять на погоду. На Кавказе (где также известно предание об убийстве стариков)¹⁶ бытовал запрет тревожить могилу, обнажать кости мертвеца, ибо это вызовет непогоду и дождь. И, напротив, если дождь был нужен, в могилу лили воду. Так, в одном из аварских селений, «чтобы вызвать дождь, разрывали могилу шейха, поливали череп водой...»¹⁷. Таджики в аналогичных случаях брали из старой могилы череп и клали его на дно реки¹⁸. По другому сообщению, «...для вызывания дождя... из могилы выкапывали череп шахида (мученика за веру) и клали его в воду или пускали воду на кладбище...»¹⁹. У народов Поволжья засуха объяснялась «деятельностью» мертвецов, бывших при жизни колдунами²⁰. В основе подобных поверий должно лежать древнее убеждение в тесной связи водной стихии с миром мертвых, возможно, некогда предписывавшее и хоронить трупы в воде.

Куль, как известно, сопряжен с мифом. Славянский материал не сохранил мифа, сопутствовавшего ритуалу отправления на «тот свет». Вполне возможно, что отголоски этого мифа будут выявлены в грузинских преданиях, легендах и песнях о погибшем охотнике, возлюбленном богини Дали²¹.

В дошедших до нас записях смерть охотника происходит по воле Дали. В сванской версии охотник гибнет после появления белого тура (олени, козы и т. д.) на празднестве. Во время священного хоровода в последнюю неделю масленицы белый тур неожиданно врывается в круг танцующих и, пробежав «меж бедер» охотника Беткила, удаляется в горы. «По просьбе пораженных односельчан охотник Беткил пускается в погоню за животным, которое заводит его на вершину горы»²². Очутившись на вершине, он видит, что обратного пути нет. Это Дали, владычица скал и зверей, приняв образ тура, заманила его в горы, чтобы погубить.

Причина гибели охотника — месть Дали. Разные версии преданий по-разному объясняют, чем вызван гнев божества (утрата подаренного ею предмета, разглашение тайны об их любовной связи и т. п.). Однако, хотя Сванетия сохранила, по мнению Е. Б. Вирсаладзе, древнейшую, наиболее архаическую ступень предания о смерти охотника, «дonesла почти нетронутой связь этого сюжета с грузинской мифологией»²³, вполне вероятно, что гнев Дали, чем бы он ни был мотивирован, является позднейшим объяснением причины смерти охотника, утвердившимся с забвением иных, первоначальных воззрений, оправдывавших необходимость смерти. Так, была ли тайной близость охотника и Дали? Есть легенды, в которых говорится, что жена охотника увидела Дали, спящую рядом с ним, и оказала божеству знаки почтительного внимания. Несомненно, любовные отношения охотника с богиней — очень архаический сюжет, причем связанный с причиной его смерти, но вряд ли гибель охотника была вызвана таким бытовым мотивом, как ревность Дали. В этом плане чрезвычайно интересно заключение Е. Б. Вирсаладзе: «Являясь партнером Дали в вечно повторяющейся весенней

¹⁴ См.: М. Р. Рахимов. Указ. раб., с. 210—211; Р. К. Кадыров. Обрядовый фольклор таджиков Южного Узбекистана. М., 1964, с. 2—3.

¹⁵ А. И. Манов. Потеклото на гагаузитѣ и тѣхнитѣ обичаи и нрави. Варна, 1938, с. 121—123.

¹⁶ Ср. Ж. Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. М., 1976, с. 171—172; см. также «Ногойские народные сказки». М., 1979, с. 173 (сказка «Ум старика»). Аналогичные сведения о лезгинах сообщил мне Г. А. Гаджиев (Ин-т истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР).

¹⁷ З. А. Никольская. Религиозные представления и земледельческие обряды аварцев. — «Вопросы истории религии и атеизма», т. VI, М., 1959, с. 323.

¹⁸ И. Мухиддинов. Указ. раб., с. 101 (там же ссылки на другие работы).

¹⁹ М. Рахимов. Зеравшанская этнографическая экспедиция 1958—1961 гг. — «Изв. отделения общественных наук АН Таджикской ССР», № 1 (32), Душанбе, 1963, с. 55.

²⁰ С. Габиев. Темнота народная. — Газ. «Заря Дагестана» 31 октября 1912 г. (цит. по кн.: Л. И. Климович. Ислам, М., 1965, с. 268).

²¹ См. Е. Б. Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. М., 1976.

²² Там же, с. 63.

²³ Там же, с. 67.

мистерии, охотник с самого начала обречен, как избранник богини»²⁴. Возможно, архаический миф был в значительной степени повествованием о том, кто и почему был лишен жизни как посланник к божеству. Возлюбленный Дали более других подходил для этой роли. Связь смерти охотника с волей божества в мифе позволяет нам предположить, что и в ритуале исполнители его ожидали каких-то знаков свыше, чтобы определить, кто будет лишен жизни как «посланник» на «тот свет».

Если допустить, что грузинские предания связаны с ритуалом отправления в иной мир, естественно искать в грузинских традициях следы не только мифа, но и самого ритуала.

Грузинские предания сохранили деталь, которая может быть истолкована как воспоминание о древнем ритуале. Обратим внимание на следующую подробность: родственники охотника сами приближают его гибель, стреляя в ремешок, на котором он висит, зацепившись за скалу, обреченный на смерть. По легендам, это делается с благородной целью облегчить его страдания, но нет уверенности, что здесь точно воспроизведена первоначальная логика мифа. Грузинские предания об охотнике дошли до нас переосмысленными, и многие прежние представления, на основе которых некогда возник миф, забыты. Отдельные детали преданий или текстов обрядовых песен уже не поддаются интерпретации. Так, пока неясна связь с мифом или обрядом упоминания о невестке, каким-то образом способствовавшей гибели охотника (напомню, что подобное глухое упоминание о невестке встречается и в славянском материале).

Охотник гибнет, падая со скалы; заметим, что, по кавказским легендам, умерщвляемых стариков также сбрасывали со скалы. Охотник грузинских преданий не старик в современном понимании слова, он уходит из жизни в расцвете сил (о чем свидетельствует его связь с Дали), но не молодым (о чем свидетельствует наличие невестки). Наконец, мрачный, траурный характер обрядовых песен (по существу плачей) также вводит предания о гибели охотника в круг материала, который заслуживает рассмотрения с точки зрения гипотезы Н. Н. Велецкой.

Как уже говорилось (в связи со славянским материалом), сбрасывание с горы было, видимо, одним из древнейших способов ритуального лишения жизни; грузинский материал позволяет развить эту точку зрения. На первый взгляд может показаться, что обстоятельства гибели охотника, разбившегося о скалы, отражают особенности кавказского ландшафта. Но ведь Дали могла убить охотника иными способами²⁵. Очевидно, сама форма отправления на «тот свет» — путем сбрасывания со скалы — имела некогда ритуальный смысл, возможно, внушенный представлениями о мире мертвых как о «нижнем» мире. Грузинские традиции донесли до нас уникальный пережиток архаического ритуала в сфере обрядности: в ряде мест в Грузии жертвенное животное, закланное на святилище, скатывали по отвесной скале вниз²⁶.

Если связь грузинских преданий с ритуалом отправления на «тот свет» удастся доказать, это будет означать, что грузинский фольклор сохранил отголоски более ранней стадии данного обычая, чем представленная в славянской традиции. Ритуал, реконструируемый по славянским материалам, связан с аграрным культом, в основе грузинских сказаний и баллад лежит охотничий миф. Для интерпретации славянского материала немаловажно также, что образы Дали и ее возлюбленного, охотника, находят убедительную параллель в сфере аграрных культов — это божественные пары Аттис и Кибела, Озирис и Изида и т. п.²⁷. Следовательно, славянский ритуал отправления на «тот свет» имеет генетическую связь с культом умирающего и воскресающего божества, и исследователи должны или вскрыть эту связь, или объяснить, почему она не прослеживается в традициях славян.

Сейчас еще трудно предусмотреть характер всех данных, которые составят основу дальнейшего исследования ритуала отправления на «тот свет». Однако нет сомнения в том, что анализ новых сведений углубит наше знание архаических религиозных верований, общих для многих древних народов Евразии. Одни только приведенные выше среднеазиатские материалы показывают, что выводы, сформулированные в книге Н. Н. Велецкой, могут оказаться плодотворными для развития исследований в области ранних форм религии.

В. Н. Басилов

* * *

Н. Н. Велецкая в кратком введении к своей книге «Языческая символика славянских архаических ритуалов» формулирует исходные положения, которыми руководствуется при освещении своей темы. Автора занимает ритуал проводов на «тот свет» как составной элемент культа предков. Материал изучения — рудименты этого древнейшего ритуала в фольклоре разных народов, в первую очередь славян. Уверенность

²⁴ Там же.

²⁵ То же самое можно сказать, комментируя киргизскую сказку «Чыныбек». Глупый хан хочет, по наущению героя, отправиться на «тот свет», чтобы встретиться со своим отцом. Как поступает герой? «Чыныбек попросил аркан в сто саженей, большой чурбан и повел хана на вершину горы. Там привязал хана арканом к чурбану и сбросил вниз» («Киргизские народные сказки». Фрунзе, 1977, с. 31). Согласимся с тем, что герой имел возможность и другими путями убить злого хана.

²⁶ Е. Б. Вирсаладзе. Указ. раб., с. 120.

²⁷ Там же, с. 115—119.

в плодотворности анализа внушена автору традиционной устойчивостью фольклора. Преобразованные и трансформированные элементы «протославянской и общиндоевропейской древности» достаточно сохранились до самого недавнего времени. И задача состоит в том, чтобы установить в них древний бытовой пласт и на его основе реконструировать первоначальный вид и состояние ритуала.

При решении столь трудной задачи сразу встает вопрос о «научной и методологической позиции» (с. 10), которую по необходимости обязан занять исследователь. Н. Н. Велецкая пишет: «Результаты изысканий генезиса ритуальных явлений, семантики архаических образов, символики знаковой системы фольклора во многом зависят от самого подхода к исследованию...» (там же).

Уяснение происхождения социальной и бытовой функций пережиточных явлений давно занимает ученых. Обычный путь, которым шли многие исследователи, — рассмотрение поздних (XIX и XX вв.) фольклорно-этнографических данных, движение «от известного к неизвестному» (с. 10—11). Но этот путь, по верному замечанию Н. Н. Велецкой, не сулит больших успехов: загадка позднего фольклорного и ритуально-бытового явления сама по себе нуждается в разгадке, в выяснении того, каким это явление было в прошлом. Автор предпочитает сравнительное, перекрестное изучение доступных науке фактов, исходя из идеи о типологическом сходстве ритуалов в быту и отражения их в фольклоре разных народов. Но типологическое изучение фольклора и быта — не изобретение наших дней. Конкретные методы такого изучения различаются так же, как различаются научные концепции, частью и основой которых является исследовательский метод. Каков же метод автора?

Следуя давней традиции конкретного исторического изучения темы, Н. Н. Велецкая предпочла чисто умозрительным реконструкциям исследование древнейшего состояния ритуала на основе достоверных данных, извлекаемых из разных фольклорных и письменных источников.

Привлекаются многочисленные сведения о конкретных обычаях и обрядах народов разной этнической принадлежности, разного уровня культуры. Не оставлены без внимания даже малейшие намеки на отношение, казалось бы, далеких обрядов к изучаемому ритуалу. Основанием для сближения между собой разнохарактерных сведений, извлекаемых из фольклора и письменных источников народов разных эпох (от древнеиндоевропейской до античной, средневековой и восточнославянской), сделано в свою очередь реконструируемое языческое представление о смерти и вечности, о переходе от смерти к новому состоянию, к продолжению жизни в новом облике. Широкий «мировоззренческий» и в значительной степени новый подход к анализу фактов пролил свет на разрозненные элементы типологически сходного у разных народов ритуала. Автору удалось понять основную функциональную сущность ритуала проводов пожилых людей на «тот свет», в мир предков, — «чтобы с помощью их поддерживать нормальное течение жизни на Земле» (с. 203). Проанализированные рудименты древнего ритуала позволили по-особому осмыслить календарный и похоронный комплекс в структуре славянских обрядовых циклов — и в этом состоит успех автора. Святочное-новогодние, масленичные, весенне-летние, жатвенные и осенние обряды в свете типологических данных об одном из архаичнейших ритуалов предстали как некая цельная мировоззренческая система понятий и представлений, ведущих к объяснению загадочных, до сей поры остававшихся непонятными, явлений.

Н. Н. Велецкую занимает, так сказать, «суммарное», итоговое, общее толкование ритуала и его рудиментов, реминисценций в позднем фольклоре и быту. Стадийно-историческая эволюция ритуала не входит в ее задачу (см. соответствующее замечание в книге на с. 162). Успех тем более важен, что исследование архаических ритуалов затруднено недостаточной изученностью общиндоевропейского и праславянского компонентов в поздних славянских народных культурах.

На пути к решению своей задачи Н. Н. Велецкая, естественно, столкнулась и с рядом сложностей; нередко ее соображения кажутся более догадками, чем твердо установленным фактом. Но прежде чем отметить ряд натяжек и сомнительных толкований автора, целесообразнее высказать одно общее критическое замечание. Уже в начале исследования обращает на себя внимание утверждение: «...Языческие ритуалы формировались на почве конструкций о системе мироздания, созданных языческим мышлением, перемены же в мировоззрении ведут к трансформации прежнего ритуала» (с. 10). К этой мысли автор возвращается неоднократно по частным и общим поводам. По мнению Н. Н. Велецкой, ритуальные явления, в том числе обычай умерщвления людей, коренятся в «идеологических представлениях общества», отсюда выводится и «функциональное назначение ритуала» (с. 71); «Корни... ритуала уходят в языческие представления об извечном кругообороте жизнь — смерть — жизнь...» (с. 162). Связь религиозных мировоззренческих понятий и соответствующих ритуалов несомненна, но возникает вопрос: можно ли считать мировоззрение исходным моментом, почвой формирования ритуала? Не являются ли такой основой для возникновения ритуала, равно как и всего мировоззрения, практические нужды и заботы, общественное бытие народа? Н. Н. Велецкая, разумеется, не исключает этой мысли, так как исходит из принципа историко-материалистического объяснения явлений. При выяснении функции ритуала этот принцип принят во внимание. Но, думается, автор все же слишком односторонне акцентирует зависимость ритуала от мировоззренческих понятий. Исходной мыслью Н. Н. Велецкой определяется и композиция книги. Изучению рудиментов ри-

туала в календарных обрядах и похоронах предшествует глава «Языческие представления о смерти и вечности». Идея, положенная в основу подхода, определяет и внутренних полемический смысл изложения, хотя автор избегает открытого спора с кем-либо. Так, говоря о прыжках, предусмотренных правилами обрядовых действий на русской масленице, в сербском танце и во время македонских русалий, Н. Н. Велецкая отвергает толкование этих действий как продуцирующей магии (с целью получить высокие хлеба). Она считает «такое осмысление их ...вторичным или второстепенным». Взамен этого предлагается толкование прыжков как «символизации направленности в космический мир, т. е. они являются своего рода магическим знаком предназначения ритуала» (ритуала отправления на «тот свет». — В. А.) (с. 134). По мнению Н. Н. Велецкой, в различных современных работах обнаруживается «односторонняя тенденция представлять традиционные календарные ритуалы как искони праздничные» (с. 137). Действительно, в науке утвердился взгляд на аграрную праздничность как выражение особого мировоззренческого осмысления сезонных циклов сельскохозяйственных работ. Обрядовая магия является частью заботы о земном благополучии, судьбе урожая и пронизана стремлением избежать капризов погоды. Этот взгляд обставлен достаточно сильной и разнообразной аргументацией (из новейших работ можно назвать исследования В. И. Чичерова, В. Я. Проппа, В. К. Соколовой). Думается, у автора не было оснований высказывать сомнение, ведущее к общей переоценке этого взгляда (для этого требуется солидная встречная контраргументация). Н. Н. Велецкая могла бы удовлетвориться частными поправками к тем моментам концепции, где обнаруживается возможность нового, более глубокого осмысления явлений в свете предпринятого анализа.

Читатели книги Н. Н. Велецкой без труда заметят ряд очевидных натяжек, вызванных своего рода «генерализацией», преувеличением значимости изучаемого ритуала в составе календаря и похорон. Отзвуком обряда умерщвления стариков автор считает выражение из «Поучения» Владимира Мономаха: «Азь худый, сядя на санех», — и украинские поговорки: «Садовить на саночки», «Сбыраетця на саночки», «Хоче їхаты на саночках» (см. с. 72). Но откуда видно, что это именно след ритуала умерщвления? Не проще ли осознать обряд похорон на санях как отражение понятий о далеком странствовании, которое предстоит покойнику? Столь же предвзято толкуется русская пословица «Есть старый — убил бы его, нет старого — купил бы его» (см. с. 73). Она не имеет никакого отношения к изучаемому обряду. Предвзято истолковано скакание через костер на праздник Купалы. Общеизвестное толкование этого обычая выводится из представления об очистительной силе огня, и оно куда более естественное, чем толкование скакания как редукции ритуала «отправления в космический мир обожествленных предков» (с. 96). Вызывает сомнение и предположение, что пустая бочка, обрядовый предмет многих народных ритуалов, имеет отношение к «славяно-балканской форме преждевременного умерщвления стариков». По другому, столь же сомнительному соображению автора, бочка — «знак, обозначающий предстоящую тризну: бочка могла сохраниться от языческого ритуала, когда ее наполняли хмельным напитком» (см. с. 116). Не проще ли считать бочку просто бочкой, так же как в другом случае колесо — колесом, а не «знаком отправления в космос» (там же).

Необоснованных предположений и аналогий довольно много в книге Н. Н. Велецкой, и они ослабляют доказательную аргументацию основной идеи автора.

Кстати сказать, Н. Н. Велецкая вольно пользуется понятием знака и знаковости. Всякий знак — заместитель предмета или явления, но не всякий заместитель — знак. Масленичное чучело — образ человека, но не знак. Семиотическая терминология автора в ряде случаев — просто дань модному направлению в науке, а не результат действительной необходимости. Обоснованность в употреблении семиотических терминов — особая тема, она еще ждет освещения в науке.

Исследование Н. Н. Велецкой выполнено с привлечением большого числа источников. Автор внимательно изучил существующую обширную литературу, как отечественную, так и зарубежную. Однако в библиографии специалисты найдут сведения не только о работах, непосредственно относящихся к теме, но и о таких, которые имеют к ней самое отдаленное отношение (например, пятитомник «Избранных работ» Н. Я. Марра и др.).

В заключение остается заметить, что, несмотря на натяжки в толковании некоторых народных ритуалов, книга Н. Н. Велецкой демонстрирует плодотворность конкретно-исторических разысканий в труднейшей для анализа области. Результаты исследования существенны для дальнейшего изучения и реконструкции древнейших пластов этнической культуры.

В. П. Аникин

P. J. Watson. *Archaeological Ethnography in Western Iran*. Tucson, 1979. 327 pp.

Необычайно усилившиеся в условиях научно-технической революции процессы дифференциации и интеграции наук привели на протяжении последних десятилетий к формированию многочисленных направлений, возникших на стыках родственных, а порой даже и неродственных наук. Не остались в стороне от этого и гуманитарные науки. Одним из таких новых направлений здесь стала этноархеология. Ее теоретические основы были впервые сформулированы в середине 50-х годов в статье, одним из авторов которой являлась П. Дж. Уотсон¹, вскоре попытавшаяся применить изложенные принципы на практике. Будучи членом комплексной американо-иранской археологической экспедиции, возглавлявшейся Р. Брейвудом и Э. Негахбаном, П. Дж. Уотсон вела в 1959—1960 гг. полевые работы в нескольких поселках, расположенных в горах Загроса в Западном Иране на границе Курдистана и Луристана. Исследования имели целенаправленный этноархеологический характер, и поэтому, прежде чем перейти к анализу их результатов, необходимо хотя бы вкратце остановиться на том, что же такое этноархеология.

Надо сразу заметить, что термин «этноархеология» и вкладываемое в него содержание пока что не получили всеобщего признания. Наряду с этим термином применяются и такие, как «археология действия» (action archaeology), «живая археология» (living archaeology), «археоэтнография» (archaeoethnography), «этнографическая археология» (ethnographic archaeology). В зависимости от вкладываемого в них содержания в работах одних специалистов они применяются в качестве синонимов, в работах других — рассматриваются в порядке иерархической соподчиненности. Так, если большинство исследователей понимают под этноархеологией выяснение связей, существующих между поведением современных людей и его отражением в материальных (археологических) остатках, то Р. Гоулд, например, в одной из своих работ характеризует таким образом лишь «живую археологию» и ее синоним «археологию действия». В этноархеологическом подходе он видит создание более широкой базы для сравнения этнографических и археологических материалов². Вместе с тем в более поздней своей работе он практически отождествляет этноархеологию с «живой археологией», заявляя, что этноархеология — это «этнографическое изучение процесса возникновения отбросов в результате человеческой деятельности»³. Интересно, что и П. Дж. Уотсон в рецензируемой монографии предпочитает термин «этноархеология» выдвинутому ею же первоначально термину «археология действия». Характеризуя предпосылки этноархеологического подхода, она замечает: «...для решения проблем культурной эволюции и системных изменений археологи должны использовать знание существующих поведенческих коррелятов (т. е. соответствующих видов поведения.— В. Ш.) для археологических или материальных остатков» (с. 1). То же понимание этноархеологии проявляют и авторы двух вышедших недавно сборников, специально посвященных этой проблеме⁴. Таким образом, большинство исследователей понимают под этноархеологией изучение связей между поведением современных людей, представителей самых разных этносов, в том числе и отставших в своем развитии, и материальным выражением этого поведения. По мнению этноархеологов, установление закономерностей в структуре такого рода связей способно помочь решению задач реконструкции образа жизни и поведения первобытного человека по археологическим остаткам его деятельности.

По-видимому, именно это узкое определение и закрепится в будущем за термином «этноархеология». Оно адекватно отражает содержание и задачи этого направления в науке, призванного прежде всего усовершенствовать методы получения, обработки и интерпретации археологического материала. Более широкое понимание этноархеологии как метода реконструкции первобытной истории с помощью комплексного применения данных археологии и этнографии менее удачно, так как такая реконструкция представляется качественно иным видом синтеза, требующим, кроме того, привлечения и данных ряда других наук (лингвистики, антропологии и т. д.).

Во введении к рецензируемой монографии П. Дж. Уотсон дает краткий, но весьма содержательный обзор современного состояния исследований по этноархеологии, указывает на основные проблемы, стоящие перед ними, и трудности в их разрешении. Говоря о последних, она пишет: «Мы можем понять прошлое, лишь зная процессы и события, совершающиеся в настоящем. Однако это не означает, например, что любая черта прошлого должна иметь аналог в настоящем. Напротив, многие из компонентов человеческой

¹ M. R. Kleindienst, P. J. Watson. *Action Archaeology: the Archaeological Inventory of a Living Community*. — *«Anthropology Tomorrow»*, v. 5, 1956, p. 75—78.

² R. A. Gould. *Ethnoarchaeology; or, where do models come from?* — *«Stone Tools as Cultural Markers: Change, Evolution and Complexity»*. Canberra — New Jersey, 1977, p. 162.

³ R. A. Gould. *Beyond analogy in ethnoarchaeology*. — *«Explorations in Ethnoarchaeology»*. Albuquerque, 1978, p. 259.

⁴ *«Explorations in Ethnoarchaeology»*; *«Ethnoarchaeology»*. N. Y., 1979.

культуры в современных этнографических материалах, по-видимому, уже не представлены. Однако основные этнологические и социологические законы не изменились по меньшей мере за последние 40 тыс. лет, и если мы достаточно полно их знаем, мы должны суметь предугадать наличие в прошлом таких культурных форм, которые ныне в мире отсутствуют» (с. 1). Вторая половина приведенной цитаты требует пояснения, ибо, как известно, законы бывают разной степени всеобщности и многие социологические законы действуют лишь в рамках определенных социально-экономических формаций. Для П. Дж. Уотсон такой проблемы не существует, так как она фактически отождествляет закон со структурной и структурными связями, солидаризируясь с традицией, восходящей к функционализму⁵. Структурный подход имеет большое значение в практике этноархеологов и представляется полезным. Однако использование его без учета конкретного исторического контекста способно увлечь исследователя на путь модернизации. К чести этноархеологов, многие из них это понимают и стараются привлекать в своей работе письменные и этноисторические источники. Об изменении сельской культуры под влиянием города пишет и сама П. Дж. Уотсон (с. 8, 31).

Исследование П. Дж. Уотсон интересно в особенности тем, что оно было одной из первых попыток применения этноархеологического метода на практике. Однако, вопреки утверждению автора (с. 7), оно не являлось самой первой такой попыткой. Началом практического применения этноархеологического метода, правда, не увязанного еще с теорией, следует считать полевые работы Д. Томсона, попытавшегося под влиянием идеи Дж. Г. Д. Кларка проследить связь материальной культуры современных австралийских аборигенов с изменением их образа жизни в течение годового хозяйственного цикла⁶.

Целью американо-иранской экспедиции было изучение перехода древнего населения Передней Азии к производящему хозяйству и развития там неолитических общин. В задачу П. Дж. Уотсон входило выявление таких особенностей поведения людей и материальной культуры в нескольких крестьянских общинах Ирана, которые, будучи увязаны с археологическим материалом, могли бы пролить свет на первобытное прошлое изучаемых районов. П. Дж. Уотсон работала в трех поселках: в земледельческо-скотоводческой общине Хасанабад, населенной лурами, находившимися под сильным влиянием курдской культуры; в курдской общине Ширдашт, жители которой занимались главным образом яйлажным скотоводством; в курдском земледельческо-скотоводческом поселке Айн Али. Основные работы проводились в Хасанабаде в ноябре 1959 — феврале 1960 гг. и в марте — июне 1960 г. В Ширдаште исследовательница провела больше двух недель, в Айн Али — 10 дней. В связи с напряженной обстановкой в Хасанабаде, вызванной затяжными неурожаями, П. Уотсон не могла жить в самом поселке и активно участвовать в жизни его обитателей. Поэтому главными методами исследования служили наблюдение, опрос, фотографирование и в некоторой степени участие в хозяйственной деятельности обитателей поселка.

Материалы, полученные в ходе исследования, и выводы сгруппированы автором в двух основных частях монографии. Главное содержание книги представляет первая часть (278 стр.), содержащая подробное описание хозяйства и материальной культуры и в гораздо меньшей степени — социальной структуры и духовных представлений населения трех поселков (но в основном Хасанабада). Второй части отведено весьма скромное место (всего 9 стр.), хотя именно здесь исследовательница затрагивает основной вопрос этноархеологии — связь поведения с материальной культурой.

В первой части подробно описываются природная обстановка, основные направления хозяйства и их соотношение, детали производственных процессов, характер годового хозяйственного цикла, структура поселков и отдельных домохозяйств, архитектура, предметы быта и орудия труда. Описания удачно дополняются многочисленными фотографиями и рисунками предметов материальной культуры и технологических процессов, а также планами жилищ. В текст включены весьма информативные статистические таблицы, характеризующие структуру народонаселения и некоторые демографические процессы (рождаемость и смертность), родственные и брачные связи, торговлю, материальное благосостояние жителей, внутреннее убранство домов и т. д. В ряде случаев специально подчеркиваются факты, интересные археологам. Так, автор обращает внимание на особенности процесса накопления мусора на свалках, отмечает, что пищевые отходы поедаются собаками, курами и индюками, и указывает на отсутствие четкой стратиграфии мусорных куч, так как их часто ворошат и переворачивают (с. 37—39). Интересны и данные о том, что полы в жилых комнатах обмазывают белой глиной, как и 8 тыс. лет назад, причем богачи обмазывают полы заново раз в год (с. 120, 121). К сожалению, подобного рода замечания автора отрывочны, никак не сгруппированы и не обобщены. Кроме того, зачастую эти наблюдения не доведены до конца. Так, автор, к сожалению, не уделяет специального внимания такой важной для археологов проблеме, как определение соотношения разных видов хозяйства по материальным остаткам. Между тем возможности для такого исследования у автора, обследовавшего, с одной сторо-

⁵ Об этом см. В. А. Шнирельман. Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке. — «Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества». М., 1979, с. 140

⁶ D. F. Thomson. The seasonal factor in human culture illustrated from the life of a contemporary nomadic group. — «Proceedings of the Prehistoric Society». Cambridge, v. 5, 1939, p. 209—221.

ны, земледельческо-скотоводческий поселок Хасанабад, а с другой — скотоводческо-земледельческий Ширдашт, имелись. Некоторые материалы для решения этой проблемы содержатся в рецензируемой монографии. Однако они также не обобщены и не проанализированы должным образом. Другой важной проблемой, почти не затронутой автором (вскользь об этом упоминается на с. 244, 263), является характер отражения в материальной культуре этнической специфики. Здесь могло бы помочь более полное сопоставление данных о лухах Хасанабада и курдах Ширдашта и Айн Али.

В целом, опубликовав весьма ценную сводку данных о материальной культуре нескольких иранских поселков, П. Уотсон, к сожалению, чрезвычайно мало внимания уделила их этноархеологической интерпретации. Поэтому остается не совсем ясным, чем ее работа принципиально отличается от описания материальной культуры, принятого в традиционной этнографии. И здесь автору не помогают бесконечные отступления и экскурсы в прошлое с целью показать истоки тех или иных элементов культуры и определить с помощью археологических данных их хронологические рамки, хотя сами по себе сообщаемые автором сведения такого рода представляют несомненный интерес, впрочем в большей мере для этнографов, чем для археологов.

Таким образом, приведя многочисленные материалы, способные помочь в интерпретации археологических комплексов, исследовательница далеко не полностью использовала свои возможности. Это особенно ярко проявилось во второй части книги, где под этноархеологическим углом зрения рассматриваются такие проблемы, как палеодемографические реконструкции, расчеты пищевого баланса, функциональное назначение отдельных помещений, пространственное разграничение различных форм жизнедеятельности. Некоторые из содержащихся здесь выводов представляют несомненный интерес, например о том, что количество обитателей дома в большей мере коррелируется с площадью жилых комнат, чем с площадью всего домохозяйства. Зато последняя может характеризовать степень зажиточности хозяев (с. 291, 292).

Вместе с тем не все выводы автора могут быть безоговорочно использованы археологами. Некоторые из них требуют дополнительной проверки с привлечением более широкого круга источников. Так, по данным П. Дж. Уотсон, в каждой жилой комнате имелся только один очаг и обитала только одна малая семья, состоявшая в среднем из 4—5 человек. Подавляющее большинство домохозяйств принадлежало отдельным малым семьям. Исходя из этих данных, П. Дж. Уотсон в одной из своих статей пришла к небесспорному выводу о том, что в Передней Азии в VI тысячелетии до н. э. основной хозяйственной единицей также была малая семья⁷. Однако более позднее исследование другого курдского поселка Шахабада обнаружило иную картину. Там, во-первых, преобладали большесемейные коллективы и домохозяйства состояли из нескольких малых семей, а, во-вторых, количество очагов в комнатах порой было связано не с количеством малых семей, а с богатством домохозяйства (с количеством пищи, приготавливаемой одновременно). Колебание размеров малых семей от 2 до 9 человек свидетельствовало и об относительности демографических подсчетов, произведенных на основании архитектурных обмеров⁸. Следует ли археологам исходить из данных о Хасанабаде, предпочесть им материалы Шахабада или избрать какой-либо третий подход — вот вопрос, имеющий первостепенное значение для этноархеологов⁹. Очевидно, ответ на него связан с более строгим обращением этноархеологов с историческими источниками, со строгим соблюдением ими принципа историзма, на что уже указывалось выше.

Работа П. Дж. Уотсон интересна и в том плане, что по ней хорошо видно, как одно и то же общество дает материалы, в разной степени подходящие для реконструкции разных аспектов первобытной культуры. Так, опубликованные исследовательницей данные о хозяйстве и технологиях производства, безусловно, могут и должны использоваться при интерпретации археологических материалов. Однако социальные отношения и религиозные представления крестьян, сильно трансформированные феодальными пережитками и исламом, в гораздо меньшей степени могут служить для реконструкции первобытной жизни. Не случайно П. Дж. Уотсон в своей работе отвела им весьма скромное место.

Вообще, по мнению некоторых специалистов, любое общество, в том числе и развитое современное, может служить объектом этноархеологического исследования. С этим мнением нельзя не согласиться, оговорив, однако, что наиболее полноценные результаты способно дать все же исследование, проведенное в обществах, отставших в своем развитии. Общества австралийцев, бушменов, эскимосов, папуасов и т. д., вне всякого сомнения, дадут этноархеологу гораздо больше, чем современный промышленный город, и главным образом потому, что в них модели поведения не вообще увязаны с материальной культурой, а увязаны именно с первобытной материальной культурой. Огромную

⁷ P. J. Watson. Architectural differentiation in some Near Eastern communities, prehistoric and contemporary.— «Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating», N. Y., 1978, p. 131—158.

⁸ C. Kramer. An archaeological view of a contemporary Kurdish village: Domestic architecture, household size and wealth.— «Ethnoarchaeology», N. Y., 1979, p. 139—163.

⁹ Кстати, после знакомства с данными из Шахабада П. Дж. Уотсон высказала сожаление о том, что население Хасанабада лишь недавно стало оседлоземледельческим. См. P. J. Watson. The idea of ethnoarchaeology: notes and comments.— «Ethnoarchaeology», p. 279, 280.

роль здесь играет и тот факт, что эта связь обуславливается первобытной системой ценностей, ибо система ценностей, несомненно, также существенно влияет на характер связи между поведением и его материальным выражением. Следовательно, и здесь важно строго придерживаться принципа историзма.

Данные, приводимые П. Дж. Уотсон, в совокупности с некоторыми другими материалами позволяют прийти к весьма интересным выводам относительно особенностей первобытного хозяйства, хотя сама исследовательница, к сожалению, этой возможностью воспользовалась далеко не полно. Об этом говорит хотя бы следующий пример. По данным П. Дж. Уотсон, видно, что в поселке Ширдашт на одно домохозяйство приходилось примерно 52 головы мелкого рогатого скота, или по 11 голов на 1 человека (с. 253, табл. 9, 2). Это позволяло жителям заниматься яйлажным скотоводством, служившим основой местного хозяйства. К земледелию они перешли недавно, и оно большой роли не играло. Напротив, в поселке Хасанабад, где земледелие давало основные жизненные средства, на одно домохозяйство приходилась 21 голова мелкого рогатого скота, или 4—5 голов на 1 человека (с. 94—96, табл. 4.1). Сравнивая эти сведения с данными об оленеводстве, можно заметить, что последнее становилось основой хозяйства лишь в том случае, если у отдельных домохозяйств (5—6 человек) стада насчитывали не менее 70—100 оленей. Почему кочевая жизнь здесь требовала большего количества скота? Очевидно, в значительной мере из-за иного способа использования оленей и получения от них продукции. Действительно, большинству оленеводческих народов доение было неизвестно, и пищу получали главным образом, убивая животных на мясо. Не было здесь и такого продукта, как шерсть, которая после стрижки могла бы отрастать снова. Иная картина наблюдалась у яйлажных скотоводов, способных использовать продукты скотоводства, не причиняя ущерба животным. Этому способствовало, во-первых, развитие молочного хозяйства, а во-вторых, шерстоткачество. Следовательно, возникновение молочно-шерстяного направления сделало скотоводство значительно более продуктивным, а занятие им значительно более эффективным, чем прежде. До его возникновения скотоводы-полукошечники вряд ли могли бы довольствоваться стадами в 52 животных на семью из 4—5 человек; размер этих стад должен был быть по крайней мере в 2 раза большим¹⁰. В этом случае требовались бы гораздо более крупные загоны и стойла для скота, и на базовых поселениях площадь отдельных домохозяйств была бы весьма значительной.

На самом деле, как показывают приводимые П. Дж. Уотсон данные, площадь домохозяйств в неолитических поселках Передней Азии была меньшей, чем в изученных ею современных поселках (с. 297). Самой исследовательнице не удалось четко объяснить эти различия. Однако мы легко поймем их, если будем исходить из более низкого уровня развития скотоводства в неолите. Домашних животных тогда было немного, и их выпас не требовал перехода к яйлажному скотоводству. Некоторые специалисты указывают на факт значительного преобладания костей домашних животных над костями диких на некоторых археологических памятниках и делают из этого вывод о высокой степени развития скотоводства в неолите. Однако этот факт с таким же основанием можно объяснить и упадком охоты, сопутствовавшим переходу к земледелию. Такова одна из линий доказательств отсутствия яйлажного скотоводства в раннеземледельческий период, вопреки прямо противоположному мнению, высказываемому П. Дж. Уотсон (с. 246, 247) и горячо отстаиваемому ее коллегой Ф. Хоулом¹¹.

Некритически повторяя распространенную в западной науке идею о domestикации дикого быка по религиозным мотивам (с. 76, 111), П. Дж. Уотсон отходит от отстаиваемых ею же принципов этноархеологического анализа, ибо эта гипотеза, как и всякая другая, требовала бы тщательной проверки, в том числе и с помощью этноархеологических данных. Такая проверка могла бы показать, что связывать domestикацию животных с требованиями религиозного культа нет никаких оснований и что само развитие культа претерпело определенные изменения при переходе к производящему хозяйству¹².

Монография П. Дж. Уотсон, безусловно, представляет большой интерес как один из первых опытов этноархеологического исследования, отражающий как его сильные, так и слабые стороны. Отмеченные выше недостатки были, по-видимому, связаны, во-первых, с малой разработанностью методики этноархеологических исследований и теории их обоснования в период полевых исследований автора, а во-вторых, со сложными условиями, в которых проходила ее полевая работа. В 60—70-е годы этноархеология сделала большие успехи, и сейчас она является одним из перспективных новых направлений в науке. Определенная роль в этом принадлежит и П. Дж. Уотсон.

В. А. Шнирельман

¹⁰ Здесь указывается минимальный размер стада. Если, что весьма вероятно, древние семьи были крупнее, то и животных им было необходимо гораздо больше. Кроме того, следует иметь в виду, что при убое оленя получалось больше мяса, чем при убое овцы.

¹¹ F. Hole. Rediscovering the past in the present: Ethnoarchaeology in Luristan, Iran.—«Ethnoarchaeology», N. Y., 1979, p. 192—218. О другой линии доказательств см. В. А. Шнирельман. Происхождение скотоводства. М., 1980.

¹² В. А. Шнирельман. Доместикация животных и религия.—«Исследования по общей этнографии». М., 1979.

Формирование молдавской буржуазной нации. Кишинев, 1978, 218 с.

В сравнительно небольшой по объему книге коллективу авторов удалось раскрыть ведущие тенденции и основные закономерности формирования молдавской буржуазной нации (конец XIX — начало XX в.). Своеобразие избранной темы, а также сложность ее разработки в том, что в процессе формирования нации, как в фокусе, находят свое отражение экономические, политические, идеологические, социальные, культурные (включая языковые) процессы, а также процессы в сфере общественного сознания.

Раскрытию указанных процессов подчинена и структура книги. В ее первой главе, а также частично во введении и в заключении анализируется общее и особенное в формировании молдавской буржуазной нации; во второй главе раскрываются историко-этнические предпосылки ее создания, в том числе территориальные и демографические предпосылки становления и развития не только собственно нации, но и молдавской народности. Третья глава посвящена характеристике социально-экономической базы создания молдавской буржуазной нации; здесь показаны развитие капиталистических отношений в экономике, становление классовой структуры общества. В четвертой главе характеризуется национальная культура, в том числе развитие молдавского литературного языка, народное и профессиональное искусство, наука и просвещение. В пятой главе раскрываются национально-освободительные традиции, революционная борьба молдавского народа, говорится о формировании национального самосознания. Упущением следует считать отсутствие в книге специального раздела о государственно-правовых аспектах формирования молдавской буржуазной нации.

Большое значение для дальнейшей разработки теории национального вопроса в классовом обществе имеет рассмотрение на широком историко-социологическом фоне общего и особенного в формировании молдавской буржуазной нации. В частности, ценным в книге представляется вывод о том, что «главное стадийное отличие нации от народности заключается не в появлении у народности (? — М. Г.) какой-то якобы отсутствовавшей ранее экономической общности, а в целом комплексе социально-экономических изменений, обусловленных переходом от феодализма к капитализму» (с. 19). К сожалению, в приведенной цитате огорчает отмеченная вопросительным знаком досадная опечатка (вместо слова «нация» набрано «народность»). В этой же главе плодотворной представляется постановка вопроса о роли различных классов и социальных групп в национальном развитии.

Развитие буржуазных отношений, говорится в первой главе, является одним из признаков формирующейся нации. Тем не менее, здесь высказано положение, что в многонациональных государствах значительную роль в национальном развитии играет национальная интеллигенция, а не национальная буржуазия. Подобная точка зрения аргументируется тем, что буржуазия может играть на национальных чувствах, используя их, например, в конкурентной борьбе, но может и легко предать национальные интересы, если ей это выгоднее. Кроме того, буржуазия непосредственно связана с развитием экономики, что в многонациональных государствах не разъединяет, а скорее сближает нации. Что же касается национальной интеллигенции, то действительно, ратая за развитие родного языка и литературы на родном языке, разрабатывая национальную историю, развивая национальное искусство, она, тем самым, как говорится в книге, служит общенациональным целям, создает базу для развития и укрепления национального самосознания (с. 19).

Однако, во избежание недоразумений, здесь же, вероятно, следовало подчеркнуть, что речь идет прежде всего о передовой, прогрессивно настроенной части интеллигенции, так как значительная часть буржуазной интеллигенции, как правило, выступает выразительницей интересов класса буржуазии.

Общезвестно, что нация формируется на базе предшествовавшей ей общности людей — народности. Ввиду того, что по вопросу об образовании молдавской народности в исторической литературе и в настоящее время ведется оживленная полемика, в ходе которой выдвигаются порой тенденциозные теории, искажающие объективный исторический процесс, включение параграфа, в котором рассматривается этот вопрос, вполне правомерно. На основе последних достижений советских и зарубежных историков здесь освещаются вехи демографических процессов и показывается, что образование молдавской народности представляло собой длительный процесс, состоявший из двух этапов: 1) складывание этнической общности волохов; 2) формирование собственно молдавской народности.

Демографические аспекты развития молдавской буржуазной нации рассматриваются в широких хронологических рамках. Темпы роста населения в Бессарабии были выше, чем в целом по Российской империи, чему, по мнению авторов, способствовали три фактора: 1) большой естественный прирост; 2) переселения, происходившие стихийно; 3) государственно-помещичья колонизация.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что демографические процессы XIX в. в сильной степени повлияли на складывание национального состава населения края.

Многонациональность населения не могла не оказать влияния на формирование молдавской буржуазной нации. Межэтнические контакты, особенно с русскими и украинцами, привели к тому, что молдавская народная культура приобрела ряд особенностей, отличавших ее от культуры молдаван, живших за Прутом. Вероятно, можно было бы анализ территориальных и демографических аспектов формирования буржуазной нации завершить постановкой теоретического вопроса о численности населения как об одном из критериев при разработке типологии этнических общностей.

В третьей главе интенсивное экономическое развитие объясняется широким внедрением капиталистических форм производства в сельское хозяйство и промышленность (развитие крупных капиталистических хозяйств, применение вольнонаемного труда в сельском хозяйстве и промышленности, использование паровых двигателей и других машин, развитие железнодорожного и водного транспорта и т. д.). На этой основе образовался местный рынок в рамках общероссийского внутреннего рынка. Приведенный материал свидетельствует о том, что ввоз промышленных товаров из центральных районов России и вывоз из Молдавии сельскохозяйственных товаров на общероссийский и особенно на внешние рынки укрепляли капиталистические отношения в производстве и торговле. Итак, своеобразие складывания экономической общности молдавской нации состояло в преобладающей роли аграрно-торговой буржуазии, которая вместе с интеллигенцией молдавского происхождения была ведущей силой в развитии молдавской буржуазной нации.

Для формирования капиталистической нации существенные процессы, присходящие в национальной культуре и, прежде всего, в языке, литературе, искусстве. Характеризуя процессы формирования и развития национального молдавского языка, авторы справедливо отмечают, что «...понятие **национальный** молдавский язык (подчеркнуто авторами — М. Г.) охватывает все языковые проявления в среде молдавской национальной общности, т. е. литературный знак (в его письменной и устной формах), разговорный язык, интердиалекты, территориальные диалекты и говоры» (с. 81). Они указывают, что сведение национального языка лишь к его литературной форме нельзя считать правильным, ибо национальный язык в отличие от языка народности представляет собою сложное объединение единого для всей нации нормированного многофункционального языка с нестандартизованными устными разновидностями речи. Ценным представляется анализ различных гипотез о происхождении молдавского языка. Убедительно показано, что севернорумынские типы восточнороманского языка уже изначально существовали в виде «двух диалектных разветвлений — молдавского и мунтянского». В дальнейшем эти различия стали еще более значительными, что дает полное основание говорить о сложении хотя и близкого к румынскому, но совершенно самостоятельного молдавского языка.

Уже на ранних этапах своего становления молдавская народная культура приобрела на территории Молдавии ряд своеобразных черт, отличавших ее от культуры Олтенции, Мунтении и Трансильвании. Это проявилось в том, что она тысячами нитей была связана с культурой России и Украины. Так, можно говорить о значительной близости основных художественных принципов как средневекового художественного ремесла, так и народного искусства у молдаван, русских и украинцев.

Анализ многовековой истории формирования основных характерных элементов материальной и духовной культуры молдавского народа убедительно показывает, что уже в эпоху феодализма в молдавской этнической общности формировались особенности, позднее ставшие фундаментом национальной культуры молдавской буржуазной нации.

При рассмотрении профессионального искусства молдавского народа авторы с полным основанием говорят о том, что именно складывание профессиональных форм искусства, выделение его из народного творчества и ремесла свойственно тому этапу развития этноса, когда можно говорить о формировании буржуазной нации. В профессиональном искусстве национальное самосознание проявляется наиболее определенно. Ставится также вопрос о роли народного искусства в развитии профессиональной художественной культуры. Для истории молдавской культуры характерно сравнительно позднее формирование профессионального искусства (80—90 гг. XIX в.). Однако задолго до этого растущее самосознание выражалось в народном искусстве, фольклоре. Даже после выделения профессионального искусства из народного творчества последнее играло особую важную роль, во многом определяя самобытность профессиональной художественной литературы, музыки и изобразительного искусства. Авторы раскрывают этот тезис на конкретных примерах, анализируя развитие различных видов профессионального искусства. «Главная характерная черта молдавской литературы, — пишут они, — в ее изначальной близости к фольклору, к устной традиции» (с. 128). В молдавской литературе XIX в. нет практически ни одного писателя, который не был бы так или иначе связан с исторической тематикой XVII—XVIII вв. или народными легендами. И. Некулче, Г. Асаки, К. Стамати, К. Негруци, М. Когэлничану, А. Руссо, В. Александри, Б. П. Хашдеу, М. Эминеску, черпая сюжеты из прошлого, воспроизводили на страницах своих произведений яркие события, образы исторических личностей, широкие картины быта и нравов минувших эпох (с. 130).

Важное значение для формирования молдавской национальной культуры имело создание национального театра, ибо театр — один из показателей ее зрелости. История знает немало примеров, когда театральное искусство как бы аккумулирует в себе общенациональную проблематику. Проследившая основные этапы развития театра, авторы

пишут, что в конце XIX и начале XX в. театральное искусство уже настолько ярко выражало национальное самосознание народа, что было немаловажным фактором формирования молдавской буржуазной нации.

Аналогичные тенденции выявлены и в профессиональном изобразительном искусстве, начиная с Г. Асаки. Захваченный идеей культурного возрождения своей страны, он превратил свое искусство в орудие воспитания и национальной пропаганды. Как и другие виды искусства, молдавская профессиональная живопись складывалась под сильным воздействием русской художественной школы и самобытного народного творчества.

Хотя музыка как вид искусства, выражает общественную жизнь, классовые antagonизмы и национально-освободительную борьбу более опосредованно, развитие национального самосознания в этот период проявлялось в повышенном интересе к народной музыке. В этом смысле весьма показательна деятельность основателя музыкальной школы Бессарабии 90-х гг. XIX в. В. Гутора. Сплав замечательных традиций молдавского музыкального фольклора и русской профессиональной художественной культуры определил особенности молдавской профессиональной музыки конца XIX — начала XX в., ярко проявившиеся во всей многогранной деятельности Кишиневского отделения Русского музыкального общества.

Как известно, специфика современных исследований проблем культуры состоит в комплексном подходе к пониманию ее как целостной системы. Важнейшими составными частями этой системы являются: 1) художественное творчество т. е. производство культурных ценностей; 2) фонд культуры, включающий определенные результаты человеческой деятельности; 3) распространение культуры через сеть учреждений и с помощью средств массовой коммуникации; 4) потребление культуры и, наконец, 5) культурный уровень народа, т. е. степень вовлеченности народных масс в культурную деятельность.

Несомненной удачей авторов можно считать анализ молдавской культуры периода капитализма. В книге показана история создания молдавской профессиональной культуры — литературы и театра, живописи, науки и просвещения. И вместе с тем желательно было бы дать более развернутую характеристику процесса приобщения народных масс к профессиональной культуре. Тогда перед авторами встала бы важная задача изображения культурных очагов и культурной среды края. К числу упущений в книге можно отнести и слабое освещение развития образования как основы общего социально-культурного роста молдавского населения. Словом, если рассматривать культуру нации комплексно через призму названной выше формулы, то нетрудно заметить, что здесь возможны дальнейшие плодотворные разработки темы. Частично можно было бы их реализовать и в рецензируемой книге за счет более рационального распределения материала пятой главы, которая, кстати, в среднем в 2 раза больше по объему, чем остальные главы. Для понимания процесса складывания и функционирования буржуазной нации, в том числе перехода от культуры народности к культуре нации, первостепенное значение имеет выход за рамки традиционного изучения национальной культуры, особенно ее профессиональных форм, когда фонд культуры исследуется в отрыве от его создателей, а культурные ценности от их носителей.

Анализ национальной культуры, в том числе ее профессиональных слоев, конечно, нельзя считать завершенным без выявления и всестороннего описания ее самобытных черт, отражающихся в различных видах искусства. Однако, нельзя терять чувство меры в поисках этой самобытности. «В творчестве молдавских писателей, — говорится на с. 131, — нашли отражение именно молдавский характер, молдавский образ мышления, молдавский пейзаж, сюжеты молдавского фольклора». В этой фразе все можно принять, кроме «молдавского образа мышления» так как вряд ли можно считать, что народы отличаются друг от друга по «образу своего мышления».

Внимание исследователей в последнее время все больше и больше привлекает проблема периодизации национального развития. В книге сделана попытка при выделении периодов формирования молдавской буржуазной нации учитывать различные аспекты: экономический, социальный, демографический, культурный, языковой. Слов нет, создать обобщающую, так сказать, сквозную схему истории становления нации трудно, так как развитие отдельных сторон ее бытия и отдельных элементов ее культуры не всегда синхронны. К тому же между различными авторами, подчас, нет договоренности о выделении периодов социально-экономического или культурно-языкового развития.

Авторы рецензируемой книги констатируют (с. 61), что установление прочных экономических связей, является необходимым условием для складывания буржуазной нации. Развивая эту мысль, они пишут: «Для сложившегося местного рынка были характерны не только господство капиталистического производства, тесные экономические внутринациональные и широкие внешнеторговые связи, но и определенная динамика цен на важнейшие продукты производства и стоимость рабочей силы» (с. 73). Эти положения верны, но дело в том, что на современном этапе ученые пользуются другими методами для доказательства прочности экономических связей на какой-либо территории. Сегодня уже недостаточно привести примеры о торговом обороте, о наличии путей сообщения, и т. д. Как правило, изучается движение цен на определенной территории и на основе динамики этих цен делаются выводы о степени развития здесь экономических связей. «Можно с полным основанием заключить, — пишут авторы, — что в качестве этнической территории формирования молдавской капиталистической нации выступала в целом вся территория Бессарабии» (с. 54). И далее добавляют, что рубежи молдавской этнической территории (? — М. Г.) не ограничивались рамками края, а включали и некоторые районы Подольской и Херсонской губерний Украины.

Вопрос об определении этнических территорий — один из наиболее сложных в теории национальных отношений, и помня о старых спорах, авторам следовало бы проявить большую осторожность. Видимо, надо сначала договориться о критериях выделения этнической территории. Действительно, в одном случае, как видно из вышеприведенной цитаты, к молдавской этнической территории безоговорочно относятся и те районы Бессарабии, где удельный вес молдаван был невелик по сравнению с немолдавским населением, а в другом случае, в этническую территорию включаются некоторые районы Украины, поскольку в них имеется молдавское население (с. 55).

Сделанные на отдельных страницах книги, и прежде всего, в ее первой главе, выводы относительно общего и особенного в формировании молдавской буржуазной нации, несколько выходят за рамки обозначенной темы. В этом одно из достоинств книги. И, думается, если возникает вопрос относительно повторного ее издания, то желательно было бы первую главу поместить не в начале, а в конце книги. Дело в том, что здесь как бы заранее «задаются» отдельные выводы, которые затем в последующих главах раскрываются на конкретном материале.

Так, в первой главе интеллигенции отводится одна из главных ролей в формировании нации, поэтому во втором параграфе третьей главы следовало бы осветить этот вопрос полнее, а не ограничиваться несколькими фразами о наличии интеллигенции.

Кроме того, целесообразно было бы уделить больше внимания и вопросу о формировании буржуазии, ее национальном составе, показать какими капиталами она располагала, размах ее предпринимательской деятельности и т. д. К числу достоинств первой главы относится и то, что в ней, в отличие от многих других исторических работ, затронутая тема не закрывается, а открывается для новых исследований. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы завершить ею книгу.

Следующий шаг в исследовании проблем формирования буржуазной нации состоит в том, чтобы перейти от анализа одной нации к общесоциологическим, историко-культурным, языковым и психологическим аспектам формирования буржуазных наций в более широком хронологическом и географическом континууме. На очереди рассмотрение широкого круга национальных проблем в связи с генезисом капитализма и сменой феодальных отношений капиталистическими: этнодемографических, этносоциальных, этнокультурных, этноязыковых и этнопсихологических процессов в связи с классовой борьбой и национально-освободительным движением народов. Особенно много в этом направлении сделал в последние годы Институт славяноведения и балканистики АН СССР, предпринявший ряд работ по изучению формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе на примере польского, чешского, словацкого, венгерского, сербского, болгарского и румынского народов¹. Видимо, аналогичные сравнительные исследования имеет смысл осуществлять и на примере многих народов нашей страны.

В рецензируемой работе сделан шаг к типологическим сопоставлениям за пределами одной нации. И именно это обстоятельство — выявление и постановка новых задач, наряду с уже решенными, делает рецензируемую книгу полезной и необходимой. Вне всякого сомнения, она привлечет к себе благожелательное внимание специалистов.

М. Н. Губогло

¹ См., напр., ряд историографических обзоров в книгах: «Основные проблемы балканистики в СССР», М., 1979; «Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований». М., 1979.

А. В. Гадло. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв. Л., 1979, 213 с., карта.

Вышедшая в издательстве Ленинградского университета книга А. В. Гадло посвящена исключительно важному периоду истории народов Северного Кавказа — второй половине I тыс. н. э., когда на территории между Азовским и Каспийским морями шло образование первых крупных этнополитических объединений, с которыми многие современные народы этой области связаны непосредственной генетической преемственностью.

Широко используя разнообразные источники — письменные, археологические, фольклорные, лингвистические, этнографические, автор впервые анализирует этническую историю не отдельных народов, а народов всего северокавказского региона в целом. Такой подход к проблеме позволяет ему сделать вывод, особенно актуальный в наше время в условиях неуклонно расширяющегося процесса сближения народов Северного Кавказа. «В течение второй половины I тыс. н. э., — утверждает автор, — Северный Кавказ не оставался в стороне от того пути, по которому шло развитие других регионов Старого Света» (с. 210), и «несмотря на исключительную сложность и напряженность» его политической истории, основным направлением этнических процессов в регионе было стремление населявших его общностей к усилению межэтнических связей, к политической и социальной интеграции (с. 5). Эта мысль буквально пронизывает книгу и делает ее созвучной современности, хотя в ней повествуется о событиях, хронологически весьма удаленных от наших дней.

В общем процессе развития межэтнических связей, которому, как подчеркивает А. В. Гадло, сопутствовало усиление связей внутриэтнических, он выделяет три последовательных хронологических этапа: конец IV—V в., VI—конец VII в., VIII—первая половина X в. Эти этапы соответствуют намечаемой им периодизации социально-экономического развития Северного Кавказа, где в течение исследуемого периода совершался переход «от последних этапов доклассовой формации к формации раннеклассовой и построению раннефеодального государства в рамках всего региона» (с. 5).

В соответствии с предложенной им периодизацией автор делит книгу на три раздела.

Первый раздел содержит анализ этнополитической ситуации, сложившейся на Северном Кавказе после миграции на его территорию гуннов, т. е. в конце IV—V в. Здесь А. В. Гадло подробно рассматривает известия о народах Северного Кавказа, содержащиеся в латинских и греческих, армянских и грузинских источниках. Ему удается убедительно показать, что сведения Аммиана Марцеллина, Приска Панийского, Иордана и др. рисуют картину не внезапного, как это обычно полагают, вторжения гуннов в юго-восточную Европу, а широкого, шедшего в течение продолжительного времени переселения политических слабо связанных общностей, имевших различные культурно-хозяйственные уклады: «лесных охотников и скотоводов степи» (с. 17). Это, как полагает автор, создало благоприятную ситуацию для последующей интеграции пришельцев и аборигенов.

Возникновение первого политического объединения разноэтнических общностей Северного Кавказа автор относит к 90-м гг. IV в., когда северокавказские гунны совершили крупное вторжение в Переднюю Азию. Для характеристики этого события автор привлекает не использованный ранее в этой связи источник — свод грузинских летописей «Картлис цховреба». Он вполне логично доказывает, что в начальной части свода под этнонимом «хазары» скрываются не скифы, как это традиционно считалось ранее, а гунны-акацеры, игравшие в течение V в. в Предкавказье значительную политическую роль (с. 25).

К рубежу IV—V вв. А. В. Гадло относит также перемещение к горам ираноязычных групп, обитавших до вторжения гуннов в северокавказской степи (с. 27). Следует особо подчеркнуть, что он не противопоставляет ираноязычных кочевников-аланов тюркоязычным кочевникам-гуннам, как это принято в кавказоведческой литературе, а находит убедительные свидетельства в пользу интеграции близких по типу хозяйства разноэтнических групп (с. 48). В связи с этим интересно предположение о том, что племя барсильев, игравшее заметную роль в степи в V—VII вв., было по своему происхождению не пришлым гуннским, а местным сармато-аланским (с. 44, 62—68).

Тщательный разбор письменных источников (Египсе, Фавстос Бузанд, Мовсес Хоренаци, Приск Панийский, Иордан и др.), повествующих о политических событиях V в., в которых принимали участие племена Северного Кавказа, дает основание А. В. Гадло наметить локализацию главных этнополитических объединений, сложившихся к концу этого столетия в северокавказской степи и в предгорьях. Среди этих объединений он особо отмечает две общности — в дальнейшем они сыграли ведущую роль в истории Кавказского региона — болгар и хазар. Первую А. В. Гадло рассматривает, как часть обитавшей к северу от Кубани конфедерации оногуров, вторую — как часть обитавшей к северу от Кумы конфедерации барсильев. К сожалению, в связи со слабой изученностью археологических памятников IV—V вв., особенно в зоне степи, автор только в весьма ограниченных пределах может подкрепить свои выводы вещественными источниками. Отсутствие археологических материалов является ощутимым пробелом, но можно надеяться, что рецензируемая работа даст толчок к новым исследованиям, более интенсивным поискам памятников и более внимательному их изучению.

Во втором разделе А. В. Гадло анализирует сведения о населении Северного Кавказа VI—VII вв. (Проклос Кесарийский, Агафий Миринейский, Менаандр Протиктор, Феофилакт Симокатта, Иоани Малала, Псевдо-Захария Метиланский, Феофан Исповедник, Никифор, ал-Баладори, ат-Табари, ал-Якуби, Ибн-ал-Асир, Анания Ширкаци, Мовсес Каганкатвази и др.). Он прослеживает, как постепенно в северокавказской степи и предгорьях (источники, к сожалению, почти не содержат известий о горных районах) складывается сначала ряд крупных этнополитических образований (утигуры, кутригуры, савиры, барсилы, огоры, аланы и др.), возглавляемых сильно военной аристократической верхушкой, а затем происходит их частичная консолидация и образование Оногуро-Булгарского союза, который с начала VII в. и до 70-х гг. этого века был господствующим объединением Северокавказского региона.

Здесь автор вновь обращается к затронутому в первой главе вопросу о локализации тех этнонимов, которые сохранили письменные источники, и приводит ряд новых обоснованных толкований их. Так, например, барсильев он локализует в северной части Предкавказья в противовес устоявшемуся мнению об их связи с Приморским Дагестаном (с. 62—68). Территорию савирав он расширяет на запад до низовой верхних притоков Терека (с. 87—90). Область расселения племенной общности болгар располагалась, по его мнению, не на Азовском побережье, как считалось ранее, а на территории Ставропольской возвышенности, откуда, как полагает А. В. Гадло, после падения конфедерации утигуров и савирав болгары продвинулись в западном и восточном направлениях — к Тамани и к Каспию (с. 113).

В свете развернувшейся в настоящее время дискуссии о локализации «хазарских городов» (с. 119) очень интересны выводы А. В. Гадло о значении термина «баланджар»

арабских источников. Этот термин многие исследователи склонны рассматривать как название одного из ранних городов Хазарии. Однако автор присоединяется к мнению А. Я. Гаркави, который указывал, что этот термин нельзя толковать как имя реально существовавшего хазарского города, и полагает, что «...под именем Баладжар в VI—VII вв. понималась широко северокавказская степь от Дербенда на север до мифической стены Гога и Магога» (с. 125).

Наряду с удачными и развернутыми толкованиями этнической и топонимической номенклатуры источников нельзя не отметить также просчеты автора. Приведем два примера. Так, рассматривая сведения Менандра о маршруте, по которому византийское посольство, возглавляемое Зимархом, пробиравлось через Кавказ, А. В. Гадло отождествляет названную в источнике «Даринскую дорогу» с Дарьялом (с. 100). Такое отождествление, на наш взгляд, требует более широкой аргументации и критики существовавшей ранее гипотезы, согласно которой «Даринская дорога» — это путь из степи по долине Подкумка на Рим-гору и оттуда к Клухорскому перевалу. Дополнительной аргументации требует также отождествление автором впервые упоминаемых Ибн-Русте этнонимов тулас и лугар соответственно с родовым именем оногуров — булгар Дуло и этнонимом венгров — мегер (с. 118).

С большим интересом в этой части книги читается раздел, посвященный исследованию легенды о происхождении кутригуров и утигуров (с. 77—80), а также связей этих конфедераций с Византией (с. 80—86). Благодаря вдумчивому анализу, автору удается за скупыми строками византийских источников увидеть хозяйственно-бытовой уклад северокавказских кочевников, эволюцию их общественного строя, и их взаимоотношения. Общим итогом этого анализа является бесспорное утверждение о том, что «в течение VI в. на Северном Кавказе явно обозначились тенденции к возникновению крупных племенных союзов (конфедераций)... Они представляли конгломераты родоплеменных объединений, во главе которых стояла военная аристократия, стремившаяся превратить свою власть в наследственную» (с. 106).

В качестве примеров таких союзов автор рассматривает Оногуро-Булгарскую конфедерацию (Великую Булгарию) в степном Предкавказье и так называемое «царство гуннов» в Приморском Дагестане. Весьма существенно, что за традиционными наименованиями этих образований автор видит их сложный этнический состав. Так, говоря о Великой Булгарии, он отмечает вероятность аланского происхождения возглавлявшего конфедерацию рода Дуло (с. 117, 118), а исследуя религиозные верования и ономастику «царства гуннов», приходит к обоснованному выводу о том, что в составе этого образования «собственно гуннский (тюркский) элемент растворялся в ираноязычном окружении и поглощался древним аборигенным населением» (с. 152).

На фоне социально-экономических и этнических явлений, которые отчетливо прослеживаются в процессе становления Оногуро-Булгарской конфедерации и «царства гуннов», А. В. Гадло рассматривает и вопрос об образовании Хазарского каганата, ставшего с 70-х гг. VII в. главной политической силой на Северном Кавказе. Он полагает, что Каганат возник в результате социального переворота, имевшего место внутри хазарского племенного объединения в 20-х гг. VII в. (с. 130). Возвышение Хазарии он связывает с двумя политическими обстоятельствами: союзом Хазарии и Алянии против Оногуро-Булгарского объединения, владевшего северокавказской степью, и ослаблением последнего вследствие столкновений с войсками Арабского халифата в 50-е гг. VII в. В составе Хазарского каганата автор так же, как и в составе других политических образований этого периода, видит разнородные этнические группы и справедливо обращает на это особое внимание читателя (с. 128, 129, 136). Рассматривая процесс образования Хазарского каганата, А. В. Гадло высказывает мнение о локализации древних центров Хазарии (с. 202, 203), отличное от общепринятого.

Третий раздел книги характеризует этнополитическую ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе в VIII—X вв., в период включения его территории в состав Хазарской державы. В начале этого раздела автор дает краткий, но довольно обстоятельный очерк борьбы народов Северного Кавказа с экспансией Халифата, в ходе которой и произошло возвышение Хазарии. Обзор арабских источников, повествующих о событиях на Кавказе в VIII в., приводит А. В. Гадло к весьма важному и правильному, на наш взгляд, выводу о том, что расширение политической гегемонии хазар на Северном Кавказе следует рассматривать как проявление центростремительных тенденций, издавна действовавших в рамках региона. Эти тенденции с особой энергией проявились в период экспансии, когда после разгрома Оногуро-Булгарского объединения, Хазария, опиравшаяся на союз с Алянией, стала единственной реальной силой, способной противостоять возросшему натиску Халифата (с. 169, 170). Такой вывод представляет интерес для решения проблем не только этнической истории северокавказского региона, но и происхождения аланского лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры в Донецко-Донском междуречье. Не исключена возможность, что именно политическое сближение хазар и алан привело к переселению в середине VIII в. некоторых аланских племен (в связи с возросшей плотностью населения в предгорных районах Северного Кавказа, что археологически хорошо фиксируется) в Донецко-Донское междуречье на северо-западную окраину Хазарии.

Завершается третий раздел обзором источников, содержащих данные для характеристики Азово-Каспийского региона в период политического возвышения Каганата. С присущей автору скрупулезностью здесь анализируются сведения арабских, персид-

ских, грузинских, византийских, русских и др. источников, а сделанные на основе этого выводы сопоставляются с археологическими материалами.

В результате проведенного исследования А. В. Гадло приходит к выводу, что в политических границах Хазарского каганата в течение VIII—X вв. не были утрачены специфические культурные признаки отдельных крупных этнических общностей — адыгов, алан, оногуро-булгар, автохтонных групп Дагестана. Хазарская держава представляла собой вариант классической «лоскутной империи» раннего средневековья, в рамках которой только зарождались предпосылки для хозяйственного, культурного и этнического единения. Собственно хазарская этническая общность в этот период, как отмечает А. В. Гадло, «выступала в виде политической надстройки над другими общностями Северного Кавказа. ...Не имея стимула к интенсификации собственного хозяйства, она постепенно замыкалась в узких границах своей племенной территории» (с. 211). Политическая и этническая изоляция хазар привела в конечном итоге к крушению их гегемонии. Однако длительный период существования в составе сильного централизованного государства не прошел для народов Северного Кавказа бесследно, и «на развалинах Хазарской державы, рухнувшей, подобно другим раннефеодальным политическим образованиям эпохи средневековья, поднялись новые объединения, основой хозяйства которых были развитое стабильное земледелие и скотоводство, относительно более однородный этнический состав и теснее связанная с основной массой населения политическая надстройка» (с. 212). Это были «царства» Серир в горах Дагестана, Джидан в Приморском Дагестане и Аланское в центральной части Предкавказья.

Книга А. В. Гадло представляет сложное многоплановое исследование, в котором, наряду с обоснованием общей оригинальной концепции этнического развития Северного Кавказа в целом содержится немало интересных выводов по частным вопросам и гипотез. Неожиданность и дискуссионность некоторых из них не снижают ее ценности. Не разрушая общего положительного впечатления и отдельные неточности и мелкие огрехи, которые иногда встречаются в тексте, в аппарате и в легенде к карте.

Наиболее существенными недостатками книги являются отсутствие в ней специального историографического очерка, чрезвычайная сжатость разделов, посвященных археологическим источникам, перегруженность приложенной к работе карты. Однако вполне вероятно, что эти просчеты вызваны жесткими условиями издания.

Исследование А. В. Гадло по праву займет заметное место в советском кавказоведении.

Г. Е. Афанасьев

Н. А. Миненко. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII — первой половины XIX в.). Новосибирск, 1979, 350 с.

Монография Н. А. Миненко о крестьянской семье Западной Сибири XVIII — первой половины XIX в. представляет собой комплексное историко-этнографическое исследование. В центре внимания автора — строй семьи, внутренние взаимоотношения в ней, ее хозяйственная деятельность и связь с общиной. Круг вопросов, освещенных автором в исследовании, позволяет наиболее полно охарактеризовать семью как первоначальную экономическую ячейку феодального общества.

Работа базируется главным образом на архивном материале, разнохарактерном по своему содержанию, что потребовало от автора различного подхода и методики обработки. Демографический облик западносибирской семьи Н. А. Миненко дает по документам учета населения: ревизским сказкам и книгам — переписным, дозорным, метрическим, рекрутским, выявляя наиболее достоверные источники для реконструкции семьи. Хозяйственные занятия, семейные обряды и внутренние взаимоотношения она раскрывает по судбно-следственным делам, делопроизводственным материалам местных учреждений и крестьянских выборных органов. В дополнение к этим документам привлекаются этнографические описания 40-х годов XIX в., которые появились как ответ на анкету Отделения этнографии РГО. Столь широкая документальная основа в сочетании с законодательными актами и опубликованными материалами стала залогом плодотворного раскрытия темы.

В историографическом обзоре Н. А. Миненко отдает должное дореволюционным работам, в которых содержится обширный фактический материал о семейном быте и нравах крестьян, о свадебном, родильно-крестильном и поминальном обрядах. Вместе с тем она отмечает концептуальную слабость этих работ, их тенденциозность, предвзятость и необъективность выводов. Автор последовательно на протяжении всей монографии вскрывает несостоятельность дореволюционной литературы в определении общей численности семьи и количества женщин в крае, в вопросах взаимоотношения супругов, форм заключения браков и др.

В советской историографии, как показывает Н. А. Миненко, внимание было сосредоточено прежде всего на строе сибирской семьи и ее эволюции, были прослежены роль семьи в сохранении и межпоколенной передаче трудовых крестьянских традиций и ее место в сельской общине. Из семейных обрядов наиболее основательно рассмотрен свадебный. В сибиреведческой литературе строй семьи изучается как один из ком-

понентов большой проблемы — сельскохозяйственного освоения края и формирования постоянного населения в нем. Этот момент необходимо было подчеркнуть.

В первой главе монографии Н. А. Миненко анализирует динамику численности и структуры крестьянской семьи в Западной Сибири. Следуя сложившейся в историографии методике, она проследживает размеры и типы семей по районам, различающимся сроками и интенсивностью колонизации. В результате Н. А. Миненко приходит к заключению, что малая семья как господствующая форма преобладала в XVIII в. как в старозаселенных, так и в колонизируемых областях. К середине XIX в. произошло укрупнение семей за счет увеличения числа неразделенных. Особенно интенсивно этот процесс шел во второй четверти XIX столетия.

Не совсем ясно, почему понятие большой семьи, отождествляемой автором с неразделенной, раскрывается в сноске (с. 44). На форме и типологии семьи было бы уместно и целесообразно остановиться подробнее в такой специальной тематической монографии, какой является рецензируемая книга.

Во второй главе Н. А. Миненко характеризует хозяйственную деятельность крестьянской семьи. На протяжении всего исследуемого времени земледелие было ведущей отраслью западносибирской экономики. Размеры сельскохозяйственного хозяйства крестьянина, по наблюдению автора, зависели от числа взрослых мужчин в семье. Такая зависимость была характерна для разных географических районов Западной Сибири. Н. А. Миненко проследживает также прямую зависимость обеспеченности скотом прежде всего рабочим, от размеров семьи и обусловленность величины запашки количеством скота. Значительное число беспашенных дворов, явственно проявлявшаяся дифференциация крестьянских хозяйств были связаны в начале изучаемого периода со становлением хлебопашества на осваиваемых территориях, а в конце его — с начавшимся процессом «раскрестьянивания».

В производственной деятельности семьи участвовали все ее члены. Н. А. Миненко подробно останавливается на распределении мужских и женских работ и их распорядке в сельскохозяйственных и промысловых районах исследуемого региона, отмечает бытовавшие порайонные различия. Она показывает активную роль женщины не только в домостроительстве, но и в земледелии, и в домашних промыслах (пряделле, ткачестве, шитье). Передача производственных навыков шла в процессе трудового воспитания детей, которое органически включалось в самый ход жизни и деятельности семьи.

Главы третья и четвертая тесно связаны между собой. В них автор обстоятельно излагает внутрисемейные отношения между супругами, родителями и детьми, а также формы заключения браков и семейно-бытовые обряды. Они написаны на колоритном документальном материале и воспринимаются с живым интересом. Отметим, что крестьянские взгляды на взаимоотношения супругов, определявшие их повседневное поведение, совпадали, в основном с требованиями закона и религии, а отношения родителей и детей строились по обычно-правовым нормам и регулировались сельской общиной. Автор отмечает, что положение женщины в семье в исследуемом районе было более независимым, чем в Европейской России; в отношении супругов преобладало взаимное уважение, а молодые члены семьи при сохранении почтения и любви к старшим пользовались значительной самостоятельностью.

Заключение брака у крестьян Западной Сибири, как свидетельствует материал, проанализированный Н. А. Миненко, сопровождалось свадебным обрядом, который был единым для всего региона и представлял собой сочетание церковного венчания и старинных ритуалов. Браки по преимуществу были внутрисословными, возрастная разница брачащихся была незначительной, а брачный возраст — сравнительно высоким. Характерными явлениями были также деревенская экзогамия, сосуществование имущественных и личностных мотивов брака, необязательность родительского и церковного благословения и допущение фактических разводов.

Семейные разделы были обычны и повсеместны, но в отдельных районах края они совершались с разной степенью интенсивности. Раздел семьи означал и имущественно-хозяйственный раздел, который производился в равных долях по числу взрослых мужчин. Вдовы или солдатки получали часть, причитающуюся мужу. Наследование семейного имущества осуществлялось по обычному праву. Автор приходит к выводу, что основой наследования было родственное, а не трудовое начало, переплетавшееся с податной ответственностью, лежавшей на наследуемом хозяйстве. Община руководствовалась законодательством, если оно согласовывалось с ее экономическими интересами.

В четвертой главе Н. А. Миненко рассматривает влияние сельской общины на крестьянскую семью. Она выясняет прежде всего размеры общин в Западной Сибири, которые, как правило, объединяли крестьян одного селения, реже двух-трех селений или нескольких заимок. Жизнь семьи протекала внутри такой общины и была пронизана хозяйственными и родственными связями благодаря включению в фамильные гнезда и коллективы по совладению разным имуществом. Община регламентировала почти все стороны семейного быта: заключение браков, взаимоотношения супругов, родителей и детей. При этом она следила за соблюдением традиций, ибо сама являлась хранительницей и носителем общинной и общественного мнения, а когда этого требовали интересы «общества», санкционировала отход от традиционных норм. Община стремилась сохранять неразделенные семьи как более надежные в податном отношении, а при совершавшихся разделах контролировала их. Она заботилась об имущественно-податной состоятельности семей, так как несла ответственность за исправное поступление податей.

Воздействие общины на семью было всепроникающим. Однако крестьяне воспринимали общину как второстепенное звено при решении семейных дел и в случае необходимости для их урегулирования обращались к местной администрации. Автор объясняет это рядом причин. Основными из них были: слабость общины на первоначальном этапе колонизации, когда государственная администрация была организатором устройства поселенцев; отношение правительственной власти к семье как основной податной единице и вытекающее отсюда стремление к непосредственному контролю за семьей.

Рецензируемая книга снабжена интересным документальным приложением, которое отражает основные моменты семейно-бытовых отношений.

В целом монография Н. А. Миненко, написанная на свежем, впервые вводимом в научный оборот материале, дает многостороннюю характеристику западносибирской семьи и успешно продолжает традицию советского сибиреведения.

Е. Н. Бакланова

НАРОДЫ АМЕРИКИ

В. А. Кузьмищев. У истоков общественной мысли Перу. Гарсиласо и его истоки инков. М., 1979, 383 с.

Рецензируемая книга В. А. Кузьмищева посвящена одному из самых известных хронистов Перу — Инке Гарсиласо де ла Вега. Автор справедливо подчеркивает особую важность творчества этого первого представителя подлинно перуанской литературы, органично синтезировавшего в своих произведениях два национальных начала — индейское и испанское. Жизнь, творчество и личность Инки Гарсиласо давно интересуют В. А. Кузьмищева¹. Ему принадлежит первый перевод на русский язык основного труда хрониста — «Подлинных комментариев инков», которые являются одним из основных письменных источников по истории раннеклассового инкского государства. В новой книге В. А. Кузьмищев подвел итоги своим размышлениям о выдающемся перуанском писателе и историке.

Книга начинается исследованием родословной Гомеса Суареса де Фигероа (инка по матери и знатный испанец по отцу), который позже принял имя Инки Гарсиласо. Автор ставит перед собой задачу не просто воспроизвести генеалогические сведения, а выяснить, насколько крепки были узы, связывавшие Гарсиласо с каждым из упомянутых начал и насколько подлинной была та информация о Древнем Перу, которая вошла потом в его произведения и, прежде всего, в прославленные «Комментарии». Во второй главе книги В. А. Кузьмищев развивает положение о синтезе двух начал — индейского и испанского в личности Гарсиласо.

Разбирая политическую обстановку в Перу в годы юности хрониста, автор характеризует ее как «своеобразное двоевластие», когда, наряду с господством конкистадоров, еще существовало, хотя и в сильно урезанном виде, государство инков, да и все население огромной страны продолжало в основном жить по инкским законам. Лишь в 70-х годах XVI в. при вице-короле Франсиско де Толедо испанцы сумели полностью подчинить себе Перу. Эта сложная политическая ситуация не могла, как справедливо полагает В. А. Кузьмищев, не сказаться на формировании личности Гарсиласо. Именно в перуанский период, пришедшийся на детство и юношеские годы (Гарсиласо покинул Перу в 1560 г., когда ему был 21 год от роду), были заложены основы его мироощущения, трагичного в своей двойственности. Выходом из этой двойственности для Инки стала работа над «Комментариями», в ходе которой два противоположных начала его личности слились в один «латиноамериканский» сплав.

Подробно прослеживая жизненный путь Инки Гарсиласо в Испании, В. А. Кузьмищев указывает еще на один источник его творчества — идеи итальянского Возрождения, с которыми молодого метиса познакомил, вероятно, его дядя — капитан Алонсо де Варгаса, участник войн в Италии (с. 94—104). Гуманистические идеалы этой эпохи сказались на главном произведении Гарсиласо, само название которого прямо связано, как считает В. А. Кузьмищев, с «Комментариями» Юлия Цезаря.

Но, по мысли В. А. Кузьмищева, дело не ограничилось лишь влиянием передовых идей XVI века на Инку Гарсиласо. Он говорит и об обратном влиянии, о той роли, которую сыграли «Комментарии» в развитии современной им общественной мысли. Этой роли посвящена шестая глава книги, где автор подробно обосновывает уже высказывавшуюся им гипотезу² о том, что именно описание инкской державы — Тауантинсуйю в

¹ В. А. Кузьмищев. Инка Гарсиласо де ла Вега и его литературное наследство. Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков (перевод В. А. Кузьмищева). Л., 1974; его же. Гарсиласо де ла Вега. — «Культура Перу». М., 1975.

² В. А. Кузьмищев. Кампанелла и Гарсиласо. Влияние, заимствование или случайные совпадения? — «Латинская Америка», 1975, №№ 4, 5.

«Комментариях» Гарсиласо послужило источником одного из выдающихся произведений раннего утопического социализма — «Города Солнца» Т. Кампанеллы. Путем сопоставления двух этих сочинений автор пытается доказать, что в их описаниях существует целый ряд совпадений. Сопоставление это проделано В. А. Кузьмищевым достаточно убедительно, чтобы считать его полноправной научной гипотезой, хотя автор и не доказал окончательно связь между этими двумя сочинениями. Но он и не настаивает на своей версии, как на непреложной истине. На с. 342 он пишет, что «даже наличие всех изложенных доводов и соображений все же не позволяет утверждать, что Кампанелла заимствовал у Гарсиласо какие-то идеи или „фактический материал“, поскольку прямых доказательств такого заимствования нет».

Прослеженные параллели позволяют В. А. Кузьмищеву причислить «Комментарии» к «литературе утопического социализма, правда в ее своеобразном, американском, и безусловно, стихийно-примитивном варианте» (с. 342). Вывод смелый, но небезосновательный. И далее автор говорит о той идеализации инкского общества и самих инков, которая была свойственна сочинениям Гарсиласо. Такая трактовка «Комментариев» убедительно объясняет и их значительность как литературно-публицистического произведения, и pronounced тенденциозность этой книги, несколько ограничивающую ее значение как исторического источника. Недаром именно «Комментарии» послужили основой концепции «инкского социализма».

Большое внимание В. А. Кузьмищев уделит изучению истории создания каждого из произведений Инки Гарсиласо. К сожалению, здесь есть определенный композиционный просчет, когда история создания «Комментариев» излагается в непосредственной связи с биографией Гарсиласо, а сведения о других произведениях, в том числе и предшествующих «Комментариям», выделены в отдельную главу, помещенную после жизнеописания хрониста. Процесс творческой работы Гарсиласо над главной книгой его жизни scrupulously проанализирован автором. При этом В. А. Кузьмищев уделяет большое внимание психологической предопределенности создания первых его произведений, послуживших ступенями творческого пути, приведшего к появлению «Комментариев».

Очень интересна гипотеза В. А. Кузьмищева о том, что непосредственным толчком к литературной деятельности для Гарсиласо послужило жестокое подавление королевскими войсками восстания морисков в Испании в конце 60-х годов XVI в. Участие в этой несправедливой и кровопролитной войне, по мнению автора, нанесло будущему хронисту глубокую травму, напомнив о судьбе его родины — Перу. Будучи, по-видимому, усугублена известием о казни в 1572 г. последнего Сапа Инки — Тупак Амару I эта душевная рана заставила Гарсиласо прийти к решению поведать миру правду об инках и устройстве их государства. И совершенно естественно, что правда эта представилась молодому метису в несколько идеализированном виде. Такая гипотеза выглядит достаточно убедительной, исходя из той психологической характеристики личности Инки Гарсиласо, которую дает В. А. Кузьмищев на предыдущих страницах книги.

Вторая половина книги посвящена характеристике инкской державы, как она представляется автору по сочинениям четырех крупнейших хронистов Перу — Гарсиласо де ла Вега, Сьесы де Леона, Сармьенто де Гамбоа и Помы де Айяла. В. А. Кузьмищев пишет, что они были отобраны для сравнительного анализа, поскольку «все они создавались примерно в один и тот же период — вторая половина XVI — начало XVII в. Каждое из них абсолютно оригинально и, бесспорно, интересно. Все четыре сочинения сегодня входят в золотой фонд перуанской историографии об инкском периоде, хотя не сразу и не одновременно получили столь высокое признание. Кроме того, они относятся к числу немногих работ, полностью посвященных Древнему Перу, в то время как большинство тогдашних хроник, историй и сообщений повествуют главным образом об испанском завоевании Нового Света и рассматривают «империю» инков лишь как объект конквисты (Херес, Гомара, Сарате, П. Писсаро и др.)» (с. 165). Высокая оценка В. А. Кузьмищевым этих основных для истории инков источников абсолютно справедлива. Но подобный принцип отбора игнорирует многочисленные хроники, которые, не будучи полностью посвящены инкам, содержат тем не менее значительную информацию о Тауантинсуйю. Пользуясь им, автор несколько обедняет свою реконструкцию инкского общества.

Сравнение выбранных произведений В. А. Кузьмищев начинает с изложения биографических данных хронистов и истории создания их работ. Говоря об этой части книги, нельзя не упомянуть об оригинальном решении В. А. Кузьмищевым некоторых источниковедческих вопросов. Такова, например, реконструкция «по аналогии» характера вопроса П. Сармьенто де Гамбоа (с. 177—182) или уточнение года рождения Ф. Помы де Айяла (с. 186, 187).

Весь же раздел посвящен доказательству полной независимости «Комментариев» Гарсиласо де ла Вега от сочинений упомянутых авторов. Вполне очевидно, что Гарсиласо не мог читать «Хронику» Помы де Айяла. Но вопрос о невозможности его знакомства с содержанием «Господства инков» Сьесы де Леона (с. 171, 199) остается, на мой взгляд, открытым. Инка, пристально следивший за всем, что писалось о Перу, не мог пропустить выхода в свет «Всеобщей истории Индии» А. де Эррера-и-Тордесильоса, опубликованной за несколько лет до «Комментариев». А ведь Эррера широко использовал в этом труде рукопись Сьесы, хранившуюся в Королевском Совете по делам Индии. Кстати, аргумент о невозможности для Гарсиласо проникнуть в Севильский архив Совета не кажется достаточно убедительным. Но даже если Гарсиласо и был знаком с

рукописями Сьесы и Сармьенто или их изложением, то и тогда вряд ли можно только этим обстоятельством объяснить сходство между «Комментариями» и трудами предшествующих хронистов. Скорее всего нужно согласиться с В. А. Кузьмищевым в том, что все эти авторы черпали сведения из одного основного источника. «Таким источником была разработанная, отредактированная и даже „утвержденная“ самими инками *официальная история* возникновения и жизни индейского царства Тауантинсуйю...» (с. 199).

Подробно анализируя конкретные сведения указанных хронистов по истории и государственному устройству инков, В. А. Кузьмищев всесторонне освещает жизнь Тауантинсуйю, его историю, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию и культуру. Остановившись только на некоторых проблемах и в первую очередь на происхождении инков и их государственности. В этом вопросе автор следует в основном в русле тех легендарных сведений, которые приводят хронисты. Среди них он совершенно справедливо выделяет два основных варианта этногенетической легенды (с. 203—205) — первый, связывающий происхождение инков с районом оз. Титикака, откуда они через местность Паракритампу пришли в долину Куско, и второй, по которому их происхождение связано непосредственно с пещерами Паракритампу.

Эти легенды уже подвергались обстоятельному анализу в советской американистике. С. Я. Серов убедительно показал, что первый вариант представляет собой «имперскую» версию легенды, возникшую не ранее завоевания Колья, то есть времени Инки Виракочи или Пачакутека³. Другими словами, анализ этих легенд придает определенную хронологическую глубину инкской истории в пределах первой половины 2-го тысячелетия. Важность установления этой хронологической глубины несомненна, ибо только после этого можно ставить вопрос о динамике сложения той, довольно статичной, картины инкского общества, которую зафиксировали ранние испанские хронисты, давшие практически лишь хронологический срез современной им перуанской действительности.

Разбор В. А. Кузьмищевым различных вариантов инкских династических списков (с. 205—213) ярко показывает, как мало они могут дать для установления реальной хронологии. Понски здесь могут идти только при сопоставлении данных письменных источников и археологий. Несмотря на крайнюю ограниченность археологических исследований, уже можно говорить и о раннеинкских материалах на территории Куско⁴, и о том, что в жизни инкских городов был, вероятно, период самостоятельного существования, независимого от Куско⁵. Последнее особенно важно, так как свидетельствует о местном сложении инкской государственности, скорее всего на основе союза родственных кечуанских племен. При этом вопрос о том, были ли инки пришельцами в долине Куско или нет, становится малосущественным. Тем более, что и легендарное Паракритампу находилось, по преданию, недалеко от Куско. Все это подтверждает правоту суждений В. А. Кузьмищева в исторической справедливости версии Гарсиласо и Сьесы о цивилизаторской миссии инков (с. 214—215), версии, которая отражала официальные установки инкского государства.

Касаясь вопроса об отсутствии у инков настоящей письменности (с. 231—234, 262—265), В. А. Кузьмищев убедительно показывает, что «узелковое письмо» — кипу, в сочетании со специалистами-кипукамайками, назначаемыми для его расшифровки и запоминания сообщаемых сведений, и с развитой службой гонцов — часки, представляло собой такой же эффективный способ хранения и передачи информации, как и соответствующая этим средствам ранняя письменность древнейших государств Мезоамерики и Старого Света.

В этой связи некоторое недоумение вызывает полное доверие автора к рассказу Ф. де Монтесиноса и его уверенности в существовании ненайденной инкской письменности, якобы запрещенной одним из Сапа Инков (с. 262—263). Он пишет: «И все же как быть с письмом? Его нужно искать, ибо оно почти наверняка было. Вернее, не могло не быть» (с. 264). Искать, конечно, нужно. Но вероятность такой находки крайне невелика. Видимо, отсутствие письма было специфической особенностью древнеперуанских цивилизаций вообще. Ведь его нет и в предшествовавших инкам раннеклассовых обществах — Тиауанако, Уари, Наска, Мочика⁶. Зато в них были очень высоко развиты другие виды графики — живопись и символика.

Формальное отсутствие письменности не значит, однако, что Древнее Перу шло по какому-то особому пути исторического развития. Ведь стадийно для раннеклассового общества и государства было необходимо не столько само письмо, сколько то, что его порождает функция фиксации, накопления и передачи сведений хозяйственно-административного учета и религиозных установлений. Письмо было оптимальным средством

³ С. Я. Серов. Динамика этногенетического мифа инков.— «Этническая история и фольклор». М., 1977, с. 35, 44, 45, 54—56.

⁴ T. H. Rowe. An introduction to the archaeology of Cuzco.— «Papers of Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology», v. 27, N 2. Cambridge, Mass., 1941, p. 61.

⁵ Подробнее см.: В. А. Башилов, С. Я. Серов. Новые книги по истории культуры инков — «Сов. этнография», 1975, № 4, с. 184—187.

⁶ Ссылка автора на статью Ю. В. Кнорозова и И. К. Федоровой (Древнее перуанское письмо: проблемы и гипотезы — «Латинская Америка», 1970, № 5) в связи с «системой письма, передававшего звуковую речь», у мочика является ошибкой. На с. 86—87 эти авторы говорят лишь о символическом значении некоторых знаков и о неудаче попытки Р. Ларко Ойле усмотреть в них мочикскую письменность.

осуществлении этой функции, но, видимо, не единственным. В инкском обществе таким средством стала система: «долгая память» (кипукамайокон) + кипу + ноги («краткая память») часки. Система эта зародилась, вероятно, еще в доинкских цивилизациях. Недаром в хронике М. де Моруа содержится упоминание о заимствовании инками кипу у жителей завоеванного ими государства Чимор — прямых наследников цивилизации Мочика. Упомянутая система, доведенная инками до совершенства, была таким образом функциональным эквивалентом ранней письменности. Другими словами, мы имеем здесь дело не с принципиально иным путем развития, а лишь с особой, исключительной формой воплощения тех же общен исторических закономерностей, что и в других мировых центрах древних цивилизаций.

Один из последних разделов книги (с. 346—355) В. А. Кузьмищев посвящает крайне сложной и дискуссионной проблеме определения характера раннеклассового инкского общества. В советской историографии существуют две противоположные точки зрения по этому вопросу. Горячий сторонник первой из них — Ю. А. Зубрицкий — полагает, что Тауантинсуйю было рабовладельческой деспотией древневосточного типа⁷. Отмечая большую роль эксплуатируемой общины — айлью, он, однако, считает определяющим моментом эксплуатацию особого социального слоя — янакун, которых он безоговорочно называет рабами. Вторая точка зрения наиболее аргументированно высказана И. К. Самаркиной. Она считает, что «патриархальные отношения составляли основу общественного строя империи инков, которая представляла собой государственную систему аграрных общин»⁸. Янакуны, по мнению этого автора, это люди различного социального положения, которые в силу тех или иных причин оторваны от своего айлью⁹.

В. А. Кузьмищев занимает в этом споре промежуточную позицию¹⁰, считая, что, хотя янакун «можно отнести к категории домашних рабов», они не играли никакой роли в производственной сфере (с. 349). Тауантинсуйю он относит к рабовладельческим государствам (со значительными пережитками первобытности) на том основании, что, хотя там и не было классического индивидуального рабства, но вместо него «в положении коллективного раба оказалась сама община» (с. 350). Существенное расхождение указанных точек зрения отражает и сложность разбираемых проблем, и, прежде всего, недостаточную разработанность вопросов теории раннеклассового общества, которая отразилась на результатах известных дискуссий 60-х годов.

Оценивая книгу В. А. Кузьмищева в целом, нужно сказать, что это глубокое, иногда спорное, но всегда интересное исследование. Впервые в советской американистике принят такой серьезный анализ творчества одного из выдающихся писателей XVI в., чьи произведения подробно рассказывают об инкском государстве, принадлежащем к той стадии общественного развития, которая в Старом Свете отделена от нас тысячелетиями. В. А. Кузьмищев убедительно показал историческое место Гарсиласо де ла Вега, объединившего в себе два этнических и культурных начала Латинской Америки. Автор попытался проследить подлинные события жизни и мотивы творческой деятельности Гарсиласо, часто реконструируя их гипотетически. При этих реконструкциях он всегда стремился учесть и психологические факторы, и всю сложность исторической и жизненной ситуации, в которой в тот или иной момент находился перуанский хронист. Это придает большую достоверность построениям В. А. Кузьмищева. В то же время он никогда не навязывает читателю свои выводы, всегда оговаривая гипотетичность тех или иных положений и возможность другого решения проблемы. Талантливо написанная книга читается с увлечением и не может оставить читателя равнодушным. Она заставляет глубоко задумываться над поставленными автором вопросами, спорить, искать самостоятельного решения некоторых из них. И в этом большая заслуга В. А. Кузьмищева, воссоздавшего перед нами яркую и сложную личность «первого латиноамериканца» Инки Гарсиласо де ла Вега.

В. А. Башилов

⁷ Ю. А. Зубрицкий. Инки-кечуа. Основные этапы истории народа. М., 1975, с. 19; его же, Культура Тауантинсуйю — «Культура Перу». М., 1975, с. 32.

⁸ И. К. Самаркина. Община в Перу. Очерк социально-экономического развития. М., 1974, с. 52.

⁹ Там же, с. 58.

¹⁰ См. также: В. А. Кузьмищев. Еще раз об инках. — «Латинская Америка», 1973, № 2.



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОКСАРОВ

[1907—1980]

Ушел из жизни крупный ученый, этнограф, антрополог Николай Николаевич Чебоксаров. Он скончался после непродолжительной болезни 1 февраля 1980 г. на семьдесят третьем году жизни, в самом расцвете своих творческих сил. Можно сказать, что с ним ушла в прошлое и стала достоянием истории еще одна яркая страница развития советской этнографической и антропологической науки, связанная с именами С. П. Толстова, М. Г. Левина, Г. Ф. Дебеца. Утрата, которую понесла советская наука, тяжела не только для всех тех, кто близко знал Николая Николаевича, и для его многочисленных учеников и последователей, но и для самого широкого круга читателей его блестящих научных трудов.

Главные особенности многогранного таланта Н. Н. Чебоксарова — ясность мышления и поразительный запас разнообразнейших знаний в области этнографии, антропологии и многочисленных смежных с ними научных дисциплин. Знания эти он умел обобщать и организовывать в стройные и логичные системы. Самые сложные и запутанные материалы и концепции в его изложении всегда выглядели ясными, простыми и понятными.

Обширен научный вклад Николая Николаевича в советскую науку. Это целый ряд проблем этнической антропологии, теории этноса, хозяйственно-культурной множественности и единства человечества, концепция хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей, разнообразные вопросы этнической истории народов Восточной Европы, Прибалтики, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии¹. Н. Н. Чебоксарову довелось побывать и вести полевые антропологические и этнографические исследования во многих районах СССР, в разных странах Европы и Азии. Десятки его учеников, которым он передал не только знания, но и беззаветную преданность науке, работают сегодня во многих республиках нашей страны и далеко за ее пределами. На многие языки переведены труды Н. Н. Чебоксарова.

По образованию Н. Н. Чебоксаров был биологом, он окончил кафедру антропологии МГУ. В числе его учителей были такие крупнейшие ученые, как С. С. Четвериков и Н. К. Кольцов. Под их руководством Н. Н. Чебоксаров выполнил работы по популяцион-

¹ См. список основных работ Н. Н. Чебоксарова, опубликованный в журнале «Сов. этнография», 1977, № 6, с. 139—142.

ной генетике человека: «Группы крови и дальтонизм у коми» (1936 г.) и «Из истории светлых расовых типов Евразии» (1936 г.).

Главное направление исследований Николая Николаевича в области антропологии — разработка теоретических проблем расоведения и использование антропологических данных для изучения этногенеза и этнической истории различных народов Евразии. Предложенная Н. Н. Чебоксаровым классификация рас явилась важным вкладом в антропологическую науку. Проводившиеся им в 1952—1956 годах совместно с М. В. Витовым и К. Ю. Марк исследования по этнической антропологии Восточной Прибалтики, позволили по-новому взглянуть на процессы формирования и развития антропологических типов северной ветви европеоидов. В частности, Николай Николаевич уделял большое внимание изучению финно-угорских народов. Будучи в 1943—1957 годах заведующим сектором народов Европы Института этнографии АН СССР, Николай Николаевич возглавлял многолетнюю комплексную Прибалтийскую экспедицию, по материалам которой вышли два тома трудов. Его перу принадлежит известная как в СССР, так и за рубежом работа «Некоторые вопросы изучения финно-угорских народов» (1948 г.). Упомянутое выше исследование по антропологии коми было продолжено Н. Н. Чебоксаровым в послевоенные годы и нашло отражение в работе «Этногенез коми по данным антропологии» (1946 г.).

Николай Николаевич был одним из организаторов и руководителей антропологических исследований эндогамных групп населения Индии. Совместная советско-индийская экспедиция, возглавлявшаяся им вот уже в течение ряда лет продолжает изучение проблем формирования расового состава населения Южной Азии.

И все же и как антрополог, и как этнограф Николай Николаевич наибольшее внимание уделял этнической истории Китая. Еще в 1947 г. его труд «Северные китайцы и их соседи (исследование по этнической антропологии Восточной Азии)» было удостоено премии имени Н. Н. Миклухо-Маклая (еще одну премию имени Н. Н. Миклухо-Маклая Н. Н. Чебоксаров получил в 1966 г. в качестве руководителя авторского коллектива и одного из основных авторов тома «Народы Восточной Азии».) В 1956—1958 годах Н. Н. Чебоксаров работал в Китае, где им был собран остающийся до сих пор уникальным антропометрический материал по различным группам китайцев и других народов КНР. Николай Николаевич начал публикацию этих полевых материалов статей в журнале «Советская этнография» в 1959 г. (в соавторстве с И. А. Чебоксаровой). Результаты проведенных исследований были обобщены Н. Н. Чебоксаровым в монографии «Этническая антропология Китая», которая увидит свет уже после смерти автора.

Н. Н. Чебоксаров был инициатором и руководителем работы по подготовке многотомного исследования по этнической истории китайцев. Оно было задумано Николаем Николаевичем как опыт изучения процессов сложения, трансформации и развития китайского этноса с древнейших времен вплоть до настоящего времени на основе комплексного анализа практически всех доступных источников — палеоантропологических, этнографических, письменных, археологических, лингвистических и т. д. В первой книге этой серии — «Древние китайцы: проблемы этногенеза», написанной Н. Н. Чебоксаровым совместно с М. В. Крюковым и М. В. Софроновым, обобщен обильный материал, позволяющий проследить истоки формирования предков современных китайцев — общности «хуася», сложившейся на Среднекитайской равнине в первой половине I тыс. до н. э. Во втором томе этого исследования — «Древние китайцы в эпоху централизованных империй» — перу Н. Н. Чебоксарова принадлежит раздел, посвященный анализу антропологического состава населения Китая в эпоху Цинь-Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.). Можно с уверенностью сказать, что в мировой литературе до сих пор не было обобщения палеоантропологического материала по древним китайцам, подобного содержащемуся в этих двух книгах. Весьма значителен вклад Н. Н. Чебоксарова и в подготовку последующих томов данной серии — «Китайский этнос на пороге средних веков», «Китайский этнос в средневековье».

Особое место в творчестве Н. Н. Чебоксарова занимали работы по теории этноса. В разное время Николай Николаевич неоднократно возвращался к проблемам исторической типологии этнических общностей и их признаков, а в 1976 г. опубликовал совместно с С. И. Бруком теоретическое исследование, посвященное «метаэтническим общностям». В нем авторы, исходя из положения об иерархичности этнических подразделений, обосновали особенности макроэтнических единиц, которые представляют собой совокуп-

ность этносов и находятся в состоянии трансформации. К их числу относятся обладающие определенным самосознанием этнолингвистические, этнокультурные, этноконфессиональные, этнорасовые и этнополитические общности. Большое внимание в указанной статье уделено анализу метаэтнических общностей новейшего времени, которые предложено называть «этнополитическими». С разработкой этой проблематики были тесно связаны и исследования Н. Н. Чебоксарова в области теории современных этнических процессов, прежде всего на примере стран Зарубежной Азии.

Под редакцией Николая Николаевича и с его участием как автора вышли коллективные монографии «Этнические процессы в Юго-Восточной Азии» (1974 г.) и «Этнические процессы в Южной Азии» (1976 г.). Им подготовлен также в соавторстве с С. И. Бруком раздел о Зарубежной Азии для книги «Этнические процессы в современном мире».

Этническая история интересовала Николая Николаевича как единый исторический процесс, охватывавший ряд последовательных этапов от древнейших периодов до сегодняшнего дня. Вполне закономерно поэтому, что именно Н. Н. Чебоксаров был руководителем симпозиума по этногенезу и этнической истории народов мира на проходившем в 1964 г. в Москве VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук. В его вступительном слове на этом симпозиуме были сформулированы основные положения теории и методологии этногенетических исследований, в области которых советская этнографическая наука добилась значительных достижений.

Н. Н. Чебоксаров активно участвовал в ряде международных научных конгрессов, проводившихся за последние годы: помимо VII МКАЭН, он выступал с докладами на II и IV Международных финно-угорских конгрессах в Хельсинки и в Будапеште на XI Тихоокеанском научном конгрессе в Токио, его доклады были зачитаны на X МКАЭН в Дели и XIV Тихоокеанском научном конгрессе в Хабаровске. В своих выступлениях на этих международных форумах Н. Н. Чебоксаров последовательно отстаивал марксистско-ленинскую теорию этнического развития человечества, пропагандировал лучшие достижения советской этнографической науки.

В 1955 г. в журнале «Советская этнография» была опубликована статья Н. Н. Чебоксарова и М. Г. Левина, в которой были заложены основы концепции хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей. Создание этой концепции значительно продвинуло вперед разработку сложнейшей проблемы хозяйственно-культурного развития человечества. В своих последующих работах Н. Н. Чебоксаров, опираясь на марксистском понимании исторического процесса, сформулировал стройную теорию, в которой вся совокупность традиционно-бытовых культур различных народов мира была представлена как целостная историко-генетическая система культурных общностей. Вклад Н. Н. Чебоксарова в дальнейшую разработку этой концепции, вошедшей в число важнейших теоретических достижений советских этнографов, весьма значителен. Это прежде всего работы, посвященные хозяйственно-культурным типам и историко-этнографическим областям стран Азии и Восточной Европы. Их значение для современной этнографии ныне общепризнано.

В последние годы жизни Н. Н. Чебоксаров много занимался типологией отдельных элементов материальной культуры народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Под его руководством в отделе народов Зарубежной Азии, Австралии и Океании Института этнографии АН СССР был выполнен ряд работ, посвященных этой проблематике. Среди них — коллективная монография «Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии», первый опыт разработки сложной проблемы типологизации сельского жилища народов Зарубежной Азии. В этой книге на конкретном материале было убедительно показано, что данная проблема может быть успешно решена лишь в тесной связи с социально-экономической, политической, культурной и этнической историей народов соответствующих стран. И хотя предложенная в книге конкретная типология жилища, несомненно, потребует уточнения в процессе дальнейших исследований, сама постановка данной проблемы стимулирует более глубокое изучение этого традиционного раздела этнографической науки. Разработка вопросов, связанных с типологией жилища, была продолжена Н. Н. Чебоксаровым в статьях, которые еще ждут публикации.

Обладея чрезвычайно обширными познаниями в биологических и общественных науках, Николай Николаевич плодотворно разрабатывал проблемы, лежащие на стыке

этих наук. Хорошими примерами такого рода работ являются его статьи «Передача информации как механизм сосуществования этносоциальных и биологических групп человечества» (1972 г.), написанной в соавторстве с С. А. Арутюновым, «Этносы, популяции, расы» (1974 г.), написанная совместно с И. А. Чебоксаровой, «Антропология и этнография о происхождении китайцев» (1979 г.), созданная в соавторстве с А. М. Решетвым.

Николай Николаевич принимал также большое участие в подготовке ряда томов серии «Народы мира» — «Народы Европейской части СССР», «Народы Юго-Восточной Азии», «Народы Южной Азии». Он был одним из авторов и редакторов этих томов.

Много творческих сил Н. Н. Чебоксаров постоянно отдавал научно-организационной работе. Он был фактическим создателем отдела народов Зарубежной Азии, Австралии и Океании Института этнографии АН СССР, которым он бессменно руководил с 1957 г. до последних дней своей жизни. Николай Николаевич был талантливым педагогом и мудрым наставником научной молодежи, которой он щедро передавал свои знания, богатый опыт и материалы, собранные во время экспедиций. В течение многих лет он преподавал в Московском государственном университете в качестве профессора и заведующего кафедрой этнографии исторического факультета. Позднее Н. Н. Чебоксаров продолжал руководить научной подготовкой аспирантов, многие из которых выросли в ведущих специалистов по проблемам антропологии и этнографии. На протяжении многих десятилетий Николай Николаевич принимал самое активное участие в работе журнала «Советская этнография».

С педагогической и научно-организационной работой была тесно связана научно-популяризаторская деятельность Н. Н. Чебоксарова. Образцом глубоко научного по содержанию и популярного по форме труда, предназначенного для самого широкого читателя, стала книга «Народы, расы, культуры» (1971 г.), написанная им совместно с И. А. Чебоксаровой. Ее авторы были награждены дипломом за лучшую научно-популярную книгу 1972 г. на конкурсе Общества «Знание». Эта книга была переведена на литовский, эстонский, чешский, немецкий, венгерский, болгарский и вьетнамский языки. Н. Н. Чебоксаров входил в состав Главной редакции двадцатитомного научно-популярного издания «Страны и народы», являлся одним из авторов нескольких томов этой серии. Николай Николаевич был также одним из основных авторов и научных консультантов по проблемам антропологии и этнографии ряда многотомных публикаций издательства «Советская энциклопедия».

Необычайно многогранной была деятельность Н. Н. Чебоксарова. Он ушел из жизни, не успев завершить многие из своих творческих замыслов. Задача учеников и последователей выдающегося советского ученого — сделать богатое научное наследие своего учителя достоянием людей, изучению истории и культуры которых была в конечном итоге посвящена вся его жизнь.

Б. В. Андрианов, А. А. Зубов, М. В. Крюков

СОДЕРЖАНИЕ

В. Е. Гусев (Ленинград). Народное творчество в годы второй мировой войны и задачи его исследования	3
М. Г. Рабинович (Москва). Город и традиционная народная культура	12
Д. М. Исхаков (Казань). Расселение и численность татар в Поволжско-Приуральской историко-этнографической области в XVIII—XIX вв.	25
В. И. Козлов (Москва). Этнорасовые изменения в составе населения Великобритании	40
А. А. Истомин (Москва). Селение Росс и калифорнийские индейцы	57
В. П. Алексеев (Москва). Новые данные к морфологической характеристике населения Месопотамии	70

Дискуссии и обсуждения

Ю. А. Муравьев (Москва). Религия: вера, иллюзия, знание	80
Я. В. Минкявичюс (Вильнюс). О содержании религии	88

Сообщения

М. Э. Хайкина (Ленинград). К вопросу о структуре межличностного общения мигрантов в иноэтнической среде (По материалам опроса ленинградских татар)	98
А. И. Гинзбург (Москва). О влиянии некоторых национальных традиций на миграцию из села в город (на материале Молдавской и Узбекской ССР)	105
Н. Е. Урушадзе (Тбилиси). Серебряный кубок из Триалети как историко-этнографический источник	114
В. И. Гохман (Ленинград). Некоторые материалы к этнической истории сямцев	122
Ф. Фёрстер (Баутцен, ГДР). К изучению сельских промышленных рабочих в национально-смешанном районе Лужицкого бурoughольного бассейна (ГДР)	127

Поиски, факты, гипотезы

И. П. Колпакова (Ленинград). Сразу после войны	131
--	-----

Научная жизнь

И. А. Кремлева (Москва). Конференция «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы»	140
В. И. Васильев (Москва), Н. А. Томилов (Омск). Конференция «Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий»	144
Х. Ш. Махматов (Казань). Симпозиум фольклористов Поволжья и Урала	148
Р. В. Меркене (Вильнюс). Конференция-семинар «Этногенез литовцев»	150
Р. Ш. Джарылгасинова (Москва). Выставка «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии»	151
Коротко об экспедициях	157

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

В. Н. Басилов, В. П. Аникин (Москва). Новое в исследовании древнейших ритуалов (О книге Н. Н. Велецкой «Языческая символика славянских архаических ритуалов»)	160
---	-----

Общая этнография

- В. А. Шнирельман (Москва). *P. J. Watson. Archaeological ethnography in Western Iran* 169

Народы СССР

- М. Н. Губогло (Москва). *Формирование молдавской буржуазной нации* . . . 173
Г. Е. Афанасьев (Москва). *А. В. Гадло. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв.* 176
Е. Н. Бакланова (Москва). *Н. А. Миненко. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII—первой половины XIX в.)* 179

Народы Америки

- В. А. Башилов (Москва). *В. А. Кузьмищев. У истоков общественной мысли Перу. Гарсиласо и его история инков* 181

- Николай Николаевич Чебоксаров 185

SOMMAIRE

- V. Ye. Goussiev (Léningrad). *Oeuvre artistique populaire durant la Deuxième guerre mondiale et les tâches de son étude* 3
M. G. Rabinovitch (Moscou). *La ville et la culture populaire traditionnelle* . . 12
D. M. Iskhakov (Kazan). *Etablissement et nombre des Tatares dans la région historico-ethnographique d'Oural et de Volga aux XVIIIe—XXe s.* 25
V. I. Kozlov (Moscou). *Changements ethno-raciaux dans la composition de la population de la Grande-Bretagne* 40
A. A. Istomine (Moscou). *Le village de Ross et les Indiens de la Californie* . . 57
V. P. Aléxéiev (Moscou). *Nouvelles données pour une caractéristique morphologique des populations de la Mésopotamie* 70

Discussions et délibérations

- Yu. A. Mouraviev (Moscou). *La religion: foi, illusion, connaissance* 80
Ya. V. Minkiavitchius (Vilnius). *Du contenu de la religion* 88

Communications

- M. E. Khaïkina (Léningrad). *Contribution au problème de la structure des relations interpersonnelles des migrants dans un milieu hétéroethnique (d'après les matériaux d'une interrogation des Tatares de Léningrad)* 98
A. I. Guinsbourg (Moscou). *De l'influence des traits nationaux à l'exode rural (d'après les matériaux des RSS de Moldavie et d'Ouzbékistan)* 105
N. Ye. Ourouchadzé (Tbilissi). *Une coupe en argent en provenance de Trialéti comme une source historico-ethnographique* 114
V. I. Gokhman (Léningrad). *Quelques matériaux pour l'histoire ethnique des Siamois* 122
F. Förster (Bautzen, RDA). *Etude des ouvriers industriels ruraux dans la région à ethnicité mixte du bassin charbonnier de Loujitsa (RDA)* 127

Recherches, faits, hypothèses

- N. P. Kolpakova (Léningrad). Aussitôt la guerre terminée 131

Vie académique

- J. A. Krémliova (Moscou). Une Conférence dite «Histoire ethnique des Slaves et les contacts ethnoculturels des peuples de l'Europe Centrale et Orientale» 140
V. I. Vassiliev (Moscou), N. A. Tomilov (Omsk). Une Conférence dite «Ethnogenèse et histoire ethnique des populations turcophones de la Sibérie et des territoires avoisinants» 144
Kh. Ch. Makhmoutov (Kazan). Un Symposium des folkloristes de la région de Volga et d'Oural 148
R. V. Merkiene (Vilnius). «Ethnogenèse des Lithuaniens» — Conférence-séminaire 150
R. Ch. Djarylgassinova (Moscou). Une exposition sur «Les traditions et la modernité dans l'art décoratif du Japon» 151
Missions en bref 157

Critiques et bibliographie

Articles de critique et revues

- V. N. Bassilov, V. P. Anikine (Moscou). Du nouveau dans l'étude des rituels les plus archaïques (Sur le livre de N. N. Vielétskaïa intitulé «Symbolisme païen des rituels archaïques slaves») 160

Ethnographie générale

- V. A. Chnirielman (Moscou). P. J. Watson. Archaeological ethnography in Western Iran 169

Peuples de l'URSS

- M. N. Gouboglo (Moscou). *La formation de la nation bourgeoise moldave* 173
G. E. Afanassiév (Moscou). A. V. Gadlo. Histoire ethnique du Caucase du Nord 176
Ye. N. Baklanova (Moscou). N. A. Minienko. La famille paysanne russe en Sibérie de l'Ouest (XVIIIe—lère moitié du XIXe s.) 179

Peuples de l'Amérique

- V. A. Bachilov (Moscou). V. A. Kouzmichtchiev. Aux sources de la pensée sociale du Pérou: Garsilaso et son Histoire des Incas 181

- Nikolaï Nikolaïevitch Tchéboksarov 185

Технический редактор Сироткина Т. И.

Сдано в набор 12.05.80 Подписано к печати 31.07.80 Т-12723 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8 Уч.-изд. л. 19,1 Бум. л. 6,0 Тираж 2834 экз. Зак. 4999

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10